

**К. Н. БЕРКОВА**

## **ПРОЦЕСС ЛЮДОВИКА XVI**

**Государственное издательство, Петербург, 1920**

Орфография оригинала частично сохранена.

Веб-публикация: редакторы сайтов *Vive Liberta* и *Век Просвещения* ©

**Начало:** [http://vive-liberta.narod.ru/biblio/berk\\_1.htm](http://vive-liberta.narod.ru/biblio/berk_1.htm)

### **ГЛАВА I**

#### **Вопрос об участии Людовика XVI становится на очереди.**

#### **Доклады комиссий: виновен ли Людовик XVI? подлежит ли он суду?**

На пороге деятельности Национального Конвента его ожидал знаменитый процесс, который вскоре приковал к себе внимание всего цивилизованного мира: это был процесс Людовика XVI.

Законодательное Собрание завещало Конвенту две задачи: решение судьбы монархии и решение участи монарха. Декретом 21 сентября Конвент покончил с первой. Была ли разрешена вторая низложением короля? Разумеется, нет. Изображая тогдашнее положение Франции, Карлейль говорит: "В 1792 г. французская нация, повергнув отчаянным усилием страшного Голиафа, который рос и развивался в продолжение десяти веков, неволью смотрела на подобную победу отчасти как на чудесный сон, и хотя скованный гигант лежал распростертый на земле, покрывая своим телом огромное пространство, она не могла удержаться от страха, как бы он не поднялся вдруг и не стал пожирать людей". Тысячелетний Голиаф - монархия - был низвергнут и побежден; но его дух, казалось, поселился в Тампле, чтобы из глубины своей темницы грозить Франции новыми бедствиями. Дух этот воплотился в недалеком, слабохарактерном человеке, который во времена своего блеска чуть не всецело был поглощен охотой и слесарным мастерством, а в заключении - молитвой и семейными делами. Одно слово "ничего" (т.е. ничего не добыл на охоте), которым он отметил в своем дневнике 14 июля 1789 г., характеризует его больше, чем целые томы красноречивых рассуждений. Но при всей своей ограниченности и природном добродушии этот человек был король, а, следовательно, - олицетворение всех сил прошлого, поднимавшихся против революционной Франции: во имя его интриговали эмигранты при иностранных дворах; во имя его вело свою подпольную деятельность непокорное духовенство; во имя его надвигались со всех сторон несметные полчища врагов. Если представить себе тот огненный круг, в котором вращалась новорожденная республика, то эпитеты "тиран" и "кровопийца", обращенные к Людовику лучшими людьми эпохи, перестают казаться преувеличенными и смешными. Воспитанный в идеях абсолютизма и лишенный тени политического чутья, Людовик не мог ни добровольно отказаться от трона, ни стать конституционным монархом, подчинившись требованиям момента; с тех пор, как корона "божьей милостью" покачнулась на его голове, он слепо стремился удержать ее. Уже бегство в Варенн обнаружило сношения короля с иностранными правительствами и эмигрантами; это, конечно, не могло не отозваться на отношении к нему народа - ему перестали доверять. Это недоверие постепенно переходило в озлобление. При каждой новой попытке контр-революционеров, Людовик, как центр и естественная опора реакции, навлекал на себя все больше подозрений. Еще никому не было известно, что в то самое время, как французский король, перед лицом всего мира, объявлял войну Австрии, его тайный агент, Малле-дю-Пан, спешил с секретными инструкциями к австрийскому и прусскому дворам!; но многие уже были уверены в том, что ни пильницкий, ни кобленцкий, ни брауншвейгский манифест не обошлись без участия Людовика. Злополучный брауншвейгский манифест особенно обострил положение дел; после революции 10 августа чувство неприязни к узнику Тампля начало выливаться во враждебных манифестациях. Его уже иначе не называли, как Капетом, - по имени его предков; на улицах и площадях порой раздавались зловещие крики: "На гильотину Капета!". Депутации от секций, являвшиеся к парижской Коммуне, выражали то же настроение. Измена и казнь Людовика были предметом драматических сцен, которые разыгрывались бродячими актерами. Якобинский клуб энергично требовал суда над низложенным королем. "Вопрос о суде без конца откладывается в Конвенте, - воскликнул один якобинец на заседании клуба: - я требую, чтобы мы самым решительным образом выдвигали на очередь этот вопрос, пока не будет казнена вся семья бывшего короля. Когда эти головы слетят с плеч, всякие беспорядки прекратятся!" Таким образом, суд над Людовиком XVI становился общенародным лозунгом.

Для членов Национального Конвента, как и для всех французов, уже не могло оставаться сомнения, что король вероломно нарушил ту самую Конституцию, на верность которой он не раз торжественно присягал. Однако, Конвент все еще не решался возбудить обвинения против Людовика; по какому-то странному противоречию, он видел непреодолимое препятствие в конституционном понятии неприкосновенности, несмотря на то, что уже самое низложение короля без суда и заключение его под стражу были революционными актами, уничтожавшими конституцию 1791 г. Чтобы заставить его перешагнуть через мнимое препятствие, нужны были новые сильные толчки. Первый из таких толчков был дан революционной коммуной.

1 октября в Конвент явилась депутация от Комитета надзора Коммуны и представила весьма важные документы, найденные при обыске в бюро гражданского листа. Эти документы неопровержимо доказывали сношения короля с эмигрантами и иностранными кабинетами; целая сеть интриг и подкупов всплыла наружу; открылось, что двор израсходовал около 1? миллиона ливров на подкуп депутатов Законодательного Собрания. Сообщение Коммуны вызвало в Конвенте взрыв негодования. Дальнейшие колебания теперь являлись преступными. Конвент решил выяснить, на основании найденных документов, степень виновности я короля, а также вопрос об его подсудности, т.е. подлежит ли король суду, и если да, то каков должен быть состав этого суда. Разработка первого вопроса была поручена экстраординарной Комиссии Двадцати-Четырех, второго - Комитету Законодательства. 6 ноября Дюфриш-Валазе представил доклад от имени Комиссии Двадцати-Четырех<sup>2</sup>.

Доклад Валазе развертывал картину измен и подкупов двора, направленных к восстановлению абсолютизма. Среди документов, представленных Коммуной, находились точные отчеты Булье, которые раскрывали до мельчайших подробностей организацию бегства в Варенн и военные приготовления в лагере Монмеди<sup>3</sup>. Из них видно было, что эта неудачная экспедиция обошлась гражданскому листу в 6.066.800 ливров. Заметка в одном из этих отчетов: "Передано Monsieur, брату короля, по его приказанию, 670.000 ливров" - заставляла подозревать, что король содействовал бегству графа Прованского. Мало того, тот же отчет, помеченный 15 декабря 1791 г., изобличал Людовика XVI в тайных сношениях с прусским двором; оказывалось, что король, прежде чем громко высказаться за войну во Франции, под сурдинку подготавливал к ней иностранные кабинеты. В то же время он организовывал военную силу, на которую мог бы опереться в случае открытия военных действий. Конституция 1791 г. назначала королю, сверх его швейцарской гвардии, лейб-гвардию в 1.800 человек. Он увеличил ее до 6.000 и поставил во главе ее ярого абсолютиста, герцога де-Бриссака. Узнав об этом, Законодательное Собрание немедленно распустило лейб-гвардию и отдало де-Бриссака под суд. Но король снова созвал ее в Кобленце и продолжал содержать на жалованьи. В самой Франции, вопреки конституции, производился набор рекрут, тайком от Законодательного Собрания. Так, квитанции некоего Жилля свидетельствовали о получении им весной 1792 г. крупной суммы на содержание отряда рекрут, по 1.200 ливров в год на каждого. Вообще король не стеснялся расходами для достижения своих целей: он щедро сыпал золотом на контрреволюционную агитацию, на подкуп депутатов Национального Собрания и субсидии роялистской прессе, на поддержку эмигрантов и отвергавших присягу священников; он выдавал значительную пенсию вдове маркиза Фавра, казненного в 1790 г. по обвинению в контрреволюционном заговоре, - выражая, таким образом, свое сочувствие врагам революции. Чтобы добыть средства на эти огромные издержки, двор старался сбросить с гражданского листа другие, с его точки зрения, излишние. Некоторые документы обнаруживали тщетные попытки провести декрет, которым многие расходы гражданского листа переносились на общественный счет. На эти попытки было израсходовано около 1? миллиона ливров.

Доказав, с документами в руках, виновность Людовика XVI, докладчик Комиссии Двадцати-Четырех перешел к принципиальной стороне дела. Подлежит ли король наказанию за свои преступления? Не противоречит ли это королевской неприкосновенности, установленной конституцией? Валазе отвечал на первый вопрос утвердительно, на второй - отрицательно. Королевская неприкосновенность, говорил он, вовсе не есть абсолютное понятие. Она имеет целью гарантировать монарху полную свободу в области исполнительной власти, а потому простирается лишь на его административную деятельность; король не несет ответственности за те акты, за которые ответственны министры. Но из этого отнюдь не следует, что он стоит выше закона и пользуется привилегией безнаказанно нарушать его. Если король совершает незаконные действия, за которые не ответственны его министры, то он не имеет никакого права уклоняться от наказания под предлогом неприкосновенности. Правда, продолжал докладчик, некоторые статьи конституции истолковываются в том смысле, что монарх не может подвергаться другому наказанию, кроме низложения. Но это возражение основано на простом недоразумении. Во-первых, низложение неприменимо к Людовику XVI, так как монархия фактически уже перестала существовать. Во-вторых, те преступления, которые, согласно конституции, караются низложением, как-то: отказ короля присягнуть на верность конституции или нарушение данной присяги, бегство и контрреволюционная деятельность за границей, бездействие в случае ведения войны против Франции от его имени, - подобные преступления не составляют главной вины Людовика. Его вина не исчерпывается нарушением присяги, попыткой бегства и т.под. Он призвал неприятеля против Франции, содержал на жалованьи внешних врагов и всячески старался увеличить число внутренних, - а эти преступления не предусмотрены конституцией. Король должен судиться за них, как простой гражданин, и понести другое наказание, помимо низложения. Какого рода должно быть это наказание-этого вопроса докладчик не касается.

По прочтении доклада Валазе, некоторые члены Конвента потребовали его отпечатать. Но тут возник вопрос: следует ли отпечатать только фактическую часть или весь доклад, вместе с принципиальной частью, доказывающей, что понятие о королевской неприкосновенности не может послужить препятствием для предания суду Людовика XVI. Мнения разделились. Крайняя правая, в глазах которой неприкосновенность являлась щитом, вполне ограждавшим короля от обвинения и суда за его поступки, требовала, чтобы была отпечатана только фактическая часть доклада. Против этого мнения решительно возстал Дантон.

"Я слышал, - сказал он, - что некоторые депутаты хотят помешать опубликованию принципиальных соображений. Я полагаю, что нужно напечатать весь доклад; вы должны оправдать перед всем миром и потомством тот приговор, который вынесете королю-клятвопреступнику и тирану. В подобных случаях не следует скупиться на издержки по печатанию. Всякое мнение, достаточно зрелое, если оно будет содержать

хоть одну хорошую мысль, должно быть опубликовано. Правда, рассуждения докладчика о неприкосновенности далеко не полны; к ним можно прибавить многое. Нетрудно доказать, что и народы также неприкосновенны, что не бывает договора без взаимных обязательств. Очевидно, поэтому, что если бывший король хотел совершить насилие над нацией, изменить ей и погубить ее, то осуждение его согласно с требованиями вечной справедливости. Я не намерен сейчас начинать дебатов и ограничиваюсь требованием опубликовать весь доклад”.

Мнение Дантона одержало верх; было решено напечатать весь доклад целиком. Вопрос о неприкосновенности, затронутый в докладе Дюфриша-Валазе, стал теперь важнейшим очередным вопросом. Прения по этому вопросу скоро поглотили все внимание Конвента. Они были открыты докладом комитета Законодательства, который закончил свои работы одновременно с Комиссией Двадцати-Четырех. Этот доклад был представлен Мелем, на следующий день после доклада Валазе.

### **Доклад Меля [Майля]**

“Подлежит ли суду Людовик XVI за преступления, совершенные им на конституционном троне? Кем он должен быть судим? Предстанет ли он перед обыкновенным трибуналом, как и всякий другой гражданин, обвиняемый в государственной измене? Будет ли он предан трибуналу, образованному из всех избирательных собраний 83 департаментов? Не лучше ли судить его самому Национальному Конвенту? Необходимо ли, уместно ли предлагать приговор на утверждение всех граждан республики, соединенных в коммунальные или в первичные собрания? - Вот вопросы, над которыми долго и серьезно размышлял ваш комитет законодательства. Первый из них - самый простой, и, однако, именно он требует наиболее зрелого обсуждения - не для вас, не для большинства французского народа, который уже изведал всю полноту своей державной власти, но для того незначительного меньшинства, которое усматривает в конституции право на безнаказанность Людовика XVI и ждет от вас разрешения своих сомнений; для тех наций, которые еще управляются монархами и должны быть просвещены вами; наконец, для всего человеческого рода., который устремляет на вас свои взоры, колеблясь между потребностью и страхом наказывать своих тиранов, и ожидает, быть может, только вашего заключения, чтобы придти к тому или иному решению.

“Открывая конституцию, освятившую деспотизм под именем наследственной монархии, я читаю в ней, что особа короля священна и неприкосновенна. Я читаю, что если король не пожелает принести предписанной законом присяги; если он, давши присягу, потом нарушит ее; если он станет во главе какой-либо армии и направит ее против нации; если он формальным актом не окажет противодействия подобному предприятию, которое велось бы от его имени; если, наконец, он, покинув государство, не вернется назад в определенный срок, по приглашению законодательного корпуса, - то во всех этих случаях он считается лишенным власти. Я читаю, что, после добровольного отречения или предписанного законом низложения, король вступает в класс граждан и подлежит, наравне с ними, обвинению и суду за действия, совершенные им после отречения от власти.

“Но значит ли это, что король, если он достаточно ловок, чтобы избежать перечисленных случаев, может безнаказанно предаваться самым диким страстям? Значит ли это, что он может пользоваться своей конституционной властью для уничтожения самой конституции? Следует ли отсюда, что если, несмотря на тайное призвание чужеземных орд, несмотря на пролитие крови сотен и тысяч граждан, король все-таки потерпит неудачу в своих предприятиях против свободы, - то он отделается потерей скипетра, который был ему ненавистен, ибо он не железный; что нация, так долго угнетаемая, так низко обманутая, не будет иметь право в минуту пробуждения поразить его карающим мечом и дать великий пример всему миру? Может быть, таково было действительно намерение лиц, предложивших эти статьи, которые не замедлит привести в свою защиту Людовик XVI. Но если бы от них потребовать объяснения, они ответили бы лишь уклончивыми фразами; они не посмели бы признаться, что стремились вернуть Людовика к деспотизму, соблазнив его подобной безнаказанностью. Эти люди уподоблялись в некоторых отношениях сенатской аристократии Рима, которая, подготавливая парод к рабству частым назначением диктаторов, окружала себя мраком и тайной, как будто она стыдилась, по выражению Жан-Жака, поставить отдельное лицо выше закона.

“Посмотрим, каковы были мотивы и цель установления королевской неприкосновенности; это единственный способ понять ее истинный смысл, чтобы судить, можно ли противопоставлять ее самой нации.

“Франция, говорили тогда, не может существовать без монархии, равно как монархия - без неприкосновенности. Если бы король мог быть обвинен или предан суду законодательным корпусом, то он находился бы от него в зависимости. А если так, то одно из двух: либо он был бы вскоре свергнут этим корпусом, который, завладев властью, вступил бы на путь тирании; либо он был бы совершенно обессилен и лишен возможности следить за исполнением законов. Во всяком случае, свободе настал бы конец. Следовательно, король должен быть неприкосновенным не в его собственных интересах, а в интересах самой нации. Однако, люди, приводившие такие доводы, соглашались, что королевская неприкосновенность могла бы стать опасной для свободы; но они утверждали, что эта опасность устраняется ответственностью министров. Вот какими софизмами старались сбить с толку нацию! Но неужели мы не знаем, что королевская власть долго существовала и у спартанцев, и у других народов древности, не прикрываясь эгидой неприкосновенности? Что их правители были ответственны перед народными трибуналами? Что зависимость и подсудность этих правителей не только не вредили свободе, но служили, наоборот, ее единственной гарантией? Более разумные, чем спартанцы, французы низвергли самое королевскую власть, прежде чем заняться участью виновного короля; французская нация уже доказала, как клеветали предатели,

уверявшие, что она нуждается в монархическом правительстве для поддержания своего могущества и славы. - Однако, вернемся к вопросу о неприкосновенности. По собственному признанию ее защитников, королевская неприкосновенность имела в виду исключительно интересы нации, охрану ее покоя и свободы; она не принесет вреда, говорили они, так как король не может издать ни одного декрета без утверждения министра, а министры, в свою очередь, отвечают головой за всякое преступное действие администрации. Если бы Людовик XVI всегда подчинялся этим ограничениям своей власти, то у него был бы благовидный предлог сказать вам: "Что бы я ни делал, я всегда стремился к счастью нации; я мог, конечно, ошибаться, но меня поощряло сознание моей неприкосновенности при проведении в жизнь моих идей общественного блага. Я предлагал все меры на утверждение министров; я не издал ни одного декрета, не скрепив его их подписью; посмотрите их отчеты - вы увидите, что вся вина падает на них, ибо они одни должны были гарантировать мои ошибки". Но сколь не вправе Людовик держать подобные речи! Как нарушал он закон, повелевавший ему иметь агента, всегда готового отвечать за его ошибки или преступления! Как обращал он против нации прерогативу, полученную им в ее интересах, как искусно обходил он гарантии личной и общественной свободы! Мы давно уже предчувствовали, что чьи-то руки роют могилу нации; но эти руки были невидимы.

"Измена нависла над головами всех граждан, оставаясь совершенно незамеченной, гром едва не грянул еще до появления молнии! А Людовик XVI, который, желая обмануть нацию, всеми силами старался возбудить в ней подозрения против достойнейших членов законодательного собрания; Людовик XVI, который, уже считая себя близким к осуществлению своих вероломных замыслов, оглашал эти священные своды своими лицемерными уверениями в преданности свободе, - этот Людовик не должен понести личной ответственности за зло, причиненное им лично! Он скажет, что его личность не может быть отделена от королевской функции; что неприкосновенность его, как короля, за административную деятельность предполагает его личную неприкосновенность за частную деятельность. Я отвечаю на это, что он сам оправдал, как нельзя более, возможность такого отделения. Неприкосновенность его, как главы исполнительной власти, основывалась исключительно на фикции, переносившей преступление и наказание на его агентов; но он сам уничтожал действие этой фикции в том случае, если замышлял свои комплоты без соучастия министров или явных агентов, а также и в том, если скрывал их от активного надзора. А так как основы конституции, принятой Людовиком XVI, не допускают нарушения закона без ответственности, то на Людовика естественно и необходимо падает ответственность за те его преступления, которых нельзя поставить в вину министрам. Далее, конституция наказывала короля за бездействие в случае войны, ведущейся против нации от его имени. Однако, вероломный король мог оказывать не действительное, а лишь мнимое противодействие. Следовательно, предстояло решить, было ли это противодействие настоящим или притворным. Но для этого, очевидно, необходимо было рассмотреть поведение короля, судить его. При тогдашнем положении дел это право могло принадлежать только высшей из установленных властей. А значит бывали случаи, когда сама конституция положительно ограничивала королевскую власть и ставила ее в зависимость от законодательного корпуса. Следует ли отсюда, что последний имел право судить короля за все его преступления? Этого, конечно, требовала логика; но текст конституции говорил противное.

"Я - служитель истины и был бы преступен, если бы утаил ее в принципиальной или в фактической области. Согласно конституции, действительная власть законодательного корпуса, по отношению к королю, ограничивалась правом суда над ним в известных случаях; но и тогда он не мог быть приговорен к другому наказанию, кроме низложения. За исключением этих случаев, особа короля была независима от законодательного корпуса, и последний не мог присвоить себе никакой судебной функции. Он пользовался лишь правом издавать обвинительные декреты. Но если бы Законодательное Собрание и издало такой декрет против Людовика XVI, то к какому трибуналу могло бы оно привлечь его? Поставленный конституцией наравне с законодательным корпусом, король был выше всех остальных властей. Но неужели законодательный корпус был так связан принципом королевской неприкосновенности, чтобы пожертвовать общественным спасением, из боязни изменить этому принципу? Неужели он должен был подражать тем суеверным солдатам, которые, увидя в первом ряду неприятельского войска животных, слывших священными в их стране, не осмелились стрелять и тем безвозвратно погубили свободу своего отечества? Спросите отчета у людей 10 августа, в сооружении тех плотин, которые они противопоставили потоку измен! Потребуйте отчета у Законодательного Собрания в тех декретах, которые отрешали от власти Людовика и заключали его в Тампль! Вы услышите один ответ: мы спасли свободу; воздайте хвалу нашему мужеству! То самое Законодательное Собрание, которое обвинялось клеветами деспотизма в стремлении унижить королевскую власть, чтобы усилить и увековечить свою собственную, - это собрание, едва успев совершить свои великие деяния, снискавшие ему славу спасителя Франции, сказало нации: "Мы возвращаем тебе вверенные нам полномочия; если мы и превысили их, - это было временно и только для твоего спасения. Суди нас, суди конституцию, суди монархию, суди Людовика XVI и решай сама, угодно-ли тебе сохранить или преобразовать основы твоей свободы".

"Граждане, нация сказала свое слово. Нация избрала вас выразителями своей державной воли. Здесь кончаются все затруднения, здесь исчезает королевская неприкосновенность, как будто ее никогда не существовало. Как я уже указывал выше, эта неприкосновенность имела единственной целью обеспечить энергию исполнительной власти, сделав ее независимой от законодательной. Поэтому, Законодательное Собрание не имело права судить короля в случаях, непредусмотренных конституцией; поэтому король ни в коем случае не подлежал суду ни одной из установленных властей, которые были все подчинены ему. Но это еще не значит, что он не может быть судим нацией; чтобы вывести подобное следствие, пришлось бы допустить, что конституция ставила короля выше нации или делала его независимым от нации. Людовик XVI,

пожалуй, возразит нам: "Утверждая конституцию, созданную его представителями, французский народ тем самым признал неприкосновенность, дарованную мне этой конституцией. Он признал, что мне могут вменяться в вину только те преступления, которые совершены после моего низложения. Приняв конституцию, народ связал не только установленные власти, но и самого себя, ибо она не давала ему положительного права судить меня за предшествующие преступления". - Но нет, - скажу я в ответ: нация не была связана королевской неприкосновенностью; она даже не могла быть связана уже потому, что между нацией и королем не существовало взаимного договора. Людовик XVI был королем только на основании конституции; нация же была самодержавна и без конституции и без короля. Она обязана своей верховной властью одной природе и не может лишиться ее ни на один миг. Этот вечный принцип указывался в самой конституции. Нация допустила бы отчуждение своей державной власти, если бы она отказалась от права разбирать и судить все действия человека, поставленного ею во главе администрации. Ведь и Законодательное Собрание также было неприкосновенным; оно пользовалось независимостью от короля и всех других установленных властей; ни один из его членов не мог подвергнуться судебному преследованию без особого декрета по этому поводу. Но если бы Собрание употребило во зло свою неприкосновенность, свою независимость; если бы нация привлекла его к ответственности за эти злоупотребления, - то неужели, вы думаете, оно могло бы отделаться ссылкой на прерогативу, дарованную ему не в собственных его интересах, а в интересах всего общества? Как неприкосновенность короля, так и неприкосновенность законодательного корпуса имели целью предупредить посягательства одной из этих властей на права другой. Такой порядок должен был привести к равновесию, которое считалось необходимым для поддержания свободы.

"Согласно этим принципам, если бы король остался верен своему долгу, он мог бы апеллировать к нации против всякой меры, угрожающей его неприкосновенности. Но теперь, сам привлеченный к суду нации, каким образом, мод каким предлогом может он сослаться на свою неприкосновенность, которую он получил для защиты нации, а использовал для ее угнетения?"

"Но разве Людовик уже не судился? Разве он не был наказан лишением конституционного трона? Разве он может быть подвергнут вторичному суду, вторичному наказанию? Это возражение - если нам приведут его - будет неточно.

"Если бы конституция оставалась в силе, если бы Законодательное Собрание, основываясь на ней, низложило Людовика XVI и назначило ему преемника, - тогда, действительно, низложение явилось бы карой, и вторичное наказание противоречило бы конституции. Но нация, имеющая безусловное право изменять конституцию, поручила своим представителям выработать новую. Облеченные ее неограниченными полномочиями, вы не лишили Людовика, как недостойного, королевского сана, но объявили, что королей во Франции больше не будет; вы уничтожили королевскую власть не потому, что Людовик был виновен, а потому, что свобода невозможна без равенства, а равенство - без республики. Вы, стало быть, не судили Людовика XVI, не наказывали его; вы в данном случае совершенно не принимали во внимание его личности. Он был королем только по милости монархической конституции; он как нельзя более естественно перестал быть королем при первом порыве нации к республиканской конституции.

"Но за вами будут отрицать даже право приговаривать Людовика XVI к какому бы то ни было наказанию; вам напомнят Декларацию прав; вам скажут, что никто не может быть наказан иначе, как на основании закона, изданного и обнародованного раньше соответствующего преступления, и при том со строгим соблюдением всех его требований. Вас спросят, где тот закон, который можно применить к преступлениям Людовика XVI? Где этот закон! Он находится в Уголовном кодексе. Это закон, карающий преступления должностных лиц - ибо вы знаете, что Людовик XVI, в глазах закона, - не что иное, как первое должностное лицо в государстве. Это закон, поражающий изменников и заговорщиков; это закон, угрожающий всякому, у кого хватает низости или дерзости, чтобы посягнуть на общественную свободу.

"Напрасно будут возражать мне, что эти законы, представляющие практические выводы и дальнейшее развитие конституции, неприменимы к преступлениям короля, который облечен неприкосновенностью в силу той же конституции. Они, разумеется, не могли быть применены властями, которые поставлены конституцией ниже короля; но эта королевская прерогатива, очевидно, теряет силу перед лицом нации.

"Да и разве эти законы находятся только в новейшем французском кодексе? Разве они не существовали во все времена и у всех народов? Разве они не древнее самих обществ? Монарх повсюду избирался лишь для того, чтобы наблюдать за исполнением законов, защищать собственность, свободу и жизнь каждого гражданина и предохранять от угнетения все общество. Повсюду он являлся неприкосновенным в том смысле, что оскорблять его - значило бы оскорблять нацию, которую он представлял. Но если он нарушал свою присягу, если он сам наносил оскорбление нации вторжением в ее верховные права или в права ее представителей, если он убивал свободу, вместо того, чтобы охранять ее, - тогда нация имела естественное и неотъемлемое право призвать его к своему трибуналу и подвергнуть наказанию, достойному разбойника и тирана. У предков наших, кельтов, народ всегда удерживал за собой право судить своих старейшин. Но к чему эта специальная оговорка? Разве право всякой нации судить и осуждать своих правителей не есть необходимое условие общественного договора, возводящего их на трон? Разве это право не является вечным, неотъемлемым атрибутом национального суверенитета? Когда, на берегах нижней Сены, французский гражданин остановил гроб Вильгельма Завоевателя, обвиняя его в захвате участка земли, и не позволил унести тело этого государя в место погребения, прежде чем ему не вернули его собственности; когда дон-Генрих, осужденный кастильскими штатами, понес сперва заочно, а потом и лично самое позорное наказание; когда Жанна Неаполитанская подверглась уголовному преследованию, как убийца своего супруга; когда французские короли, привлеченные к ответственности собранием епископов и сеньоров, которые считали себя представителями нации, низвергались с престола и

приговаривались к пострижению и пожизненному заключению в монастыре; когда дон-Альфонс и один из сыновей Густава Вазы были низложены и навсегда лишены свободы, первый - португальскими штатами, второй - шведскими; когда Карл I сложил голову на плахе; когда все эти монархи и множество других искупали свои преступления позорным или трагическим концом, - тогда не существовало никаких специальных законов, которые определяли бы наказание для виновных королей. Но национальный суверенитет, по самой природе своей, решает, в случае надобности, там, где молчат писанные законы; он устанавливает род казни за нарушение общественного договора, он карает преступления королей точно так же, как и преступления других граждан. Европейским монархам удалось убедить простодушные нации в том, что их короны небесного происхождения. Они приучили нации видеть в них образ божества, господствующий над людьми, привили им веру в священность и неприкосновенность своей особы и в полную ее неуязвимость для законов.

“Однако, если бы, например, испанская нация, просвещенная французским гением, поднялась, наконец, и сказала своему королю: “Первоначально я избирала королей только для того, чтобы сделать из них исполнителей моей воли. Они злоупотребили вверенными им полномочиями и стали деспотами; но я сумею вырвать у них свою державную власть. Я ввела конституцию, которая должна была охранять мои права; ежегодно в собраниях представителей я высказывала свои намерения по поводу войны и мира, по поводу налогов, по поводу всех отраслей администрации; в промежутках между собраниями одно из должностных лиц, от моего имени, препятствовало расширению королевской власти. Тиран разрушил все мои предохранительные законы; я хотела их восстановить - но была раздавлена внешним могуществом Карла I. После прекращения его династии в Испании я могла бы вернуть свою свободу; но грозные силы двух соперничающих домов предоставили мне лишь выбор нового тирана. Теперь, наконец, я свободна. Предстань перед моим трибуналом и отдай мне отчет во всех королевских деяниях!..” Граждане, если бы все это случилось, то неужели, по-вашему, безнаказанность, которой пользовался до сих пор Карл IV, дала бы ему право избежать суда нации?

“Если бы австрийский народ, если бы народ венгерский восстал в свою очередь и сказал Францу II: “Ты не только властвовал надо мной, по примеру своих предков, но и посягнул на свободу в ее отечестве. Французы объявили себя друзьями всех народов, а ты навлек на меня их ненависть и проклятие. Из опасения, чтобы свобода не заглянула в твои владения, ты задумал изгнать ее из всех углов земного шара. Ты осквернил имущество и кровь мою, расточая их для этой гнусной цели. Ты принудил меня защищать интересы тиранов против интересов наций. Низкий посягатель на права нации, на международное право, на бессмертные права всех народов, тебе остается в удел лишь позорное клеймо неудавшихся замыслов. Но неужели мнишь ты, что, воспрянув, наконец, от сна, я захочу и впредь разделять твои гнусности? Мне нужно смыть с себя тот позор, которым ты покрыл меня в глазах французов и всех наций; и я могу смыть его только твоею кровью”. - Еще раз спрашиваю вас, граждане, неужели выдумаете, что венгерский деспот имел бы право противопоставить национальному мщению призраку своей неприкосновенности и молчание писанных законов по поводу преступлений тиранов?

“Но разве Людовик XVI находится в более благоприятном положении? Какого злодеяния, какого посягательства против основ общественного порядка не совершил он или, по крайней мере, не поощрял? Когда французская нация впервые пробудилась в 1789 г., то вместо того, чтобы наказать его, как она могла, как должна была сделать, - она великодушно оставила его на троне; она думала исправить его своими благодеяниями. В первых статьях конституции она объявила особу короля священной и неприкосновенной.

“Конституция была закончена в июне 1791г. Людовик XVI принял ее целиком; как вдруг он бежал с поспешностью и скрытностью, которые обнаружили его намерение соединиться с деспотами, уже угрожавшими свободе Франции. Учредительное Собрание потребовало отчета в его бегстве и планах. Людовик XVI давал лживые объяснения, противоречившие его декларации, - но тем самым он признавал, что Учредительное Собрание имело право судить и наказывать. Тогда действительно возник вопрос о суде над ним. Его приспешники ссылались на королевскую неприкосновенность, уже установленную конституцией; они из кожи лезли, чтобы доказать, что эта неприкосновенность тесно связана со свободой. Но вся их аргументация, как я упоминал выше, сводилась к мнимой необходимости поставить исполнительную власть в независимость от законодательной. Они никогда не утверждали, что королевская неприкосновенность, уже вошедшая в законную силу, может быть противопоставлена собранию народных представителей, облеченных верховными правами. Они даже не могли позволить себе подобного утверждения, не впадая в противоречие с деятельностью Учредительного Собрания, которое арестовало короля в Варенне, отрешило его от власти, приказало ему дать письменные объяснения по поводу своего бегства, - и которое не имело бы права принимать ни одной из этих мер, если бы не было убеждено, что королевская неприкосновенность должна преклониться перед верховным трибуналом нации.

“Людовик XVI еще раз признал конституцию; но разве эта последняя ратификация была более чистосердечной, чем прежние? Не лучше ли сказать, что все они были игрой, имевшей целью дать ему возможность удержаться на троне и со временем восстановить деспотизм на развалинах той же конституции? Или вы забыли знаменитую декларацию 21 июня? Она объявляла, что король был лишен свободы, что он всегда принимал конституцию только по принуждению. Таким образом он подавал сигнал иностранным державам придти на помощь. Они слишком медлили, по его мнению; он решил явиться к ним лично, чтобы ускорить их приготовления и выступление в поход.

“Что было сделано Людовиком после сентябрьского утверждения конституции для уничтожения действия его декларации за границей? Вместо того, чтобы, призвать обратно, удержать или обезвредить своих братьев и других эмигрантов, которые с самого начала революции выпрашивали от его имени содействие иноземных деспотов, он платил им жалованье на счет нации и парализовал все меры,



предосторожности со стороны Законодательного Собрания; вместо того, чтобы предупредить или остановить нашествие пруссаков и австрийцев, он организовал измену во всех пограничных и внутренних крепостях. Не ясно ли из всего этого, что после утверждения конституции, как и до того, Людовик постоянно вел войну с нацией? А теперь он вздумает сослаться на эту конституцию, которой сам же никогда не хотел подчиняться, на конституцию, которою он пользовался лишь для того, чтобы заливать кровью территорию Франции и подготавливать торжество своих комплотов против свободы!

“Как! если бы тиран заколол мою жену или сына, то никакая конституция не могла бы наказать меня за то, что, повинувшись первому движению души, я ответил на вопль жертв смертью их убийцы, не могла бы запретить мне призвать на его голову все громады законов божественных и человеческих, - ибо права, природы выше всяких людских установлений! А между тем целый народ, права которого также покоятся на священных основах природы, не может отомстить предателю, злоупотребившему для гнета и убийства той властью, которую он получил для исполнения верховной воли нации!

“Неужели, граждане, вы хотите уклониться от этого великого принципа естественной и общественной справедливости? Разве не указывает вам путь долга все окружающее вас как вдали, так и непосредственно? Разве не начертан он на дымящихся развалинах несчастного Лилля, на воротах Лонгви и Вердена, отмеченных печатью измены и подлости, на следах неслыханных зверств, учиненных каннибалами, которые несколько дней были сильны вероломством Людовика XVI, но затем были уничтожены одним взглядом борцов за свободу? Или вы не видите еще до сих пор отпечатка смертоносного свинца, угрожавшего нации 10 августа в самом святилище законов? Или в ваших сердцах не звучат еще стоны граждан, павших на площади тюльерийского дворца, и возгласы многочисленных новых Дециев, которые, жертвуя собой за отечество, унесли в могилу надежду быть отмщенными? Разве глухи вы к голосу Республики, напоминающей вам, что это мщение - одна из первых ваших обязанностей? Разве вы настолько ослеплены, что не видите, как толпятся вокруг вас все народы, все поколения настоящие и грядущие, в безмолвном нетерпении ожидая от вас решения вопроса, может ли исполнительная власть быть независимой от законодательной? дает ли право королевская неприкосновенность безнаказанно душировать граждан и общество? есть ли монарх божество, чьи удары надо благословлять, или простой смертный, который должен нести кару за свои злодеяния?

“Итак, Людовик XVI подлежит суду. Он должен быть предан суду за преступления, совершенные им на троне. Но кто и как должен судить его? Следует ли привлечь его к трибуналам, действующим в его местожительстве, или к трибуналам тех мест, где были совершены его преступления? Лица, предлагавшие комитету законодательства подобный способ суда, говорили, что Людовик XVI не должен пользоваться никакими привилегиями. Если конституционная неприкосновенность, поясняли они, не может предохранить его от суда, то почему бы выделять его из массы других граждан при установлении порядка судопроизводства и при выборе трибунала? Им отвечали, что все существующие трибуналы учреждены конституцией; что неприкосновенность короля не позволяет ни одной из установленных властей стать его судьей; что эта неприкосновенность исчезает только перед лицом нации; что одна нация имеет право привлечь к суду Людовика XVI за нарушение конституции; что, следовательно, судить его должен либо сам Национальный Конвент, либо трибунал, составленный всей нацией.

“С тех пор комитет колебался только между двумя последними предложениями. Члены, не желавшие, чтобы Людовика XVI судил сам Конвент, представили проект, который обсуждался весьма долго. По этому проекту, Национальный Конвент будет выполнять функции обвинительного жюри<sup>4</sup>; он выберет 6 депутатов, из которых двое будут исполнять обязанности руководителей жюри, а четверо остальных - поддерживать обвинение, если оно будет принято. Людовик XVI предстанет перед барьером Конвента. Два руководителя обвинительного жюри перечислят в его присутствии пункты обвинения, укажут документы, служащие уликой, и представят обвинительный акт, составленный на основании этих документов. Людовику XVI будет предоставлено право лично или через посредство своих защитников высказать все, что он захочет привести в свое оправдание. Затем Собрание примет или отвергнет обвинение.

“В первом случае, 4 члена Конвента, выполняющие функцию прокураторов<sup>5</sup>, будут поддерживать обвинение перед судебным жюри и трибуналом, которые будут образованы следующим образом. Избирательные собрания каждого департамента выберут по два члена судебного жюри. Список этих 166 лиц будет предложен Людовику XVI с правом вычеркнуть 83 из них. Если он не захочет воспользоваться своим правом, то половина имен будет вычеркнута по жребию. Трибунал же будет составлен из 12 судей, взятых по жребию из числа президентов уголовных трибуналов 83 департаментов. Судебное жюри даст свое заключение абсолютным большинством голосов. Трибунал вынесет приговор.

“Комитет отверг этот проект и принял другой, по которому Национальный Конвент будет сам судить Людовика XVI; но как должен происходить этот суд? Комитету был предложен порядок, переносащий в Конвент различные формальности, предписанные законом для судебных процессов. Согласно этому порядку, Конвент прежде всего назначит по жребию депутатов для отправления функций руководителей обвинительного жюри, прокураторов и судей. Затем все остальные члены Конвента будут размещены по жребию или в обвинительное жюри, или в судебное. Этот порядок имеет то преимущество, что вполне устраняет возможность выполнения различных функций в процессе одними и теми же лицами.

“Но действительно ли Национальный Конвент, если он возьмет на себя суд над Людовиком XVI, обязан подчиняться всем формальностям, предписанным для уголовных процессов?

“Английский парламент часто упрекают в нарушении формальностей во время суда над Карлом I; по мнения по этому поводу расходятся, и нам чрезвычайно важно выяснить свое отношение к этому знаменитому процессу.

“Карл Стюарт, подобно Людовику XVI, пользовался неприкосновенностью. Он изменил нации, которая возвела его на трон; но, будучи независимым от всех учреждений, установленных английской конституцией, он не подлежал ни обвинению, ни суду ни одного из них - его могла обвинить и судить только нация. Когда он был арестован, вся палата перов была на его стороне и единодушно стремилась к спасению короля и королевского деспотизма. Палата общин захватила в свои руки всю парламентскую власть, и она, бесспорно, имела на то право при тогдашних обстоятельствах. Но сам парламент был не что иное, как установленное учреждение. Он не представлял нации во всей полноте ее державной власти; он представлял ее только лишь на основании конституции. Он, стало быть, не мог ни сам судить короля, ни передавать право суда над ним другой инстанции. Он должен был поступить так же, как поступило во Франции Законодательное Собрание, т.е. предложить английской нации созвать Конвент. Если бы палата общин пришла к этому решению, то для английской монархии пробил бы последний час. Тогда знаменитый публицист, который стоял бы на высоте, если бы не осквернил своего пера апологией монархии и дворянства, - этот публицист не имел бы повода писать: “Интересно было наблюдать тщетные усилия англичан восстановить у себя республику, и видеть изумление народа, ищущего демократию, но нигде ее не находящего; любопытно, что после всех волнений, столкновений и потрясений, народ принужден был успокоиться на той самой форме правления, которую он сам же уничтожила. Но, к несчастью, палата общин руководилась гением Кромвеля, который хотел сделаться королем под именем протектора; а между тем в Национальном Конвенте он нашел бы могилу своему честолюбию.

“Итак, не нарушение судебных формальностей, установленных в Англии для уголовных процессов, но лишь невмешательство национальной вели, лишь протекторат Кромвеля набросил на процесс Карла Стюарта ту отвратительную тень, которая отражается даже в самых философских сочинениях.

“Карл Стюарт заслужил смерть; но его могла приговорить к казни только нация или трибунал, избранный ею.

“При обыкновенном судопроизводстве формальности считаются гарантией имущества, свободы и жизни граждан; судья, нарушающий их, может быть справедливо обвинен или в игнорировании принципов правосудия, или в желании поставить свой произвол и личные страсти выше воли закона. Но многосложны! аппарат уголовной процедуры стал бы, очевидно, совершенно излишним, если бы само общество судило своих преступных членов. Являясь творцом своих законов, общество не может быть заподозрено ни в умышленном игнорировании принципов правосудия, которые добровольно признаны им руководящими принципами, ни в пристрастном отношении к своим собственным членам. Отдельные трибуналы, функционирующие в различных частях страны, конечно, могут руководиться местными интересами, частными побуждениями или мотивами личной мести. Для устранения, по мере возможности, этих неудобств, и было введено разделение функций, подготовляющих и отправляющих правосудие; для этой цели служат также отводы судей и все вообще формальности, заключающие трибуналы в известные рамки, которых они не вправе переступать. Но все эти частные соображения исчезают, когда речь идет об обществе. Если общество заинтересовано в наказании своих провинившихся членов, то еще более заинтересовано оно в том, чтобы они оказались невинными. Его сила и слава зависит от того, чтобы сохранить их в своей среде и окружить их всех своей любовью и покровительством, - поскольку они не выкажут себя недостойными или не навлекут его мести действиями, противными общему благу. Общество, которое, решая участь своего члена, руководилось бы иными мотивами, кроме тех, которые вытекают из общих интересов, очевидно, стремилось бы к собственной гибели, - а общественное целое нельзя заподозрить в стремлении к самоубийству.

“Но Национальный Конвент всецело и безусловно представляет французскую республику. Нация дала в судьи Людовику XVI тех людей, которые избраны ею для обсуждения и удовлетворения ее собственных интересов; людей, которым она вверила свой покой, свою славу, свое счастье; людей, которым она поручила предначертать ее великие судьбы, судьбы всех граждан, судьбы всей Франции. Если только Людовик XVI не захочет судей, доступных соблазну иностранного золота, то он не может пожелать трибунала, более беспристрастного и более чистого от всяких подозрений. Отвергнуть компетенцию Национального Конвента или кого-либо из его членов, - это значило бы усомниться в самой нации, посягнуть на общество в его основах. Что нужды до частных поступков и мнений, подготовлявших падение монархии? Все французы разделяют вашу ненависть к тирании, все питают равное отвращение к королевской власти, которая отличается от деспотизма только по имени. Людовик XVI чужд этого чувства: вам предстоит судить преступного короля. Но обвиняемый уже не король; он вернулся к первоначальному званию, он - человек. Если он невинен - пусть оправдается; если он виновен - пусть часть его послужит примером для всех наций!

“Следует ли подвергнуть ваш приговор над бывшим королем ратификации всех граждан, соединенных в коммунальные или в первичные собрания? Комитет обсуждал и этот вопрос и решил его в отрицательном смысле.

“В Риме судьями во всех уголовных процессах были консулы; когда же речь шла об оскорблении Величества Нации, или, вообще, о преступлении, наказуемом смертной казнью, то приговор предлагался на утверждение народа, который окончательно осуждал или оправдывал обвиняемого. В Спарте, когда царь обвинялся в нарушении законов или в государственной измене, то он предавался трибуналу, состоящему из его соправителя, сената и эфоров; при этом он пользовался правом апеллировать на решение трибунала ко всему народу.

“Но ни консулы в Риме, ни цари, сенат и эфоры в Спарте не являлись национальными представителями в полном смысле слова. Они далеко не обладали теми верховными полномочиями, которыми облечен Национальный Конвент, и были недостойны их. Кроме того, под римским или спартанским народом разумелось не что иное, как население столицы республики, Это население, жившее в стенах одного города, как бы многочисленно оно ни было, всегда имело возможность собираться, обсуждать дела,



совещаться и выносить приговоры, - что совершенно невыполнимо для французского народа. А если так, то каким образом вы предложите ему на утверждение свой приговор? Чтобы принять или отвергнуть конституцию, которую вы представите ему впоследствии, французскому народу не будет надобности собираться массами; каждый гражданин, заглянув в свою совесть, найдет там нужный ответ. Но для решения вопроса о жизни и смерти человека, надо иметь под руками письменные доказательства, надо выслушать обвиняемого, если он захочет воспользоваться своим естественным правом самозащиты. Эти два элементарные условия правосудия будут до такой степени невыполнимы, что я считаю излишним приводить бесчисленное множество других соображений, которые точно также заставили бы вас отвергнуть предложение о ратификации вашего приговора всеми членами республики.

“Я ничего не сказал о Марии-Антуанетте. Ее имя не упоминается в декрете, послужившем причиной настоящего доклада; оно не могло и не должно было упоминаться в этом декрете. Разве она вправе смешивать свое дело с процессом Людовика XVI? Разве голова женщин, носивших имя королевы Франции, когда-нибудь была более священна и неприкосновенна, чем голова любого бунтовщика или заговорщика? Когда придет ее черед, вы решите, есть ли основание возбуждать против нее процесс, и в этом случае предадите ее обыкновенному трибуналу. Не упоминал я также и о Людовике-Карле<sup>6</sup>. Этот ребенок пока еще невинен; он не мог принимать участия в кознях Бурбонов. Вы должны решить его участь сообразно интересам республики. Вам придется высказаться по поводу великой мысли Монтескье: “В некоторых странах, где особенно высоко ценится свобода, есть законы, нарушающие ее по отношению к одному лицу... Признаюсь, обычай самых свободных народов, каких видел свет, заставляет меня думать, что бывают случаи, когда необходимо на миг набросить покрывало на свободу, как набрасывают его на статую богов”.

“Может быть, недалеко время, когда для свободных народов не будет надобности в подобных предосторожностях. Потрясение тронов, даже наиболее устойчивых, кипучая и плодотворная деятельность армий французской республики, политическое электричество, которым заряжен весь род человеческий, - все предвещает нам близкое падение монархов и восстановление обществ на их первобытных основах. Тогда тираны, которые избегнут мести народов и не будут подвергнуты примерному наказанию, смогут, без всякого ущерба для человечества, владеть свое позорное существование. Тогда эти деспоты и всякий, кому вздумается им подражать, будут так же безвредны, как Дионисий<sup>7</sup> в Коринфе.

“Я предлагаю вам, от имени Комитета Законодательства, издать декрет на следующих основаниях: 1) Людовик XVI подлежит суду; 2) он будет судим Национальным Конвентом; 3) трем комиссарам, избранным из среды Конвента, поручается собрать все документы, сведения и доказательства, относящиеся к процессу Людовика XVI; 4) комиссары составят обвинительный акт; 5) если Собрание одобрит этот акт, он будет напечатан и вручен Людовику XVI и его защитникам, избранным по желанию обвиняемого; 6) если Людовик XVI потребует сообщения подлинных документов, то они, после снятия копий, будут отправлены к нему в Тампль, а затем возвращены в Национальный Архив 12 комиссарами Собрания; 7) Национальный Конвент назначит день для допроса Людовика XVI; 8) Людовик XVI лично, или через посредство защитников, представит свою защиту, устную или письменную, за собственноручной его подписью, - и, наконец, 9) Национальный Конвент вынесет приговор поименным голосованием”.

Доклад Меля вызвал бурное одобрение со стороны большинства Конвента. Бийо-Варенн предложил собранию немедленно постановить, что Людовик XVI может и должен быть предан суду. Но это предложение встретило отпор со стороны жирондистов, которые находили такой декрет преждевременным. По их настоянию, Конвент решил предварительно обсудить дело с принципиальной стороны. Начало прений было назначено на 13-е ноября.

## ГЛАВА II

### **Прения по вопросу о королевской неприкосновенности. Настроение департаментов.**

#### **Открытие железного шкафа. Конвент решает судить Людовика XVI.**

Вопрос, к обсуждению которого приступил Национальный Конвент, был поставлен Петионом в следующей форме: “Может ли король подлежать суду?” Первым взял слово представитель правой, Мориссон.

- Граждане, когда перед нами вопрос величайшей важности, вопрос, стоящий в тесной связи с политикой и принципами карательного правосудия, то мы не должны принимать определенного решения прежде всестороннего рассмотрения этого вопроса. И если иной оратор выскажет мнение, несогласное с мнением большинства, то его именно мы и должны выслушать с наибольшим вниманием. Ошибка часто бывает полезна для выяснения истины; это - тень на картине, она нужна для обрисовки контуров. Я указываю вам на это, граждане, в своих интересах. Мое мнение, по-видимому, изолировано, оно противоречит мнению огромного большинства. Но долг повелевает мне заглушить самолюбие; характер наших прений таков, что даже мои ошибки могут принести пользу. Итак, я прошу вас, во имя отечества, выслушать меня спокойно, как бы возмутительны ни показались вам некоторые из моих соображений.

“Граждане, я, как и вы, проникаюсь величайшим негодованием, мысленно перебирая все измены и преступления Людовика XVI. Первым моим желанием и, конечно, самым естественным было бы заставить это кровожадное чудовище искупить свои злодеяния в самых жестоких муках - он заслужил их, я знаю. Но на этой трибуне, где я выступаю, как представитель свободного народа, ищущего своего счастья лишь в актах гуманности и правосудия, в актах великодушия и милосердия - ибо вне их нет счастья, - на этой трибуне я должен отречься от самого себя, чтобы повиноваться лишь голосу разума, чтобы сообразоваться лишь с

духом и постановлениями закона. Здесь главным моим помышлением должны быть интересы сограждан - этот единственный предмет всех наших совещаний. "Ваш Комитет Законодательства, к которому я имею честь принадлежать, задался целью обсудить следующие вопросы: подлежит ли суду бывший король? кто должен судить его? каким образом можно судить его? А я, граждане, не уклоняясь от главного предмета настоящих прений, предложу, со своей стороны, другой ряд вопросов, из которых только первый находится в числе вопросов, поставленных вашим комитетом. Подлежит ли суду Людовик XVI? Я обсуждаю этот вопрос среди народа, который беспрепятственно пользуется своей верховной властью. Я отнюдь не намерен оспаривать его прав и всегда сумею уважать их; но эти права имеют границы, тем более священные, что они указаны самой природой на благо всего человечества.

"Единственный закон, которому подчиняется самодержавный народ, это его верховная воля. Но так как направление этой воли обуславливается исключительно стремлением народа к своему благу, а благом для него может быть лишь то, что справедливо, - то его права необходимо ограничены обязанностями, налагаемыми на народ его же собственной справедливостью. Этими принципами я намерен руководиться при рассмотрении вопроса, подлежит ли суду Людовик XVI. Я прекрасно знаю, что короли, по смыслу своего избрания, являлись лишь делегатами народа, обязанными наблюдать за исполнением общей воли и охранять общественное спокойствие всеми средствами, какие находились в их распоряжении; я знаю, что король, провинившийся в измене или в другом преступлении, некогда действительно нес ответственность. Это вполне понятно, ибо в первобытных союзах люди искали только взаимных выгод, а общие интересы, бесспорно, требовали наказания изменников и злонамеренных лиц. Но прав", судить королей - право неотъемлемое, ибо оно находится в тесной связи с народным суверенитетом - однако, на практике, подвержено некоторым изменениям. Так, например, нация может постановить известной статьей своего общественного договора, что, несмотря на ее безусловное право выносить приговор при наличии преступления и виновного, обвиняемый будет подвергаться суду и наказанию: только на основании положительного закона, изданного до совершения им преступного действия. Так; соседи наши, англичане, с давних пор оправдывают свои преступников во всех случаях, не предусмотренных положительным законом. Так и у нас, со времени введения суда присяжных, был бы оправдан величайший преступник, если бы в уголовном кодексе не нашлось соответствующего закона

"Скажу больше, и это вытекает из моих принципов: данная нация, из суеверия, из невежества, из побуждений так или иначе понятого интереса, может объявить известное должностное лицо неприкосновенным и неподлежащим суду при исполнении своих служебных обязанностей; она может постановить, что в случае преступных действий с его стороны, единственным наказанием для этого лица будет отрешение от должности. Однако, здесь нужно прибавить, что подобное решение может связать народ лишь постольку, поскольку он выражает желание исполнять его.

"Согласно нашим установлениям, для возбуждения процесса против Людовика XVI необходимо существование положительного закона, который мог бы быть к нему применен; но такого закона у нас не имеется.

"Уголовный кодекс, отменив все предшествующие ему уголовные законы, установил смертную казнь для лиц, виновных в государственной измене. Людовик XVI, несомненно, виновен в государственной измене; он не раз явно нарушал присягу; он хотел поработить нас под ярмо деспотизма; он поднял против нас часть Европы; он предал наши крепости и имущество наших братьев; он умертвил наших благородных защитников; он всюду старался посеять анархию и беспорядок; он осыпал французским золотом наших врагов, составивших коалиции и поднявших оружие против нас; он был причиною гибели тысяч граждан, все преступление которых заключалось в любви к отечеству и свободе. Кровь этих несчастных жертв еще дымится вокруг этой ограды; она вопиет о мщении ко всем французам. Но здесь мы благоговейно преклоняемся перед законом: как бесстрастные судьи, мы хладнокровно ищем ответа в уголовном кодексе. И что же! Этот кодекс не содержит никаких данных, которые можно было бы обратить против Людовика XVI; ибо в эпоху его преступлений существовал положительный закон, представлявший оговорку в его пользу, мы находим этот закон в конституции.

"Особа короля священна и неприкосновенна. Неприкосновенность, говорят нам, была введена не для блага королей, а в интересах народа. Действительно мотивом этого института были общенародные интересы; но он оказался выгодным и для королей. Король, говорят нам далее, являлся неприкосновенным только в силу конституции; вместе с конституцией исчезла и его неприкосновенность. Но это ошибка: конституция сохранилась во всем, что не было уничтожено последующими законами или положительными фактами, каковы отмена королевской власти и учреждение республики.

"Как! - скажут мне, - Людовик XVI беспрестанно нарушая конституцию, он всячески старался уничтожить ее, а вместе с ней, и свободу, и, несмотря на все это, вы хотите прикрывать его этой самой конституцией! Да, граждане, я хочу этого. Конституция была законом моей родины и без позволения короля; она была законом потому, что самодержавный народ дал ей свою санкцию и поклялся соблюдать ее до тех пор, пока ему не угодно будет установить другие законы,, более соответствующие свободе и равенству.

"Наконец, конституция, возмущая меня, лишила неприкосновенность только те поступки, которые относились к административной деятельности короля, и ответственность за которые падала на министров. Король был, если можно так выразиться, только главой своего совета; все делалось от его имени, но он не отвечал ни за какие действия, так как ответственными, каждый в своей области, являлись его подчиненные, министры. Но ведь он мог совершить преступления, не имеющие отношения к его званию первого чиновника в государстве; он мог, как и всякий другой гражданин, вступить в союз с врагами отечества, оказывать им помощь, передавать им французское золото; он мог стать во главе неприятельской армии и направить ее

против нации; он мог, во главе такой армии, производить избиения граждан. Но в этом случае, скажу я в ответ, державный народ определил для него наказание. Наказание это - низложение, которое он, по-видимому, считал более страшным для деспота, чем все остальные кары нашего уголовного кодекса.

“Мне говорят: мы не можем не судить Людовика XVI-это наша миссия. Вы ошибаетесь: ваша миссия вовсе не предписывает вам судить Людовика XVI.

“Людовик XVI едва не раздавил нас под тяжестью своих измен; свобода, быть может, ускользнула бы из наших рук, если бы трон бывшего короля просуществовал минутой дольше; мы обязаны были спасти ее. Но мы не обладали необходимыми полномочиями<sup>8</sup>; а между тем, признавая своим верховным законом благо народа, мы должны были остановиться не раньше, чем будут приняты вес меры для ограждения свободы и общественной безопасности. Итак, нам оставалось одно: обратиться к народу и предложить ему созыв Национального Конвента. Это и было сделано. Конституировался Конвент; его задачей было декретировать низложение короля, выработать новую конституцию, установить законы, наконец, держать как можно лучше бразды правления в течение своей сессии. Таким образом, Национальный Конвент должен был прежде всего объявить низложение Людовика XVI; но справедливо полагая, что свобода и общественное благополучие несовместимы с монархией, он отменил королевскую власть вообще. Это означало и низложение Людовика XVI. С тех пор у нас нет королей; и - я твердо уверен - больше никогда не будут они осквернять почву французской республики.

“Но является вопрос: входил ли в задачу Национального Конвента суд над Людовиком XVI? Я утверждаю, что нет, ибо суд в общественном порядке есть не что иное, как применение известного положительного закона; в данном же случае не существует положительного закона, а следовательно, и наказания, которое было бы применимо к Людовику XVI. Я свято чту незыблемые законы природы, они лежат в основе всех наших прав. Но так как в обществе естественные права получают реализацию только при известных взаимоотношениях, то, во избежание их столкновений, пришлось очертить границы, в пределах которых каждая личность пользуется своими правами в наивысшей мере; и эти-то границы устанавливаются только положительным законом.

“Если бы какой-нибудь свирепый король, - сказал здесь одни из ораторов, - убил мою жену или сына, то я имел бы, конечно, право убить его в свою очередь.

“Да... в момент преступления, потому что вы находились бы тогда под влиянием аффекта, слишком сильного, чтобы устоять против него. Но если бы убийца; вашей жены, вашего сына был арестован блюстителями правосудия; если бы он находился под стражей закона; если бы прошло уже несколько дней с момент; первого отчаяния, то неужели вы считали бы себя вправе стать убийцей в свои очередь? Нет! если бы вы это сделали, вы сами совершили бы преступление.

“То же относится и к Людовику XVI. Если бы 10 августа я увидел его с кинжалом в руках, покрытого кровью моих братьев; если бы я положительно убедился в тот день, что приказ об избиении граждан был отдан им, то я бы сам поразил его на смерть. Право на это дает мне мое сердце, мои принципы, сама природа никто не осмелился бы оспаривать у меня этого права.

“Но прошло уже несколько месяцев со времени этих ужасных сцен, со времени последних актов его измены и вероломства. Теперь он всецело в нашей власти он безоружен, лишен средств защиты, а мы - французы; этого достаточно для нас, чтобы заглушить в душе жажду справедливой мести и повиноваться лишь голос разума. И что же! Разум естественно ведет нас под сень закона. Я уже сказал и повторяю еще раз: закон нем по отношению к преступнику, несмотря на век чудовищность его преступлений.

“Людовик XVI может пасть только под мечом закона; закон безмолвствует - а, следовательно, мы не имеем права его судить”.

Против Мориссона выступил Сен-Жюст со следующей речью:

- Я намерен доказать, что король подлжит суду; что мнение Мориссона который отстаивает неприкосновенность, и мнение Комитета Законодательства который предлагает судить короля, как гражданина, одинаково неправильны; что его должно судить на основании принципов, не имеющих ничего общего ни с тем, ни с другим взглядом.

“Единственной целью Комитета Законодательства было убедить вас, что король должен быть предан суду, как простой гражданин. Я же говорю вам, что короля надо судить как врага; что нам предстоит не столько судить его, сколько поразить его; что, так как он исключен из договора, связывающего французов, судебных формальностей здесь надо искать не в гражданских законах, а в международном праве.

“Некоторые из вас, не умея разобраться, увлекаются беспринципными формальностями, которые могут привести к безнаказанности короля, сделать его надолго центром внимания или наложить на его процесс печать чрезмерной суровости. Я должен заметить, что ложные меры предосторожности, всякие промедления, обдумывания и т. под. часто являются поистине мерами неосторожности: Если не говорить об откладывании законодательной деятельности, то самым губительным из всех видов медлительности будет тот, который побудил бы нас мешкать с королем. Когда-нибудь люди, столь же далекие от наших предрассудков, как мы - от предрассудков вандалов, изумятся варварству того века, когда суд над тираном был каким-то священнодействием, когда народ, прежде, чем судить тирана за его преступления, возвел его в сан гражданина. Они изумятся тому, что в XVIII веке проявлялось больше отсталости, чем во времена Цезаря. Тогда тиран был умерщвлен в полном присутствии сената, без всяких других формальностей, кроме 22 ударов кинжала; без всякого другого закона, кроме свободы Рима. А теперь мы почтительно приступаем к процессу убийцы народа, пойманного на месте преступления, с обгаженными кровью руками. Кто придает особую важность справедливому наказанию короля, тот никогда не будет основателем республики. Утонченность умов и мягкость характеров являются для нас великим препятствием к свободе. Мы разукрашиваем все свои ошибки и часто в самой истине видим только приманку для своего прихотливого вкуса.

“Так каждый из нас рассматривает процесс короля через призму своих личных видов: одни, по-видимому, трепещут наказания за свое мужество; другие еще не окончательно отказались от монархии и боятся примера гражданской доблести, который скрепил бы дух общественности и единства республики. Все мы судим друг друга строго, скажу даже, с яростью. И в то же время, точно желая подорвать энергию народа и стремление к свободе, мы едва касаемся в своих нападках общего врага; зараженные слабостью или преступлением, мы озираемся друг на друга, прежде чем нанести первый удар. Мы ищем свободы, а сами впадаем в рабство друг у друга; мы стремимся к природе и живем вооруженные, как свирепые дикари; мы хотим республики, независимости и единства, а между тем разъединяемся и щадим тирана!

“Граждане, если римский народ, после шести веков добродетели и ненависти к царям, если Великобритания, после смерти Кромвеля, увидели возрождение монархии, несмотря на огромную трату энергии, то чего не должны страшиться у нас добрые граждане, друзья свободы, видя, как секира дрожит в наших руках, и как народ, в первый же день свободы, чтит воспоминание о своих цепях! Какую республику хотите вы учредить среди нашей личной борьбы и общих слабостей! Здесь ищут закона, который позволил бы наказать короля; но даже при монархическом режиме, если он и был неприкосновенным, то лишь для каждого гражданина в отдельности, ибо между народом и королем уже не существует естественной связи. Иногда нация, заключая общественный договор, может дать своим должностным лицам привилегию неприкосновенности, заставляющую уважать права всех и обязывающую к повиновению каждого. Но эта неприкосновенность должна служить интересам народа; а поэтому никто не имеет права обращать против него ту привилегию, которую он может давать и отнимать по своему желанию. Таким образом, неприкосновенность Людовика кончается там, где начинаются его преступления и народное восстание. Если бы его считали неприкосновенным и после того, если б даже это являлось спорным вопросом, то пришлось бы заключить, что он не мог быть низложен и что он вправе угнетать нас за ответственностью всего народа.

“Общественный договор есть контракт граждан между собою, а не контракт граждан с правительством. Не взяв на себя обязательства, нельзя вступить в договор; следовательно, Людовик, который не взял на себя никакого обязательства, не подлежит гражданскому суду. Мнимый договор был настолько деспотическим, что обязывал только граждан, а не короля; подобный договор, конечно, не имеет силы, ибо законно только то, что находит санкцию в морали и природе.

“Но даже оставляя в стороне все эти мотивы, побуждающие вас судить Людовика не как гражданина, а как бунтовщика, - какое право имеет он требовать гражданского суда на основании нашего обязательства, в то время как сам он явно нарушил единственное взятое им на себя обязательство - охранять нашу жизнь? Это была бы поистине претензия тирана - требовать, чтобы его судили на основании тех законов, которые поправлены им же самим! К чему вам вести следствие и возбуждать процесс о гибельных планах короля, когда его преступления всюду записаны кровью народа, когда потоки крови ваших защитников, пролитой по его приказанию, докатились до ваших ног? Разве не делал он смотра войскам перед решительной битвой? Разве не бежал он, вместо того, чтобы помешать им стрелять в народ? И вам предлагают судить его как гражданина, тогда как вы сами признаете, что он не был гражданином!

“Судить короля как гражданина! Эта мысль изумит бесстрастное потомство. Судить - значит применять закон. Закон есть юридическое отношение. Какое же юридическое отношение возможно между человечеством и королями? Что общего между Людовиком и французским народом, чтобы щадить его после измены? Встанет когда-нибудь сильный духом и скажет, что короля надо судить не за особые проступки по управлению, а за то уже преступление, что он был королем! Ибо ничто в мире не может оправдать этой, узурпации; и какими иллюзиями, какими условностями ни окружала бы себя королевская власть, она является вечным преступлением, против которого имеет право восстать и бороться каждый гражданин; она представляет одно из таких посягательств, которые не могут быть оправданы даже ослеплением целого народа. Такой народ подает пример нарушения законов природы, возложившей на людей тайную миссию повсюду искоренять господство. Царствовать без вины нельзя: безумие такого захвата власти слишком очевидно. Всякий король-мятежник и узурпатор. Разве сами короли иначе относились к так называемым узурпаторам их власти? Разве не судили память Кромвеля, а между тем Кромвель был узурпатором не больше Карла I; ибо если народ столь низко пал, чтобы позволить тиранам господствовать над собою, то корона принадлежит первому встречному и не может считаться более законной и священной на голове одного, нежели на голове другого.

“Нам говорят, что король подлежит суду трибунала, как и всякий гражданин, но трибуналы введены только для членов гражданского общества. Какое право имел бы трибунал вернуть стране господина, оправдав его? Как мог бы он ссылаться на общую волю? Граждане, трибунал, который должен судить Людовика XVI - не судебное учреждение, это - политический совет; законы, которым мы должны руководиться, - это законы международного права. Судить его должны вы. Людовик-чужой среди нас; он не был гражданином до своих преступлений, он не пользовался избирательным правом, не отбывал воинскую повинность тем менее его можно назвать гражданином после всех его преступлений. Какое вопиющее нарушение правосудия - возвести короля в звание гражданина только для того, чтобы осудить его! Обыкновенно человек, совершив преступление, выходит из гражданского общества; а Людовик войдет в него именно благодаря своим преступлениям! Не упускайте из виду, что в каком духе вы осудите короля в таком же и устройте свою республику. Теория вашего суда будет теорией вашего правления; мера вашей философии в этом процессе будет и мерой свободы в вашей конституции.

“Повторяю еще раз, короля нельзя судить по законам страны, или, вернее по гражданским законам. Законы Рима не давали никаких оснований для суда над Тарквинием, законы Англии - для суда над Карлом I. Их судили на основании международного права, с ними поступали как с чужестранцами, как с врагами - вот что оправдывало эти расправы, а вовсе не пустые формальности, в принципе которых лежит соглашение граждан, выраженное в общественном договоре.

“Приговор над бывшим королем нет надобности предлагать на утверждение народа. Народ может, конечно, устанавливать законы по своей воле, ибо они важны для его счастья. Но стереть преступления тирании не в силах даже народ: право восстания против тирании есть право личное - весь державный народ не мог бы принудить и одного гражданина простить тирану. Если допустить, что вы великодушно оправдаете его, тогда, действительно, ваш приговор должен быть подвергнут ратификации народа; ибо если даже акт верховной власти и может заставить хотя бы одного гражданина простить тирану, то тем более ваш приговор не может быть обязателен для всего державного народа.

“Но поспешите судить короля; ибо нет гражданина, который не имел бы на него такого же права, какое Брут имел на Цезаря. Подобный поступок по отношению к этому чужестранцу был бы не более достоин наказания, чем убийств Леопольда или Густава. Людовик - второй Катилина. Его убийца, подобно римскому консулу, считал бы себя спасителем отечества. Вы видели его коварные замыслы, вы видели его армию; этот предатель был королем не французов, а кучки заговорщиков. Он втайне производил набор рекрут, он имел своих особых агентов, он смотрел на граждан как на рабов, он был гонителем всего честного и мужественного; он - убийца в Нанси, на Марсовом поле, в Куртре, в Тюльери. Како внешний враг сделал нам больше зла? Его необходимо судить поскорее; этого требует благоразумие и здравая политика. В нас стараются возбудить сострадание, скоро здесь будут покупать слезы, как на погребальных шествиях в Риме, будет сделано все, чтобы повлиять на нас, вплоть до подкупа. Народ! Если король будет оправдан, помни, что мы недостойны более твоего доверия; ты можешь обвинять нас тогда в измене!..”

Речь Сен-Жюста произвела сильное впечатление на Собрание. Опираясь на провозглашенный Руссо принцип общественного договора, молодой оратор нанес мощный удар авторитету писанных законов. Правая, в лице Фоше, снова сделала попытку спасти этот авторитет. Однако, после смелой аргументации Сен-Жюста, ее доводы не могли казаться особенно убедительными. Фоше призывал Конвент отбросить пустые софизмы, которыми хотят его отуманить, и стать на точку зрения законности; а единственная кара, предписываемая законами по отношению к Людовику XVI, есть низложение. Боясь навлечь на себя и свою партию подозрение в роялизме, Фоше старался доказать, что для деспота низложение хуже смерти. Он красноречиво описывал унижение и позор низложенного короля, обреченного влачить жалкое существование среди свободного народа, как живой урок тиранам. Казнь же Людовика, говорил Фоше, совершенно нецелесообразна: она окружила бы короля ореолом мученичества и собрала бы новых многочисленных приверженцев вокруг молодого дофина. - Такие же взгляды развивал и Розе, доказывавший, что нарушение королевской неприкосновенности не только незаконно и несправедливо, но и не соответствует интересам нации. Но, несмотря на усилия правой Конвента, догмат неприкосновенности все более обнаруживал свою несостоятельность перед резкой критикой монтаньяров. На заседании 15 ноября против него выступил один из виднейших представителей Горы - Грегуар:

- Потомство, вероятно, удивится, что можно было сомневаться в том, вправе ли целая нация судить своего первого слугу. Однако, уже 16 месяцев тому назад я доказывал на этой трибуне, что Людовик XVI подлежит суду<sup>9</sup>; я имел честь принадлежать к той малочисленной группе патриотов, которая безуспешно боролась против шайки разбойников Учредительного Собрания; наградой за мое мужество были свистки. Граждане, выступая теперь на защиту того же дела, я обращаюсь к справедливым людям в надежде, что они выслушают меня снисходительно, с разумным спокойствием.

“Докладчик Комитета Законодательства, желая подкрепить фактами свои рассуждения, привел вам несколько примеров низложенных королей; история могла бы указать ему гораздо больше таких примеров. Конрад, король римский, император Генрих IV, император Адольф, король Венцеслав, Христиан II датский и многие другие также видели крушение своих тронов по мановению наций. Но большинство этих фактов ничего не доказывают в данном случае; народы, низвергшие этих тиранов, не имели общественных договоров, которые были бы аналогичны нашему. Чтобы внести в мое рассуждение известную систему, я докажу прежде всего, что всякий конституционный король французов - оставляя в стороне Людовика XVI - подлежит суду за действия, не относящиеся к функциям королевской власти; во-вторых, что если даже допустить неподсудность короля какой бы то ни было установленной власти, эта прерогатива исчезает перед властью нации. Развив эти принципы, я применю их к интересующей нас личности.

“Вопрос о неприкосновенности был предметом бурных прений в последние заседания Учредительного Собрания. Защитниками ее были те презренные существа, которые, оскверняя священное звание законодателей, променяли его на звание придворных лакеев, поставивших себе целью набить карманы на счет гражданского листа и разыграть роль мажордомов под хранительной сенью неприкосновенности. Тщетно возражали им, что король может быть неприкосновенным лишь в том случае, если он непогрешим и безупречен; их политическая ересь была догмой для народа, всегда склонного к поклонению королевской власти. Да и к тому же разве они не имели в своем распоряжении штыков и закона о военном положении? Они утверждали, что неприкосновенность - фикция, удачно придуманная для укрепления свободы. Итак, счастье народа должно было покоиться на фикции вместо незыблемых законов природы! Послушать их, эта фикция была необходимой гарантией, обеспечивающей независимость исполнительной власти; они не понимали, что такой взгляд неизбежно ведет к признанию неприкосновенности и за агентами судебной власти.

“Личность короля, говорили они, неприкосновенна; следовательно, неприкосновенность должна распространяться и на все его поступки. Ответ был нетруден: законодатели также неприкосновенны, но это относится только к их мнениям. Равным образом неприкосновенны и посланники, но только при исполнении своих служебных обязанностей. Однако, их личность тоже неделима. Стало быть, одно из двух: либо и их неприкосновенность должна распространяться на все, либо король, подобно другим народным уполномоченным, теряет свою неприкосновенность в сфере частной деятельности.

“Эфоры не были ответственны за свою общественную деятельность; но этим и ограничивалась их неприкосновенность. Что касается английской конституции, то и здесь свидетельства публицистов, законы и обычаи - все опровергает утверждения наших противников. Неприкосновенность короля и ответственность министров - вещи соотносительные. Поэтому во всех случаях, когда, во избежание злоупотреблений властью, существует ответственность министров, имеется неприкосновенность; когда же отсутствует первая, то исчезает и вторая. Итак, одно из двух: либо пусть королевская неприкосновенность ограничивается областью администрации, либо пусть министры несут ответственность даже за личные поступки короля, ибо закон всегда должен быть в силе, а повсюду, где есть преступление, должно быть и наказание.

“Вероломство, измена, убийство - это действительно королевские деяния, если судить по фактам и свирепым привычкам класса людей, именуемого королями; но с точки зрения права эти преступления входят в категорию частных проступков. Если король захочет меня зарезать, то неужели, по-вашему, право сопротивления здесь уничтожается, и меч закона прячется в ножны? Когда приводилось это возражение и многие другие, весьма убедительные, то поборники абсолютной неприкосновенности были вынуждены допустить исключение; тогда только, противореча самим себе, они сознавались, что эта прерогатива относится лишь к административным преступлениям, но не к частным.

“Абсолютная неприкосновенность - это нечто чудовищное; оно толкало б короля на всевозможные злодеяния, обеспечивая ему безнаказанность. Объявить человека неприкосновенным и вместе с тем обязать его к исполнению всех законов, которые он свободно может нарушать, это насмешка не только над природой, но и над конституцией. В главе о королевской власти текст ее гласит, что во Франции нет власти выше закона. Допустить абсолютную неприкосновенность - значит объявить в законодательном порядке, что вероломство, зверство, жестокой ограждены неприкосновенностью; вот почему можно сказать, что, допуская фикцию, защитники ее возводили ужасающую безнравственность в элементарный принцип общественного блага.

“Переходя ко второму положению, я утверждаю, что неприкосновенность, хотя бы и абсолютная, предполагает одно исключение: она исчезает перед национальной волей. В противном случае придется проглотить следующие нелепость: король - все, державная власть отчуждаема, нация, возвышая кого-нибудь над собой, делает его более могущественным, чем она сама; другими словами, придется признать, что следствие может быть несоразмерно с причиной.

“Неприкосновенность короля, как институт политический, могла быть установлена только в видах общественного блага. Она нужна, говорят нам, для разрушения замыслов тех, кто захочет стремиться к высшей власти; неприкосновенность-могила честолюбия. Но ведь если эта прерогатива распространится на все поступки личности, именуемой королем, то она станет могилой нации, ибо превратится в одно из средств для освящения рабства и несчастий народов! А вы утверждаете, что для общего блага король должен иметь право безнаказанно совершать всевозможные преступления! Слыхано ли что-либо более возмутительное? И это говорится в конце XVIII века! Да наконец, хотя вы уверяете, что конституция придает понятию неприкосновенности такой нелепо-широкий смысл, ваша же Декларация прав говорит, что всякое социальное различие основано на общей пользе; следовательно, вы впадаете в противоречие с собою; а если так, то я не колеблюсь в выборе между вашими безнравственными законами и вечными принципами разума!

“Из всего сказанного ясно, во-первых, что неприкосновенность распространяется только на административную деятельность короля, но никак не на частную; во-вторых, что если даже придавать этой прерогативе абсолютное значение, то и тогда она исчезает в данном случае.

“Изложив принципы, я перехожу к их приложению. Королевская власть всегда внушала мне отвращение; но Людовик XVI уже лишен ее. Я отбрасываю всякое враждебное чувство, чтобы судить его беспристрастно. Впрочем, он настолько заслужил презрение, что не остается места для ненависти. Я говорю, что Людовик XVI никогда не был конституционным королем, но не потому, как выразился один из предыдущих ораторов, что у нас не было конституции. Нет, конституция была, правда, очень плохая, но все-таки была. Народ утвердил ее своим молчанием и даже гражданскими празднествами; ибо таково было заблуждение или невежество масс, что они видели особое счастье, монаршую милость в том, что король соблаговолил принять 30 миллионов годового содержания и огромные преимущества, связанные с положением первого должностного лица в государстве.

“Когда Людовик XVI, покинув свой пост, бежал в Варенн, он оставил нам декларацию, в которой осуждал нашу форму правления и объявлял невозможным соблюдение конституции, что, впрочем, не помешало ему впоследствии признать ее. Эта декларация, проставляющая собою настоящее отречение от трона, проливает свет на все его поведение. Помните, как он возвел в систему контр-революционные интриги, как он всегда становился во главе заговоров. По точному смыслу конституции, нарушив присягу, он считается лишенным трона, а кто бесстыднее его играл присягой? Здесь, в этой зале, я говорил законодателям: Он поклянется во всем и не исполнит ничего. Сбылось ли когда-нибудь предсказание лучше моего! Этот достойный потомок Людовика XI являлся без всякого приглашения в собрание и заявлял, что люди, распространяющие сомнения в его лояльности, самые опасные враги государства; а затем он возвращался в свой вертеп, чтобы там, в этом гнездилище преступлений, замышлять и обдумывать



всевозможные измены, вместе с Иезавелью и своим двором. Благодаря Людовику XVI и эмигрантам мир узнает лучше, чем когда-либо, что такое слово короля и честь дворянина! Кто скажет, что он препятствовал действиям неприятельской армии, если множество формальных актов подтверждает совершенно противоположное? если, вопреки декретам Национального Собрания, он содержал в Кобленце лейб-гвардию и субсидировал эмигрантов? если, оставляя наши границы без укрепления, без защиты, он втайне подготавливал войну с иностранными державами и призывал против французской революции целую свору королей? Он подлежал уже низложению как клятвопреступник, как контр-революционер, и с этой точки зрения не судить его - значило бы пойти против буквы и духа конституции, а за все свои действия после отречения он должен дать ответ перед законом. Он не может здесь прикрываться щитом неприкосновенности.

“Граждане, вспомните о мучениках свободы, павших в течение трех последних лет! Найдется ли хоть один родственник, хоть один друг наших братьев, убитых на границах или в день 10 августа, который не имел бы права кинуть труп к ногам Людовика XVI и сказать ему: “Вот твое дело!”. И этот человек будто бы не подлежит суду народа! Я порицаю смертную казнь и надеюсь, что этот остаток варварства исчезнет из наших законов. Для общества достаточно поставить виновного в невозможность вредить; обыкновенного преступника вы, конечно, осудили бы на существование, дабы отвращение к своим злодеяниям беспрестанно удручало и преследовало его в безмолвии одиночества. Но разве раскаяние создано для королей? История, которая занесет на свои скрижали преступления Людовика XVI, охарактеризует его одной чертой. В Тюльери были перерезаны тысячи людей, гром пушек возвещал ужасную резню, а здесь, в этой зале, он ел!..

“Измены его привели, наконец, к нашему освобождению; и, благодаря небю за то, что случилось нам Людовика XVI, мы, быть может, должны из любви к угнетенным народам, пожелать им своих Людовиков XVI. Но толчок сообщен всей Европе; чаша терпения народов переполнилась; все они устремляются к свободе. Скоро произойдет вулканическое извержение, которое возродит политическую землю, ибо, то же разделение, которое философия, моды на королей начинает казаться устарелой; а так как все моды исходят из Франции, то берегитесь, помешать спасительному распространению этой последней. Что если бы в тот момент, когда народы готовятся разбить свои цепи, вы провозгласили безнаказанность Людовика XVI? Европа усомнилась бы в вашей неустранимости, а деспоты сумели бы воспользоваться случаем для подкрепления того негнетного предрассудка, по которому они обязаны своей короной Божеству и своей шпаге.

“Я прихожу к заключению, что Людовик XVI должен быть предан суду”.

На следующих заседаниях были прочитаны многочисленные Адреса из департаментов, с требованием головы Людовика XVI. “У наших законодателей - говорил адрес жителей Краона - не хватило силы или мужества, чтобы поразить чудовище, которое хотело нас пожрать. Они отрубили несколько голов; но головы возрождаются и будут всегда возрождаться, пока вы не поспешите отрубить вовсе одним ударом”. - Адрес из Пюлливера напоминал о гражданах, павших в борьбе за свободу: “Тени наших братьев, павших жертвами вероломства этого низкого убийцы и его сообщников, вопиют о мщении, мы его требуем. Пусть предатель падет под мечом закона!” - “Великий преступник остается безнаказанным - грозно восклицали реннские республиканцы, - этот преступник был королем и убийцей своего народа; его жизнь теперь лишь источник надежды для изменников и пища для новых злодеяний!”

Эти адреса отражали страшное брожение в народе. Безработица, застой в торговле и промышленности, падение курса бумажных денег или ассигнатов, спекуляции барышников и скупщиков, которые пользовались общей нуждой для своего обогащения, - все это до крайности обострило кризис в Париже и департаментах. Продовольствие стало одним из самых жгучих вопросов дня. Во многих провинциях происходили на этой почве сильные волнения. Причину своих бедствий народ видел в Конвенте; на него со всех сторон сыпались обвинения в бездействии, в медлительности по отношению к королю, которая не дает ему возможности заняться насущными нуждами народа и поддерживает надежды врагов Франции. Комиссары, посланные Конвентом на места волнений, едва не сделались жертвой народного озлобления. На заседании 30 ноября они изобразили настроение департаментов. Поднялся Дантон и указал на связь между брожением в народе и процессом короля. “Суд над бывшим королем ожидается с нетерпением. С одной стороны республиканцы возмущены тем, что этот процесс кажется нескончаемым, с другой стороны роялисты волнуются во всех направлениях, и так как они сохранили еще денежные средства и свою обычную надменность, то вы увидите, может быть, к великому позору для свободы и к великому несчастью для всей Франции, столкновение этих двух партий... Нам необходимо поспешить с судом над Людовиком XVI”. Это требование было поддержано Робеспьером. Он доказывал, что прежде, чем заняться вопросом о продовольствии, необходимо решить участь короля. “Я требую, - сказал Робеспьер, - чтобы последний тиран французов, глава и связующая нить всех заговоров, был присужден к наказанию за свои злодеяния. Пока Конвент будет откладывать решение этого важного процесса, до тех пор он будет поддерживать заговоры и питать надежды роялистов. Вы перейдете к вопросу о съестных припасах лишь по окончании процесса”. После этого, по предложению Лежандра, процесс Людовика XVI был объявлен бессменным предметом занятий Конвента.

Неожиданное открытие, сделанное в это время, ускорило развязку. За несколько дней до 10 августа король приказал вделать в стену одного из коридоров Тюльери потайной шкаф для хранения секретных бумаг. Он поручил эту работу одному слесарю, по имени Гамену, и часто помогал ему собственноручно. Существование “железного шкафа”, может быть, надолго осталось бы тайной, если бы Гамена не постигла внезапная болезнь. Справедливо или нет, он приписал свою болезнь отраве, поданной ему королем. Это обстоятельство побудило Гамена выдать тайну. Выздоровев, он отправился к министру внутренних дел Ролану и донес ему о железном шкафу. Ролан был настолько бестактен или, вернее, настолько предусмотрителен, что, не сообщив ни о чем Конвенту, один, без свидетелей, “скрыл шкаф и взял к себе

документы для предварительного просмотра: он, по-видимому, хотел уничтожить улики против своих друзей, жирондистов. Этот его поступок, в связи с указаниями документов на сношения с двором "самых выдающихся членов Законодательного Собрания", сильно скомпрометировал жирондистов. Но и те документы, которые Ролан передал Конвенту, содержали достаточно материала, чтобы уничтожить последние колебания народных представителей насчет королевской неприкосновенности. Они доказывали измену Мирабо и Лафайета, обнаруживали сношения Людовика XVI с его братьями, интриговавшими за-границей против революционной Франции, показывали двуличность его в жгучем вопросе о гражданском устройстве духовенства, раскрывали многочисленные подкупы и тайную организацию бегства короля. Мы приведем в приложении наиболее важные из этих документов.

Открытие железного шкафа вызвало страшную ярость во всей Франции. Особенно сильно было его действие в Париже. 2 декабря парижская Коммуна, которая с 10 августа являлась выразительницей настроения революционных слоев народа, отправила в Конвент депутацию. Оратор депутации выступил со следующей речью:

- "Народные представители, одна из секций самодержавного народа, та грозная секция, которая не страшится силы штыков, которая сделала революцию и возобновила ее под своей собственной ответственностью, эта секция посылает нас к вам и обращается к вам нашими устами.

"Когда, благодаря нашей неустранимости, было разбито конституционное иго, низвергнут чудовищный колосс исполнительной власти и освобождена от рабства верховная воля, - мы остановились и сказали: "Да будет торжественна месть свободного народа, и да послужит эта груда развалин фундаментом общественного благополучия!" Тотчас же собрался весь народ и облек вас своим суверенитетом; вы свободно приняли огромную задачу, возложенную на вас его волей.

- "Граждане, - сказал он вам - создайте благоденствие нации, укрепите свободу и равенство на незыблемых основах. Чудовище, которое хотело их уничтожить, теперь в цепях; оно скоро будет предано вашему суду. Я вручаю вам мой карающий меч; помните о моих страданиях; не упускайте из виду моих нужд; мое спасение, мое счастье - вот единственный закон, которым вы должны руководиться; накажите моих убийц, ибо не существует другой неприкосновенности, кроме моей".

"Свершители национальной мести, что же медлит рука ваша, которую вы поднимали, произнося клятву мщения? Эта рука ждала лишь меча, почему же теперь, вооруженная мечом, она все еще бездействует? Или она парализована? Или, несмотря на нашу неутомимую бдительность, среди вас циркулирует еще гнусная чаша Цирцеи? Нет, французы еще не так низко пали в своем собственном мнении, чтобы поверить этому.

"Что же задерживает ваши удары: мнение ли нации, мнение ли других народов или один лишь панический страх?

"Чем пугает вас отношение нации? Оно уж выяснилось, оно определилось. Устарелые и преступные приличия, презрение или неодобрение бывших дворян, бывших привилегированных, ненависть злобных врагов, малодушие глупцов, - неужели все это может заглушить голос патриотизма и справедливости?

"Отношение к нам за границей..., но что такое это отношение перед нашими интересами? И кто за границей будет порицать наше правосудие? Лишь народы, распростертые ниц перед своими тиранами, народы, для которых разум всегда был запретным плодом, а истина - оскорблением Величества тирании, народы, никогда не слышавшие проповедь евангелия свободы.

"Не поддавайтесь же пустому страху теперь, когда аллоброги<sup>10</sup> и бельгийцы<sup>11</sup>, когда соседние народы, стонавшие прежде под железным скипетром призывают французов как своих освободителей, братски открывая им свои двери. Чего вам бояться теперь, когда наши армии победоносно шествуют от триумфа к триумфу? Разве гнилая лига тиранов, поднявших оружие против французской свободы, уже не покрыла себя позором? Разве не бежит она перед бесстрашием наших благородных защитников? Все эти деспоты, дрожащие на своих тронах, страшатся для себя участи Людовика-Клятвопреступника. Неужели они теперь могущественнее и грознее, чем тогда, когда исполнительная власть оплачивала их преступные усилия, открывала им ворота наших городов, попирала ногами муниципальный шарф и строила козни против Борепэров<sup>12</sup>?

"О, граждане! Неужели оцепенение сковало ваше рвение, усыпило ваш рассудок? Или преступления Людовика-Клятвопреступника еще не достаточно очевидны? Или ваша ненависть устала и мнит, что она свершила все возможное, изрыгая проклятие против гражданиубийцы-Людовика? Слышите вопли и жалобы его безрассудных сообщников? Вы послали их на эшафот, но они были лишь орудиями заговора. Они ждут там своего вождя. Перенеситесь воображением в наши равнины, утопающие в крови; посмотрите на эти трупы, застывшие с угрозой в неподвижных чертах, они точно упрекают вас в медлительности. Внемлите этим разгневанным теням! Вы должны дать им удовлетворение: они требуют крови коронованного убийцы. вспомните, какое обещание давали вы им, когда, отправляясь в поход для вашей защиты, они клялись победить или умереть!..

"Что же вы медлите? Зачем даете вы время крамоле возродиться из пепла? Спорить о том, подлежит ли суду бывший король французов - это политическое святотатство; это значит вызывать долгие прения, это значит расслаблять волю и подвергать опасности славу нации в течение всех этих дебатов. Разве смерть, не может вырвать жертву из ваших рук? Тогда к чему послужат нам все ваши клятвы? Невежество и клевета безнаказанно распространят слух, что французы не посмели судить своего короля, что они предпочли низко отравить его во мраке темницы. Граждане, устраните самую возможность подобного оскорбления. Мешкать теперь - значит добровольно увеличивать продолжительность наших бедствий. Народ, при всей своей терпеливости, может наскучить ожиданием; дерзайте же закончить историю самого возмутительного заговора! Клянемся, мы готовы утвердить ваш приговор!.."

Конвент постановил напечатать петицию коммуны и разослать ее по всем департаментам. Голос народа, устами оратора депутации, возвещал ему, что время предварительных прений уже прошло, что пора безотлагательно приступить к процессу. На следующий день, 3 декабря, Барбару потребовал, чтобы Людовик XVI был предан суду. Робеспьер, до сих пор почти не высказывавший своего мнения, теперь взошел на трибуну.

- Собрание бессознательно уклонилось в сторону от настоящего вопроса. Здесь незачем возбуждать процесса. Людовик - не обвиняемый, вы - не судьи; вы - государственные деятели, представители нации, и не можете быть ничем иным. Вам предстоит не произнести приговор за или против известной личности, а принять меру общественного спасения, сыграть роль национального провидения. Какой образ действия предписывает здравая политика, чтобы скрепить нарождающуюся республику? Она предписывает внедрить глубоко в сердца презрение к королевской власти и поразить ужасом приверженцев короля. Следовательно, представлять миру его преступления в виде проблемы, его дело - в виде предмета самых внушительных, самых благоговейных, самых трудных дебатов, какие когда-либо занимали представителей французского народа; вырывать бездонную пропасть между одним воспоминанием об его былом сани и достоинством гражданина, - это именно и есть способ сделать его еще опаснее для свободы. Людовик был королем, но затем была основана республика. Пресловутый вопрос, занижающий вас, решается в нескольких словах. Людовик лишен престола за свои преступления; он объявил мятежным французский народ и в наказание призвал прощв него своих собратьев-тиранов. Победа и народ решили, что мятежником был он один. Следовательно, Людовик не может быть судим: он уже осужден; он осужден, или республика не оправдана. Привлекать к суду Людовика XVI, в какой бы то ни было форме, это значит возвращаться вспять к монархическому и конституционному деспотизму; это идея контрреволюционная, ибо она ставит под сомнение самое революцию. В самом деле, если Людовик может быть предан суду, то он может быть и оправдан; он может оказаться невинным; даже больше - он предполагается невинным до окончания суда. Но если Людовик может предполагаться невинным, во что превращается тогда революция? Не есть ли она, в таком случае, нечто неопределенное и сомнительное? Если Людовик невинен, то все борцы за свободу превращаются в клеветников, а мятежники становятся друзьями свободы и защитниками угнетенной невинности; тогда все манифесты иностранных дворов являются законными протестами против господствующей, клики; тогда и заключение, в котором до настоящего момента содержался Людовик, есть несправедливое притеснение; тогда федераты, парижский народ, словом все патриоты Франции, оказываются виновными; тогда, наконец, великий процесс, который разбирается перед трибуналом нации, процесс между преступлением и добродетелью, между свободой и тиранией, - решается в пользу тирании и преступления.

“Берегитесь, граждане, вас вводят в заблуждение ложные понятия. Вы смешиваете институты гражданского и положительного права с принципами международного права; вы смешиваете отношения граждан между собою с отношением наций к врагу, строящему козни против них; вы смешиваете, далее, положение народа в революционный период с положением народа, обладающего твердым правительством. Мы относим к области обычных идей исключительный случай, связанный с принципами, которые доньше оставались невыясненными. Таким образом, благодаря привычке к тому, что обыденные преступления судятся по однообразным правилам, мы теперь склонны думать, что нация ни в коем случае не может судить иначе человека, нарушившего ее права; не видя ни присяжных, ни трибунала, ни судебной процедуры, мы не видим и правосудия. Самые эти термины, применяемые нами к понятиям, совершенно отличным от тех, которые предполагаются обыкновено, довершают наше заблуждение. Такова естественная сила привычки, что в самых произвольных, иногда даже самых извращенных условностях мы видим абсолютные атрибуты истины или лжи, справедливости или несправедливости; мы совершенно упускаем из виду, что большинство из них обуславливается предрассудками, унаследованными нами от деспотизма. Мы так долго сгибались под его ярмом, что лишь с трудом поднимаем голову к разуму, что все, восходящее к этому священному источнику всех законов, принимает в наших глазах вид беззакония и даже естественный порядок кажется нам беспорядком. Грандиозные движения великого народа, возвышенные порывы добродетели, часто представляются нашим робким очам вулканическими извержениями или ниспровержениями политического общества; и одна из важнейших причин раздирающих нас смут кроется, несомненно, в этом противоречии между дряблостью наших нравов, развращенностью наших умов, с одной стороны, и чистотой принципов, энергией воли, с другой, характеризующими свободное правительство, название которого мы дерзновенно присваиваем себе.

“Когда нация вынуждена прибегнуть к праву восстания, она возвращается к первобытному состоянию по отношению к тирану. Как мог бы он сослаться на общественный договор? Ведь он сам уничтожил его! Нация может, если пожелает, сохранить этот договор, поскольку он касается отношений граждан между собою; но по отношению к тирану он совершенно теряет силу после восстания и заменяется военным положением. Суды и судебные процедуры установлены лишь для членов гражданского общества. Грубо ошибается тот, кто хочет положить старую конституцию в основу нового порядка вещей: это было бы равносильно предположению, что она пережила самое себя. Какие же законы заменяют конституцию! Ее заменяют законы природы, законы, на которых покоится все общество и благе народа. Право наказать тирана и право лишить его трона - одно и то же. Первое проявляется в таких же формах, как и второе: процесс тирана - это восстание, суд над ним - низвержение его, кара его - та кара, которой требует народная свобода.

“Народы судят не так, как судебные палаты; они не выносят приговоров, а мечут громы и молнии; они не осуждают королей, а повергают их в прах, и это правосудие не уступает судебному. Если народ восстает против угнетателей для своего спасения, то может ли он применить к ним такой род наказания, который представлял бы новую опасность для него самого? Мы введены в заблуждение примерами других стран, не имеющими ничего общего с нами. Если Кромвель судил Карла I через судебную комиссию, находившуюся под его руководством, если Елизавета приговорила к смерти Марию Стюарт через посредство судей, то это естественно: тираны, приносившие себе подобных в жертву не народу, и своему собственному властолюбию, стремились обмануть простаков призрачной внешностью; речь шла здесь не о принципах, не о свободе, а лишь об интригах и обмане. Но народ? - какому закону может он повиноваться, если не справедливости и разуму, находящим опору в его всемогуществе?”

“В какой республике необходимость наказать тирана была спорным вопросом? Был ли призван к суду Тарквиний? Что сказали бы в Риме, если бы кто-либо из римлян дерзнул объявить себя его защитником? А мы что делаем? Мы созываем со всех сторон адвокатов для защиты Людовика XVI; мы санкционируем, как законный акт, то, что у всякого свободного народа считалось бы величайшим преступлением. Мы сами совращаем граждан в разврат и низость; мы способны когда-нибудь присудить гражданские венки защитникам Людовика XVI, ибо, защищая его дело, они могут надеяться его выиграть: в противном случае, вы показали бы миру лишь жалкую комедию правосудия. И мы смеем еще говорить о республике! Мы цепляемся за формальности, ибо не имеем убеждений; мы хвалимся своим тонким чутьем, ибо лишены энергии; мы выставляем напоказ ложную туманность, ибо чувство истинной гуманности нам чуждо; мы чтим тень короля, ибо не умеем уважать прав народа; мы нежны к угнетателям, ибо мы бессердечны к угнетенным!”

“Процесс Людовика XVI! Но что такое этот процесс, если не апелляция восстания к какому-либо трибуналу? Когда король уничтожен народом, кто вправе воскрешать его, чтобы делать из него новый предлог для смут и мятежей? И может ли не привести к смутам такой образ действия? Давая оружие в руки поборникам Людовика XVI, вы возобновляете борьбу деспотизма против свободы; вы разрешаете изрыгать хулы против республики и народа, - ибо право защищать павшего деспота влечет за собой право говорить все, что относится к его делу; вы восстанавливаете все заговоры, вы воскрешаете роялизм и выводите его из летаргического сна. Вы даете возможность всякому свободно высказываться за или против. Что же, стало быть, законнее, что же естественнее, как пропагандировать те взгляды, которые громко выскажут его защитники у вашего барьера или даже на этой трибуне? Хороша республика, которой повсюду создают врагов ее же основатели, чтобы поразить ее еще в колыбели! Посмотрите, какие быстрые успехи уже сделала эта система! В августе текущего года все роялисты еще скрывались; каждый, кто посмел бы выступить на защиту Людовика XVI, был бы наказан как изменник. Теперь же они бесстыдно поднимают свою дерзкую голову; теперь самые обесславленные писатели аристократии снова без боязни берутся за свои ядовитые перья и находят последователей, даже превосходящих их наглостью. Теперь листки и брошюры, предвестники всевозможных посягательств, наводняют восемьдесят три департамента и вашу столицу, вплоть до порога этого святилища свободы; теперь вооруженные люди, созданные и удерживаемые в этих стенах - и кем? - эти люди оглашают улицы вашей резиденции мятежными криками, требующими безнаказанности для Людовика XVI; теперь в недрах Парижа имеются шайки, поставившие себе целью вырвать его из рук карающей нации. Вам остается лишь открыть эту ограду атлетам, которые толпятся уже вокруг, добиваясь чести ломать копыя во славу королевской власти. Более того: теперь Людовик служит яблоком раздора даже для народных представителей - они высказываются за или против него. Кто мог бы подозревать еще два месяца тому назад, что его неприкосновенность будет спорным вопросом? Но с тех пор, как один из членов Национального Конвента, гражданин Петион, предложил серьезно обсудить этот пункт, прежде чем перейти к другим вопросам, с тех пор, говорю я, неприкосновенность, которую заговорщики Учредительного Собрания набросили на первые измены Людовика, служит щитом для прикрытия его последних посягательств.

“О, преступление! о, позор! Трибуна Национального Конвента огласилась панегириком в честь Людовика XVI! Мы слышали хвалу добродетелей и благодеяний тирана. Мы едва успели спасти от слишком поспешного и несправедливого решения честь и свободу лучших граждан. Мало того. Мы видели, как встречены были здесь постыдной радостью самые тяжкие обвинения против народных представителей, известных своей горячей любовью к свободе; мы видели, как они чуть не были растерзаны своими же коллегами тотчас после доноса. И только дело тирана настолько священно, что его обсуждение нельзя ограничивать никакими рамками! Да и что тут удивительного? это двоякое явление обуславливается одной и той же причиной. Если послушать иных, то процесс будет длиться, по крайней мере, несколько месяцев; он будет тянуться до будущей весны, когда деспоты должны дать нам генеральное сражение. Какое широкое поле действия для заговорщиков! Какая пища для интриг аристократии! Итак, все приверженцы тирании могут еще надеяться на помощь своих союзников; иностранные армии будут придавать смелости судьям, а их золото - искушать верность суда, который решит участь тирана. Мне хочется верить, что республика не один пустой звук, которым нас забавляют; но разве не такие же средства употребляли бы те, кто стремится к восстановлению королевской власти? Праведное небо! Дикие орды деспотизма снова готовы растерзать нашу родину во имя Людовика XVI; Людовик продолжает бороться против нас из глубины своей темницы, а мы сомневаемся, виновен ли он, мы не решаемся поступить с ним как с врагом! Мы спрашиваем, на основании каких законов он может быть осужден, мы приводим в его защиту конституцию...”

“Но конституция запрещала вам все, что вы сделали с ним! Если он мог быть наказан только низложением, то вы не имели права принимать эту меру без суда над ним; вы не имели никакого права держать его в тюрьме; мало того, он имеет полное право требовать от вас своего освобождения и вознаграждения за потери. Конституция вас осуждает. Бросайтесь же к ногам Людовика, чтобы вымолить его прощение! Что касается меня, я не могу без краски стыда вдаваться в обсуждение этих конституционных тонкостей; я отсылаю их на школьные скамьи, в залу суда или, еще лучше, - в кабинеты Лондона, Берлина и Вены. Я не умею вести долгие прения там, где убежден, что много рассуждать - позорно. Почему то, что так легко разрешается здравым смыслом народа, превращается для его представителей в почти неразрешимую проблему? Вправе ли мы обладать волей, противной воле народа, и мудростью, отличной от его разума?”

“Я слышал, как все защитники неприкосновенности выражали смелую мысль, которую я и сам не колебался бы высказать: они утверждали, что тот, кто 10 августа умертвил бы Людовика XVI, совершил бы добродетельный акт. Но такое мнение может основываться лишь на преступлениях Людовика и правах народа. Неужели же трехмесячный срок мог изменить те и другие? Если 10 августа его спасли от народной ярости, то, конечно, лишь для того, чтобы его наказание, торжественно постановленное Национальным Конвентом, от имени нации, сильнее подействовало на врагов человечества. Возвращаться к вопросу о том, виновен ли он, подлежит ли он наказанию? - это значит изменять французскому народу. “Иные, пожалуй, были бы не прочь, чтобы функции национального правосудия были выполнены рукой частного лица. Хотят ли эти люди унижить достоинство французской нации, или лишить другие нации примера, способного поднять умы на высоту республиканских принципов, или они преследуют еще более позорные замыслы, - как бы там ни было, берегитесь, граждане, этой ловушки. Всякий, кто посмел бы дать такой совет, сослужил бы службу только врагам народа. Во всяком случае, наказание Людовика может иметь значение лишь постольку, поскольку оно будет носить торжественный характер национального мщения. В самом деле, какое дело народу до презренной личности последнего короля?”

“Это важное дело, говорят нам здесь; его надо обсудить с разумной и медленной осмотрительностью... Важное дело-проект народного закона; важное дело- участь несчастного, угнетенного деспотизмом. С какой же целью вы предлагаете нам эти бесконечные отсрочки? Неужели вы боитесь оскорбить чувство народа? Как будто сам народ боится чего-либо, кроме слабости и честолюбия своих представителей!.. Как будто народ - подлое стадо рабов, бессмысленно преданное тупому тирану и желающее, во что бы то ни стало, коснеть в низости и рабстве!

“Вы говорите об общественном мнении; но кому же направлять его, кому поддерживать его, если не вам? Если оно заблуждается, если оно неправильно, то на кого пенять вам, кроме самих себя? Или, быть может, вы боитесь разгневать иностранных монархов, объединившихся против нас? О, разумеется, вернейшее средство их победить - это выказывание страха перед ними; почтительное обращение с их сообщником - вот наилучший способ расстроить преступный заговор европейских деспотов! Или вы опасаетесь мнения других народов? По какому же странному противоречию думаете вы, что нации, которые вовсе не были поражены провозглашением прав человека, испугаются наказания одного из самых жестоких его угнетателей?”

“Возникает новое затруднение: к какому наказанию приговорить Людовика? Смертная казнь слишком жестока, говорят одни. Нет, возражают другие: жизнь еще более жестока; мы требуем, чтобы его оставили в живых. Адвокаты короля, что побуждает вас спасать его от наказания за его преступления - чувство ли сострадания или жестокость? Что касается меня, я питаю отвращение к смертной казни, так щедро расточаемой вашими законами; у меня нет ни любви, ни ненависти лично к Людовику, я ненавижу лишь его злодеяния. Я требовал отмены смертной казни еще в Учредительном Собрании; и не моя вина, если элементарные принципы разума показались ему моральной и политической ересью. Но вы, которым никогда не приходило в голову ссылаться на эти принципы в защиту несчастных, приговоренных к смерти скорее по вине правительства, чем по своей собственной, - какой злой рок толкает вас вспоминать о них только теперь, в интересах величайшего из преступников? Вы требуете исключения из закона о смертной казни именно для того, кто один лишь и может оправдать его!

“Общественная безопасность никогда не требует смертной казни за обыкновенные преступления, ибо общество всегда может другим путем поставить виновного в невозможность вредить ему. Но когда речь идет о короле, сброшенном с трона ураганом революции, которая далеко еще не упрочена справедливыми законами, о короле, одно имя которого навлекает бич войны на восставшую нацию, тогда ни тюрьма, ни изгнание не могут обезвредить его. И это жестокое исключение из обычных законов, которое допускается справедливостью, обуславливается самой природой его преступлений. С прискорбием высказываю роковую истину: пусть лучше погибнет Людовик, чем сто тысяч добродетельных граждан; Людовик должен умереть, потому что родина должна жить! Мирный, свободный народ, чтимый извне, как и внутри, мог бы внять призывам к великодушию. Но народ, у которого еще оспаривают свободу после стольких жертв, после такой упорной борьбы, народ, законы которого неумолимы лишь по отношению к несчастным, народ, у которого преступления тирании являются спорным вопросом, а республика - достоянием плутов, такой народ должен требовать мести; великодушие, которым хотят вас прельстить, слишком походило бы на великодушие шайки разбойников, делящих добычу.

“Предлагаю вам немедленно сделать постановление об участии Людовика. Что касается его жены, вы предадите ее суду, равно как и всех лиц, обвиняемых в таких же посягательствах. Сын их будет содержаться в Тампле до тех пор, пока не утвердится мир и общественная свобода. Самого же Людовика Национальный Конвент должен объявить изменником французской нации и преступником перед человечеством. Я требую, чтобы он, в качестве такового, дал назидательный пример миру на том самом месте, где 10 августа пали

благородные мученики свободы. Памятник, воздвигнутый в честь этого события, будет поддерживать в сердцах народов сознание своих прав и отвращение к тиранам, а в сердцах тиранов- спасительный страх перед народным правосудием...”

Замечательная речь Робеспьера, по выражению его современника Гара, “склонила весы национального правосудия в сторону казни”. Но как ни сильно было ее влияние на Конвент, она не могла заставить его вполне стать на точку зрения оратора. Робеспьер, подобно Сен-Жюсту, требовал, чтобы короля не судили, как обвиняемого, а казнили, как врага нации, захваченного с оружием в руках. Правда, Сен-Жюст и Робеспьер исходили из различных соображений: для первого уже тот факт, что Людовик XVI был королем, составляет непростительное преступление, тогда как второй мотивирует свое мнение необходимостью “принять меру общественного спасения”. Как бы там ни было, вывод, к которому приходили оба вождя Горы, был один и тот же. И в этом отношении они оказались совершенно изолированными. Мысль о казни без суда, которая могла бы, пожалуй, иметь успех в разгаре страстей, в один из таких острых критических моментов, каким был день 10 августа, теперь ни в ком не встретила сочувствия. С нею не согласился не только Национальный Конвент в целом, но даже такой экзальтированный демократ, как Марат.

“С болью вижу я, - писал он 13 декабря в своем органе “Ami du peuple” (“Друг народа”), - как лучшие патриоты среди членов Конвента бросаются, очертя голову, в расставленную им ловушку. Как они не понимают, что их хотят толкнуть на ложный путь, подстрекая к поспешному осуждению Людовика Капета! Я призываю их к размышлению. Они должны решить участь бывшего монарха в полнейшем спокойствии и благоразумии, не столько для поддержания своего собственного достоинства, сколько для того, чтобы лишить повода его сообщников возводить на них ложное обвинение в том, что они закололи его мечом закона”.

Итак, мнение Марата более соответствовало общему настроению, чем речь Робеспьера. Однако, последняя своей железной логикой, силой убеждения, которой дышало каждое ее слово, потрясла Конвент. Под непосредственным ее впечатлением был принят декрет, что Национальный Конвент будет судить Людовика XVI.

Заседание 3 декабря, которое ознаменовалось этим декретом, было поворотным пунктом в истории процесса низложенного короля: вопросы о справедливости, до этого волншавшие совесть народных представителей, так или иначе решены; кончен пролог великой исторической драмы: начинается суд над Людовиком XVI.

1 Это впоследствии открыл сам Малле-дю-Пан в своих “Мемуарах”.

2 Мы не приводим этого доклада полностью, в виду обилия в нем деталей и не представляющих никакого интереса для современного читателя.

3 Французский городок на бельгийской границе, где Булье со своей армией ждал бежавшего короля, чтобы оттуда вместе с ним двинуться на Париж.

4 Учредительное Собрание ввело, по образцу Англии, два жюри: обвинительное (jury d'accusation) и судебное (jury de jugement). Первое решало предварительный вопрос- подлежит ли дело судебному разбирательству. Второе решало вопрос о виновности подсудимого, но не выносило приговора. Последнее лежало на обязанности трибунала, состоявшего из профессиональных судей, тогда как оба жюри соответствовали нашему институту присяжных заседателей.

5 Члены обвинительного жюри, на обязанности которых лежало поддерживать обвинение.

6 Малолетний сын Людовика XVI, известный в истории под именем Людовика XVII.

7 Сиракузский тиран (IV в. до Р. Х.), свергнутый с престола и изгнанный народом в Коринф.

8 Мориссон был также членом Законодательного Собрания.

9 Это было в июле 1791 г., после бегства в Варенн. Как известно, консервативно-настроенное Учредительное Собрание хотело оставить Людовика безнаказанным, свалив всю вину на его сообщников; только немногочисленные представители крайней левой, с Робеспьером и Грегуаром во главе, требовали предания короля суду.

10 В эпоху Цезаря - общее название кельтических племен, живших в бассейне Роны и Изеры. В эпоху Великой Революции под аллоброгами разумелись жители Савойи, которая была присоединена к Франции 27 ноября 1792 г., под именем департамента Mont-Blanc.

11 Бельгия была присоединена к Франции после блестящей победы Дюмурье над австрийцами при Жемаппе, 7 ноября 1792 г. Конвент обыкновенно уничтожал в завоеванных странах феодальные порядки и объявлял свободу и равенство.

12 Борепэр (Beaurepaire) был комендантом Вердена. Когда крепость была взята пруссаками 1 сентября 1792 г. Борепэр предпочел застрелиться, чтобы не сдаваться неприятелю. Национальный Конвент приказал перенести его останки в Пантеон.



## ГЛАВА III

### Обвинительный акт

Покончив 3 декабря с принципиальными прениями, Национальный Конвент приступил к суду. 6 декабря он избрал комиссию из 21 депутата для составления обвинительного акта. На том же заседании было решено, что после окончательного редактирования этого акта Людовик XVI будет призван к допросу, а затем, через 2 дня, выслушан в последний раз.

10 декабря Линде, от имени Комиссии Двадцати-Одного, представил следующий проект обвинительного акта:

“Людовик XVI виновен перед народом, как тиран, который постоянно старался замедлить прогресс свободы и даже уничтожить ее преступными посягательствами; как тиран, который, будучи не в состоянии своими преступными усилиями помешать свободной нации ввести у себя конституцию и законы, задумал, направлял и приводил в исполнение заговор, имевший целью уничтожение государства. Посягательства Людовика в период Учредительного и Законодательного Собраний находятся в тесной связи и соответствуют планомерному плану угнетения и разрушения. Принятие конституции могло бы еще набросить покров общественной снисходительности на его предшествующие преступления, если бы Людовик собственноручно не разорвал конституцию, вонзив в 1792 г. в грудь отечества те кинжалы, которые в 1791 г. он выковал во всех европейских мастерских.

“Франция достигла периода, когда широко распространившееся просвещение и сознание прав человека предвещали близкое возрождение. Изолированный деспот мог удержаться на своем шатком троне, лишь опираясь на силу, доверие и просвещение народа. Государственная казна не имела ни источников дохода, ни кредита, ни возможности предотвратить всеобщее банкротство, которое ожидалось со дня на день. Власть, не уважая свободы граждан, не располагала и силами для поддержания общественного порядка. Таково было положение дел, когда собрались народные представители и образовали Учредительное Собрание. Первые работы этого Собрания решили судьбы Франции. Тогда Людовик задумал поработить его и подчинить своему игу. 20 июня 1789 г. он сделал попытку распустить Учредительное Собрание. Этот день был счастливым днем для Франции. Народные представители соединились снова и торжественно поклялись не расходиться и собираться всюду, где того потребуют обстоятельства, до тех пор, пока конституция не будет выработана и утверждена на прочных основах.

“23 июня Людовик явился к ним со всем блеском и пышностью деспотизма; он думал так же властно продиктовать им свою волю, как диктовал ее, по примеру своих предшественников, кучке судебных чиновников в так-называемых заседаниях на подушках, которые погружали в скорбь всю страну и увеличивали общественные бедствия. Но твердость и мужество Национального Собрания возвысили его над угрожающей помпой деспотизма; оно подтвердило свои постановления, объявило личность народных представителей неприкосновенной и обещало Франции конституцию.

“25 июня Людовик приказал окружить войсками все входы и выходы залы Собрания и отгонять от нее народ. Чтобы достичь места своих заседаний, депутаты должны были пробираться через лес штыков и стену солдат. Тщетно просило Людовика Национальное Собрание удалить гвардейцев и открыть свободный доступ: он был занят, на беду Франции, более важными делами. Он ежедневно вызывал в Париж новые отряды национальных и иностранных войск, сопровождаемые артиллерийскими обозами, и устраивал себе несколько лагерей.

“Очевидно было, что Людовик хочет поработить Собрание и нацию или ознаменовать свое царствование кровавой войной с французским народом. 8 июля Национальное Собрание постановило просить его распорядиться об отмене столь же бесполезных, сколько опасных мер, и о немедленном удалении войск и артиллерийских обозов. На следующий день оно вотировало знаменитый адрес королю, в котором энергично, но с достоинством, изображались тревоги и волнения народа; благодаря растущему смятению в Париже и своей доверчивости, Собрание не замечало окружавших его опасностей и видело лишь бедствия, грозившие народу. “Всем известны, - ответил Людовик, - беспорядки и скандальные сцены, которые произошли и снова повторяются в Париже и в Версале. Однако, если необходимое присутствие войск вызывает беспокойство, то я готов, по желанию Генеральных Штатов, перевести их в Нуайон или в Суассон; тогда я сам перееду в Компьен, чтобы оттуда поддерживать сообщение с Собранием”. - Людовик задумал подавить порывы к свободе военным террором; он решил изолировать Собрание, затруднить для него все сообщения и воздействовать на него орудиями силы и деспотизма. Совет министров, хладнокровно организовавший все эти приготовления, в решительный момент стал колебаться, предвидя последствия. Людовик уволил трех министров, которые были против этих жестоких мер. 13-го Собрание постановило указать королю на опасности, угрожавшие отечеству; оно настаивало на отсылке войск, присутствие которых возбуждало народ. Депутаты вернулись со следующим ответом: “Я уже сообщил свое решение насчет мер, к которым меня вынудили беспорядки в Париже. Мне одному судить, насколько они необходимы: отменить их я не могу”. Этот ответ можно было считать объявлением войны.

“В то же время распространился слух, что один из принцев фамилии Кадетов назначается первым министром. Собрание постановило продолжать настаивать на удалении войск; кроме того, оно объявило, что министры и советники короля, каковы бы ни были их сан, звание и должность, лично ответственны как за настоящие бедствия, так и за возможные в будущем. В десять часов вечера к королю, явился президент Национального Собрания; Людовик отказывается принять его; 14-го в Сент-Антуанском предместьи появляется эскадрон гусар; он повсюду подымает тревогу и возбуждает ярость народа. Опасаются артиллерийского огня из Бастилии, К губернатору отправляется депутация, закликающая его не стрелять из

пушек. Но она не может ничего добиться. Отправляется другая, более многочисленная депутация, с белым знаменем и барабаном в знак мира. Ее пропускают в ограду крепости. Вслед за этим раздается артиллерийский залп, несколько граждан, в том числе Корни, прокурор Коммуны, падают замертво”.

“Народ начинает осаду Бастилии. Тогда губернатор получает королевский приказ держаться до последней крайности и пустить в ход все наличные силы. При таких-то обстоятельствах Людовик заявляет депутации Национального Собрания в ответ на ее напоминание о необходимости удалить войска: “Я послал за купеческим старшиной<sup>1</sup> и муниципальными чиновниками, чтобы вместе с ними обсудить положение дел. Узнав об образовании буржуазной гвардии, я приказал генералам принять начальство над нею и распорядился об удалении войск, занимающих Марсово поле”. Такие действия короля, как вызов в Версаль администрации Коммуны, которая не могла безопасно покинуть своего поста, и произвольное назначение главнокомандующего буржуазной гвардии, конечно, отнюдь не показывали мирных намерений с его стороны. К Людовику является новая депутация. Он отвечает ей: “Вы раздираете мое сердце описанием бедствий Парижа; я не могу поверить, чтобы причиной их было присутствие войск. Мне нечего прибавлять к тому, что я заявлял раньше”. Людовик еще не знал, что он побежден. Наконец, он узнает о взятии Бастилии. Тогда, не желая сознаться в своем поражении, но, в действительности, убежденный в том, что необходимо положить оружие или погибнуть, он заговаривает о мире.

“15-го июля Людовик является к народным представителям с предложением изыскать средства для восстановления порядка и спокойствия и сообщить парижанам о его намерениях. “Я знаю, - говорит он, - что на мой счет распускают ложные слухи; мне известно, что некоторые лица осмелились напечатать, будто вы не находитесь в безопасности. Неужели мне нужно уверять вас в вздорности этих преступных слухов, за лживость которых ручается вам мой характер? Хорошо же! Я сам отдаюсь под вашу защиту!”-17-го Людовик отправляется в Париж; здесь он высказывает те же намерения, а между тем втайне замышляет и подготавливает новые измены. Уже 16-го Брольи<sup>2</sup> подписал приказ о разоружении коммун Туля и Тионвилля; 23-го он посылает новый приказ с предписанием поторопиться выполнением этой меры.

“Декрет 12 сентября давал Людовику право санкционировать законы. Он не замедлил воспользоваться этим правом для приостановки действия декретов, уничтожавших десятину, крепостную зависимость, феодальный режим и т. д. 13-го он объявил мотивы своего поступка. Однако, ему было не безызвестно, что эти декреты были продиктованы Учредительному Собранию общенародной волей, выраженной в наказах.

“Учредительное Собрание представило ему на утверждение Декларацию Прав и девятнадцать готовых статей конституции. Вот его ответ: “Я совершенно не понимаю вашей Декларации Прав. В ней есть прекрасные мысли; но эти мысли поддаются различным толкованиям, а потому не будут, да и не могут быть правильно поняты до тех пор, пока их истинный смысл не будет разъяснен законами”. Подобные замечания показывали, что между Национальным Собранием и королем завязывается продолжительная борьба; они ручались за то, что Людовик, которому не удалось разогнать или поработить Собрание 14 июля, постарается всеми силами сделать его труды бесполезными и лишит нацию их благотворных результатов.

“С тех пор стали носиться слухи об отъезде короля. В народе начались волнения. Ощущался недостаток в предметах первой необходимости; продовольственный вопрос все более обострялся. Подвоз съестных припасов к Парижу приостановился. В Версале замечались какие-то приготовления; цель их была неизвестна. Говорили об увеличении королевской гвардии. Двор добился различными интригами вызова в Версаль фландрского полка. Ходила молва о сформировании особой армии, главнокомандующим которой называли Булье. Лейб-гвардейцы и фландрский полк, в ожидании решительных действий для осуществления планов двора, предавались оргиям, на которых поносилось имя нации. Тут провозглашались заздравные тосты в честь короля и королевской фамилии, а тосты в честь нации предлагались лишь для того, чтобы быть отвергнутыми с презрением. Музыка исполняла пьесы, подобранные с целью разжечь в слушателях воинственный пыл и жажду отомстить за королевскую обиду избиением народа. Национальная кокарда попиралась ногами; придворные дамы раздавали присутствующим белые кокарды. 4 октября королева заявила, что она в восхищении от праздника 1 октября, - от этой оргии, на которой солдаты, разгоряченные вином, с особенной энергией выражали преданность престолу.

“Тревога охватила все и вся. Ожидалось бегство короля. 5 октября Собрание решило предложить королю категорически принять конституцию. Благодаря своей настойчивости, оно добилось, наконец, этой ратификации, от которой зависел успех его дальнейшей деятельности. В тот же день “толпы парижан наводнили Версаль и королевский дворец. Тирания была еще раз побеждена и обезоружена; Людовика перевезли в Париж, и спокойствие, казалось, восстановилось. Честолюбивые виды некоторых членов Учредительного Собрания, их перемена фронта в важных вопросах, наконец, подозрение в подкупе, павшее на кое-кого из них, - все это привело к изданию декрета 7 ноября, которым депутатам воспрещалось принимать министерские портфели.

“С самого начала 1790 г. на юге возникли волнения под религиозными предлогами. Ним стал добычей заговоров; федерация 14 июля послужила поводом к сборищу, которым воспользовались для превращения Жалеса в очаг контр-революции; мятежники сделали попытку поднять восстание во имя короля, с целью, восстановить абсолютную монархию. В то же самое время Булье получил приказание устроить бойню в Нанси<sup>3</sup>.

“Зима 1791 г. увидела новые замыслы. Средством, употребляемым по преимуществу, был подкуп. Двор рассчитывал на Лафайета и вполне полагался на Мирабо. Талону поручено было возбудить посредством агентов, содержавшихся на счет гражданского листа, повсеместное движение в Париже - в Национальном Собрании, в комитетах, в секциях, в народных клубах. Таким же путем должен был действовать Мирабо в департаментах. Мы видим, как щедро думали вознаградить Мирабо из сумм гражданского листа за потерю

министерского портфеля, вполне заслуженного им в успешной борьбе за королевское veto и ускользнувшего от него после декрета 7 ноября 1789 г.<sup>4</sup> 23 февраля 1791 г. Лапорт<sup>5</sup> представил королю докладную записку, содержащую план бегства из Парижа<sup>6</sup>. Этот проект помечен рукою Людовика, который, по-видимому, его обдумывал. Ему ручались за успех, если гражданский лист даст еще 1.500.000 ливров. Автор, очевидно, знал, как щедро сыпал деньгами король, чтобы приобрести голоса депутатов и обмануть доверие народа. Он умел также применять эти средства на практике. Так, он советовал Людовику несколько дней сряду совершать прогулки верхом, показываться в предместьях. «Всюду будут кричать: Да здравствует король! Его величество, пользуясь своей популярностью, будет обращаться ко всему народу; если же кто-нибудь из толпы заговорит о нужде рабочих, о современных бедствиях, то король ответит: «Я сделал все, чего просил у меня народ; я всегда желал его счастья. Затем его величество бросит десятка два ливров со словами: Я хотел бы сделать больше». Далее, в записке предполагается распространить в народе проекты петиций, созвать монархический клуб, возбудить сочувствие к мнимой болезни короля, объявить о его намерении предпринять поездку для улучшения здоровья, вызвать со стороны народа настойчивые просьбы поспешить с поездкой. Этот план был выполнен почти целиком; во всяком случае, проект бегства был принят. Стали заметны новые сборища в Париже, подозрительные махинации и корреспонденции, необычайное движение и стечение множества людей во дворец. Все эти признаки предвещали, что в ближайшем будущем готовится бегство Людовика. Но народ, вопреки надеждам роялистов обмануть его и заинтересовать в успехе предприятия, удваивает бдительность. Тогда пускаются в ход новые средства, чтобы обойти его и направить его внимание и силы в другую сторону. Начинают говорить, что Венсенский замок в опасности, что за городом собираются заговорщики. Народ соглашается охранять все пункты, которым грозит опасность. Но прежде всего он устремляется в Тюльерийский дворец; здесь он находит в полном сборе всех рабов и наемников королевской власти. Людовик уже готовился покинуть Париж; но все рыцари кинжала<sup>7</sup> были обезоружены и разогнаны. Успех этого дня, казалось, возвратил Парижу тишину и спокойствие.

Король решил ждать более благоприятного момента для выполнения своих планов. 16 апреля он писал епископу Клермонскому, что, в случае восстановления своей прежней власти, он намерен вернуть старому правительству и духовенству все права, отнятые у них революцией<sup>8</sup>. Париж находился в величайшем волнении. Отъезд короля был объявлен; снова появились тревожные признаки; возбуждение все росло. 18 апреля Людовик собирается в Сен-Клу; но народ видит в этой поездке не что иное, как бегство; Людовика арестуют и отвезут обратно в Тюльери. На следующий день он отправляется в Национальное Собрание и жалуется на недоверчивое отношение к его присяге: «Я утвердил конституцию, в которую входит гражданская организация духовенства, - говорит он; - я присягнул ей на верность и буду охранять ее всеми зависящими от меня средствами». В тот же самый день он получает от Лапорта письмо следующего содержания: «Г. Ривароль имел со мною продолжительную беседу об общественных делах. Вот ее результат. Король теряет свою популярность. Вернуть ее можно через посредство тех же людей, которые ее у него отняли; это вожаки секций. Все, что я могу сказать Вашему Величеству, это то, что миллионы, израсходованные вами по совету других, были брошены на ветер; дела идут еще хуже прежнего». (Это письмо помечено рукою короля)<sup>9</sup>. 22-го Лапорт посылает Людовику важный документ, содержащий извлечение из письма епископа Отенского; он извещает короля о предложении услуг со стороны новой партии. «Но, - прибавляет Лапорт, - я думаю, что эта партия хочет господствовать над вами; она знает, что Вы израсходовали много денег, которые были разделены между Мирабо и другими лицами. Эта партия хочет помешать сокращению вашего гражданского листа, в надежде получить свою долю?»<sup>10</sup>

«Поддерживая эту корреспонденцию, Людовик в то же время заботился о возвращении утраченного доверия. Он приказал министру иностранных дел сообщить посланникам его положительное желание, чтобы все французские резиденты засвидетельствовали перед соответствующими дворами его преданность французской революции и конституции. Эта мера имела целью рассеять всякие сомнения по поводу намерений короля и его отношения к новой форме правления. Он поручил министрам довести ее до сведения Национального Собрания. Письмо к посланникам произвело ожидаемое действие. Чтение его вызвало в Национальном Собрании живейшее удовлетворение и даже выражения благодарности. Усыпив, таким образом, подозрительность Собрания и внушив ему чувство безопасности, Людовик спокойно подготавливал свое бегство и связанную с ним государственную смуту. Он составляет свою июньскую декларацию: она целиком написана его рукой; помимо того, его авторство доказывают различные поправки и изменения, как формальные, так и по существу. В этой декларации он напоминает ход революции, деятельность Национального Собрания, план конституции, и критикует изданные Собранием законы в области судопроизводства, внутреннего управления, финансов, иностранных, церковных и военных дел. Со своей стороны, он хочет восстановления религии предков и такой конституции, которая давала бы правительству сильную исполнительную власть. Наконец, он жалуется на лишение свободы и заявляет о своем решении вернуть ее и укрыться с семьей в безопасное убежище. Декларация эта, помеченная 20 июня, играла роль манифеста, который должен был бросить Францию во все ужасы гражданской войны.

«Хранение декларации и сообщение ее Национальному Собранию поручается Лапорту. Людовик с семьей покидает Париж в ночь с 20 на 21 июня; его брат направляется в Бельгию, которая находилась тогда под владычеством австрийского дома, между тем как сам Людовик продолжает свой путь через Шалон. Но в Варение его арестуют. Надежды его не оправдались: он рассчитывал, быть встреченным Булье, который уже успел распорядиться движением своих войск. Людовик покинул Францию беглецом, надеясь вернуться в нее завоевателем, во главе армии Булье, эмигрантов, собравшихся под знаменами его братьев, и вспомогательных войск союзников. Эти враждебные намерения доказываются его манифестом 20 июня. Король стремился к государственному перевороту, не желая подчиняться, несмотря на свою присягу, ни

конституции, ни законам: свобода никогда еще не подвергалась большей опасности. Итак, Людовик был отвезен обратно в Париж. 17 июля друг его, Лафайет, узнает, что на Марсовом поле собралась толпа граждан, чтобы подписать на алтаре отечества петицию о низложении короля. Он отправляется туда с национальной гвардией и артиллерийскими орудиями и приказывает стрелять в народ; Марсово поле превращается в могилу свободы. Одно из писем Лафайета доказывает, что он организовал эту бойню по соглашению с Людовиком, хотя последний и был отрешен от власти. При таких-то зловещих предзнаменованиях был произведен пересмотр конституции.

“Но главные надежды Людовик возлагал на пильницкий договор. По этому трактату, заключенному 24 июля, император австрийский и король прусский обязывались восстановить абсолютизм во Франции и охранять честь европейских корон от посягательств французов; кроме того, они должны были склонять соседние державы примкнуть к их договору. Людовик не заявил никакого протеста против этой коалиции; напротив того, - последующие факты показали, что он стоял во главе ее.

“Выработав конституцию, Учредительное Собрание представило ее на утверждение короля. Людовик утвердил ее, но при этом заметил, что он “не видит в исполнительной и административной системе той энергии, какая необходима для приведения в движение столь обширного государственного механизма и сохранения его внутреннего единства; но так как мнения по этому поводу расходятся, то пусть судьей здесь будет опыт”. Он точно предвидел недалекое, как казалось ему, будущее. Его братья и родственники подстрекали от его имени, европейские державы присоединиться к пильницкому договору. Людовик ждал, что война, которая будет объявлена Франции от его имени, вскоре будет вестись им самим от лица французского народа. По его расчетам народ, в припадке отчаяния, должен был восстановить абсолютную власть. В противном случае, думал он, удачное вторжение неприятеля, при слабости, бессилии и рассеянии французских войск, заставит народ признать волю победителей; а последние потребуют от восставших французов покорности и восстановления деспотизма. Такой ход событий и оправдывает то мнение о конституции, которое было высказано им, Людовиком.

“Город Арль не мог не привлечь внимания Людовика. Там господствовал фанатизм, искавший опоры в абсолютном монархе. Людовик послал туда комиссаров, которые, вместо того, чтобы водворить спокойствие, открыто водрузил в Арле знамя контр-революции. Далее, он задержал на целый месяц декрет, который мог бы внести умиротворение в Авиньон; а эта задержка вызвала кровавые беспорядки, опустошившие страну<sup>11</sup>. Эти события нельзя рассматривать в отдельности. Все они, по-видимому, входят в обширный план заговора, ибо точно такая же система применялась и для продления смут в колониях. Этим планом объясняется вся деятельность Людовика.

“Подкуп также представляется агентам Людовика средством для восстановления его власти. Они пользуются этим средством, чтобы приобрести голоса в Законодательном Собрании. Лапорт, Сент-Фруа и Сен-Леон заключают сделку, имеющую целью снять с гражданского листа расходы на пенсии королевским гвардейцам. Ради и Сент-Фуа берут на себя переговоры с некоторыми членами Законодательного Собрания. Дюфрен навязывает большинству членов ликвидационного комитета декрет, которым ликвидируются упомянутые пенсии; если бы этот декрет прошел в Собрании, то он уменьшил бы расходы королевской казны на несколько миллионов. Сумма, ассигнованная Сент-Фуа на подкуп депутатов, которые должны были поддержать проект декрета и распределить между собою роли по этому поводу, достигает 1.500.000 ливров. Дюфрен пишет Делессару<sup>12</sup>, что он занят ликвидацией королевских служб, что члены комитета соглашаются с предложенным им способом, что “общий итог всех уплат не превышает 18 миллионов, но на всякий случай его следует определить в 25 миллионов”. Этот проект не был представлен Собранию, но доказательства подкупа налицо: проект и докладные записки помечены рукою Людовика.

“Ознакомившись с характером и настроением нескольких выдающихся членов Законодательного Собрания, Людовик продолжал преследовать свои цели. Его старая лейб-гвардия реорганизовалась в Кобленце - он содержал ее на жалованьи; вопреки формальному закону он поддерживал и других эмигрантов: многие из счетов помечены первыми числами августа 1792 г. Тем временем братья Людовика собирали эмигрантов под свои знамена; они подымали восстание на всех границах; они набирали войска во всех германских государствах; они вели переговоры с иностранными державами, делали займы и заключали договоры, от имени короля, с правительствами и частными лицами. Многие свидетели утверждают, что сами видели доверенность Людовика на имя его братьев; и, действительно, без такой доверенности принцы не могли бы иметь столь быстрого успеха у всех европейских дворов и банкиров. Их займы обеспечивались национальными имуществами. Людовик протестовал против этих действий лишь тогда, когда был уверен, что уже не может этим повредить своим планам, а именно, незадолго до вторжения неприятеля в пределы Франции. Эмигранты оскорбляли французов, они перехватили сообщение с Германией; но Людовик и не думал протестовать против этого нарушения трактатов и требовать удовлетворения от держав, которые допускали на своих территориях скопления войск, готовых выступить против Франции. Наконец, видя, что медлить более нельзя, не вызывая возмущения всех граждан, Людовик притворно согласился на настойчивые просьбы Национального Собрания и вступил в переговоры с императором и майнцским курфюрстом; но эти переговоры не привели ни к чему, кроме уклончивых ответов и пустых обещаний.

“Между тем он держал в тайне пильницкий договор и новые соглашения, состоявшиеся в ноябре между императором и королем прусским, а также присоединение последнего к европейской коалиции. Законодательное Собрание предложило Людовику позаботиться о подготовке военных сил настолько, чтобы обеспечить национальное самодержавие и независимость; Нарбонн<sup>1</sup>), казалось, энергично принялся за набор рекрут, закупку оружия и боевых припасов. Еще Учредительное Собрание постановило, что армия должна быть готова к войне; однако, к концу 1791 г. она насчитывала не более ста тысяч человек. Видя это,

Законодательное Собрание вотировало рекрутский набор в 50.000 человек. Нарбонн приступил к нему; но вскоре он прекратил набор под тем предлогом, что он закончен. Не довольствуясь этим, он отослал обратно множество граждан, уже завербованных в войска; затем он посетил границы и объявил, что все приготовления закончены, и что кампанию можно начать в феврале. Война была объявлена 20-го апреля. Нарбонна сменил Деграв. В течение шести недель новый министр, под влиянием двора, шел по стопам своего предшественника. Нация стала терпеть поражения; Деграв принужден был подать в отставку. Его заменил Серван; этому министру предстояло создать все сызнова. Он предложил Законодательному Собранию вотировать набор двадцати тысяч национальных гвардейцев, со всех департаментов; эти гвардейцы должны были в полном вооружении двинуться к Парижу, чтобы образовать недалеко от столицы резервный корпус, предназначенный для подкрепления армии или для поддержки ее, в случае поражения. Законодательное Собрание согласилось с ним и декретировало сформирование лагеря и рекрутский набор в двадцать тысяч человек. Этот декрет был представлен на утверждение короля; последний наложил на него свое veto. Сервану пришлось подать в отставку. Военным министром назначен был Дюмурье; не желая навлекать на себя ответственности, он прямо заявил, что не имеется ни войск, ни боевых припасов, что крепости не в состоянии выдержать осады, что они нуждаются в оружии, в запасах, в провианте, - словом, что не заготовлено абсолютно ничего. В преемники Дюмурье назначили Лажара. 22-го июня Законодательное Собрание обратилось к Лажару с запросом, располагает ли он средствами для спасения государства. 23-го он ответил, от имени короля, предложением образовать 42 новых батальона. Было непонятно, почему Людовик, который раньше отверг декрет, имевший ввиду быстрое увеличение военных сил, теперь считал нужным предложить новый план, совершенно невыполнимый в короткий срок. 3-го июля Законодательное Собрание узнало из частных источников, что пруссаки выступили в поход против Франции. Оно немедленно потребовало у исполнительной власти отчета о состоянии политических отношений Франции с Пруссией. 6-го Людовик ответил, что движение прусских войск, достигающих числом пятидесяти тысяч и отчасти уже сконцентрированных на границах Франции, указывает на соглашение между венским и берлинским кабинетами; об этой опасности, угрожающей французской конституции, он-де и доводит до сведения Собрания. Но новый неприятель уже был на границах; Людовик, который долго скрывал его движение от Законодательного Собрания, казалось, ждавшего в своем дворце. Наши армии были рассеяны. Монтескье, под предлогом ожидаемого нападения со стороны сардинского короля, удерживать честь войск на юге в полной праздности; колониальные войска были заброшены и содержались в абсолютном бездействии в департаментах, входивших в состав Бретани. Морское побережье и внутренние департаменты кишели национальными волонтерами, и, однако, Франция, по милости предателей, не имела наготове армии, чтобы дать отпор иностранным державам.

“Единственная надежда оставалась на федерацию 14-го июля. В Париже ожидалось огромное стечение молодежи, готовой лететь на помощь отечеству; но министр внутренних дел Терье де-Монсьель позаботился, от имени короля, разбить и эту последнюю надежду. В конце июня он разослал по всем департаментам циркуляр, воспрещавший посылать федератов и приказывавший распустить всякие сборища. Это распоряжение было исполнено как нельзя лучше. 10-го военный министр подал в отставку, мотивируя ее тем, что больше не может быть полезен. Людовик оставил ему портфель до 23-го июля; затем, полагая, что долгие незачем таиться, он доверил военное министерство племяннику Калонна, Дабанкуру. В результате всех этих предательств Лонгви и Верден были сданы прусскому королю, который принял их в свое владение, от имени Людовика, при всем своем желании, задержать эти быстрые успехи, Франция в течение двух недель могла выставить лишь 15.000 человек против армии, вдесятеро более многочисленной. Нация, обреченная на гибель, была предана врагу; одно лишь чудо могло спасти ее; она совершила это чудо - и была спасена.

“В планы Людовика входило уничтожение и морских сил. Многие офицеры эмигрировали, число оставшихся было недостаточно для обслуживания портов; но морской министр Бертран тем не менее продолжал выдавать паспорта и отпуска. 6-го марта Законодательное Собрание указало Людовику на преступное поведение его министра и заявило, что последний потерял доверие нации. Людовик ответил, что он, со своей стороны, вполне доволен министром; однако, Бертран вскоре подал в отставку. К тому времени вернулся с М.Антильских островов Лакост, посланный туда в качестве гражданского комиссара; он выступил с обвинением против высших чиновников гражданской и военной администрации и представил исполнительной власти и Национальному Собранию многочисленные доказательства их измены. Людовик предложил ему портфель морского министра, Лакост принял и сделался судьей тех лиц, которых только что изблещал. Но тут он переменял фронт: забыв свой долг по отношению к нации, он оставил власть в руках тех, которых сам же обвинял в преступном превышении власти. Законодательное Собрание поручило ему послать в колонии войска, достаточные для подавления беспорядков и поддержания национального суверенитета. Но Лакост, по приказу Людовика, отправил туда лишь слабое подкрепление, которое и было разбито мятежниками. Послушный велению трона, этот министр сохранил свой пост до июля; он совершенно игнорировал интересы нации и покинул на произвол судьбы колонию Гваделупу, которая теперь находится в руках бунтовщиков.

“Внутренние волнения требовали суровых репрессий. 29-го ноября Национальное Собрание издало декрет против фанатических священников; но Людовик наложил на него свое veto. Смута росла; все департаменты находились в величайшем возбуждении. Администрация была вынуждена прибегать к произвольным мерам, для предотвращения еще больших беспорядков. Министр внутренних дел заявил, что отмена этих административных мер была бы губительна для страны; но, с другой стороны, допуская их, он рискует навлечь на себя ответственность. В виду этого, он требовал от Законодательного Собрания издания специального закона. Собрание немедленно издало этот закон, столь важный для общественной

безопасности, так долго ожидаемый, так настоятельно требуемый министром. Людовик наложил и на него свое veto. Таким образом, он систематически отказывался утверждать постановления, которые могли бы восстановить спокойствие внутри страны. Арль был очагом контр-революции; Марсель отправил туда национальных гвардейцев, но Людовик выслал против них двадцать два батальона. Заговор Дюсальяна разоблачил тайну всех этих комплотов, предлогом которых служила религия, но настоящей целью восстановление абсолютизма. Можно ли было ожидать от правительства водворения порядка, если фонды гражданского листа расточались на оплату пасквилей, распространение их в Париже и департаментах, агитацию в народных клубах, интриги против национального представительства, искоренение братского духа, разжигание взаимной ненависти и жажды мести!

“10-го июля министерство в полном составе послало Людовику два письма; первое сообщало о выходе в отставку всех министров; второе содержало мотивировку этого решения. “Многие из нас, - говорили министры, - при настоящем серьезном и сложном положении дел рискуют попасть под обвинительный декрет; отставка же наша будет полезна в том отношении, что она возбудит ненависть к депутатам и выставит их в виде дезорганизаторов. Но Людовик до 23-го июля оставлял министерские портфели в руках тех самых людей, которые публично признали свою неспособность. Он сделал это потому, что их инерция способствовала его проектам, тогда как более энергичное министерство могло бы помешать им.

“Обманутый народ требовал возмездия; он начинал подыматься против гнета. Тогда Людовик задумал другое предательство, план и день выполнения которого были известны заранее в Милане, крупных зарубежных центрах и многих департаментах, как видно из письма, адресованного Лапорту незадолго до 10-го августа. Недостаток патриотизма швейцарской гвардии заставил распустить ее; но он удержал ее на своем жалованьи, вопреки конституции и декрету Законодательного Собрания. Кроме того, он содержал особые отряды для каких-то тайных целей и исподтишка вербовал новых рекрут. Наконец, двор провокаторски вызвал дело 10 августа, в расчете поднять граждан предместий и затем перебить их, пропустив вперед и напав на них с тылу с артиллерийскими орудиями. Этот факт подтверждается приказом коменданта национальной гвардии<sup>13</sup> и множеством свидетельских показаний. 9-го августа дворцовые покои наполняются вооруженными людьми, которые проводят в них ночь. 10-го Людовик делает смотр швейцарцам в тюльерийском саду и заставляет их присягнуть на верность его особе. Парижские граждане и федераты доверчиво приближаются к дворцу - оттуда раздаются первые выстрелы; пушечные залпы грохочут один за другим; между швейцарцами и гражданами завязывается кровопролитный бой. Наконец, тирания побеждена, трон низвергнут, а сам Людовик ищет убежища среди народных представителей.

“Людовик виновен во всех вышеупомянутых посягательствах, которые он задумал с самого начала и не раз пытался приводить в исполнение. Все его шаги, все его действия постоянно клонились к одной и той же цели: к восстановлению абсолютной власти и устранению всяких препятствий на этом пути. Более твердый и непреклонный в своих намерениях, чем все его советники, он никогда не поддавался под влияние министров; бывший король не может сваливать на них ответственности за свои преступления, ибо в действительности он постоянно руководил ими и увольнял их по своему произволу. Европейская коалиция, война с иностранными державами, вспышки гражданской войны, опустошение колоний, беспорядки внутри страны, которые возбуждались, поддерживались и разжигались по его приказанию, вот те средства, при помощи которых Людовик должен был восстановить свой трон или похоронить себя под его развалинами.

После нескольких сокращений и поправок, внесенных различными членами Конвента и указывавших на некоторые опущенные докладчиком факты, как напр.: на контрреволюционную агитацию в армии, на приказ Людовика перед бегством в Варенн, запрещавший министрам подписывать постановления Национального Собрания, на попытки подкупить начальника национальной гвардии Сантерра, на покровительство короля отвергавшим присягу священникам и т. под., - обвинительный акт был единогласно принят Собранием. На следующий день предстоял допрос Людовика XVI.

1 До Великой Революции во главе муниципалитета стоял купеческий старшина (pr?v?t des marchands). После взятия Бастилии эти должностные лица были заменены мерами.

2 Маршал де-Брольи (de-Broglie) - военный министр в 1789 г.; впоследствии эмигрировал и сражался против Франции в рядах прусской армии в кампанию 1792 г.

3 В августе 1790 г. произошло столкновение между тремя революционными полками в Нанси и их офицерами-дворянами, принадлежавшими к лагерю реакции. В ответ на справедливые требования солдат последовало кровавое усмирение их войсками Булье, причем было убито около 3.000 человек.

4 См. приложение I, a, d.

5 Интендант гражданского листа, казненный после 10 августа по приговору “трибунала. 17 августа”.

6 См. приложение I.

7 Ироническое прозвище дворян, защищавших короля с оружием в руках.

8 См. приложение I, g.

9 См. приложение I, c.

10 См. приложение I, d.

11 Графство Венессенское (Venaissin), со столицей Авиньоном, с XIII в. находилось под властью папы. В ноябре 1790 г. его население выразило желание присоединиться к Франции. Учредительное Собрание удовлетворило это требование; но правительство Людовика XVI старалось ставить всякие препятствия, из боязни вызвать неудовольствие католиков. Это промедление послужило причиной сильных волнений в Авиньоне.



12 Министр иностранных дел.

13 Во время допроса коменданта национальной гвардии Мандата Коммуне было представлено его письменное распоряжение войскам нападать на инсургентов с тылу.

## ГЛАВА IV

### Жизнь королевской семьи в Тампле.

#### Допрос Людовика XVI. Тактика жирондистов

С 10-го августа королевское семейство находилось в Тампле, под надзором Коммуны. Башня охранялась снаружи и внутри стражей, набранной из парижских секций. Сообщение между узниками было свободно; они могли гулять по саду в сопровождении муниципальных чиновников. При короле находился его камердинер Клери, который получал жалованье от Коммуны. Содержание королевского семейства было хорошо обставлено; стол отличался изысканностью и изобилием - он состоял из двадцати блюд. По требованию заключенных, им немедленно доставлялись книги, письменные принадлежности и пр. Первые месяцы заключения король проводил в тесном семейном кругу. Его утро проходило в молитве (Людовик XVI, как известно, отличался набожностью) и занятиях с сыном; послеобеденное время посвящалось прогулке и чтению; по вечерам устраивались игры в пикет и карты, отгадывания шарад и т. под. невинные развлечения. Образ жизни Людовика в тюрьме показывал, что этот человек был гораздо больше создан для тихого семейного очага, чем для бурной политической карьеры. Родись он в бедной семье ремесленника, Людовик XVI был бы добрым семьянином и честным, хоть и недалеким тружеником; родившись на ступенях трона, он сделался деспотическим монархом и совершенно бездарным политическим деятелем. Природные данные короля шли слишком в разрез с его положением; это противоречие только ускорило гибель его и монархии.

К политическим новостям Людовик XVI был довольно равнодушен; известия о победах и поражениях французской армии, о постановлениях Конвента, казалось, мало его интересовали. После учреждения республики один из комиссаров Коммуны, Манюэль, сообщил Людовику об этом событии. "Вы уже более не король, - сказал Манюэль: вот прекрасный случай сделаться хорошим гражданином". Новость, по-видимому, не произвела на короля большого впечатления. Далеко не так покорна судьбе была королева Мария-Антуанетта; она из тюрьмы старалась поддерживать сношения с роялистами. Относительная свобода, которой пользовались узники в первое время, благоприятствовала этому; но впоследствии Коммуна, заметив подозрительные сборища перед Тамплом и условный язык, на котором говорили заключенные, приказала разлучить их и усилить за ними надзор. Вскоре после этого у королевского семейства были отняты всякие острые орудия. "Когда королю был передан этот приказ, - говорит протокол Коммуны, - Людовик XVI добровольно обыскал себя и передал комиссарам различные предметы, находившиеся при нем, говоря, что это все, что у него имеется; затем, пожав плечами, он заметил, что напрасно его боятся. Впрочем, он не проявил никакой досады. Потом комиссары спустились в помещение Марии-Антуанетты; она была со своей невесткой (принцессой Елизаветой). Она отнеслась к решению Коммуны далеко не так равнодушно. "В таком случае, - сказала она с раздражением, - у нас следовало бы отнять и иголки: ведь ими тоже можно уколоться. Она не остановилась бы на этом, если бы принцесса Елизавета не толкнула ее локтем, приглашая к молчанию".

11-го декабря утром королю было объявлено, что в этот день он должен предстать для допроса перед Национальным Конвентом. Около часу дня в комнату Людовика вошли мер Шамбон и прокурор Коммуны Шометт и громко прочли ему соответствующий декрет. Короля больше всего оскорбило то, что в декрете он был назван Людовиком Капетом. "Меня не зовут Капетом, - возразил он, - это имя одного из моих предков, но оно никогда не принадлежало мне; впрочем, этот поступок только следствие того обращения, которое я поневоле выношу здесь в течение четырех месяцев". Мер, не отвечая ничего, пригласил короля спуститься. Вся дорога прошла в полном молчании.

Перед появлением Людовика в зале Конвента президент<sup>1</sup> обратился к собранию со следующими словами:

"Народные представители, вы сейчас примените на деле право национального правосудия; вы ответственны перед всеми гражданами республики за твердость и благоразумие, которое вы должны проявить в этом важном случае.

"Взоры всей Европы обращены на вас. История сохранит ваши мысли, ваши действия. Неподкупное потомство будет судить вас с неумолимой суровостью. Да будет ваше поведение сообразно новым функциям, возложенным на вас. Беспристрастие и глубокое молчание приличествуют судьям. Достоинство вашего заседания должно соответствовать величию французского народа. Он даст через ваше посредство великий урок королям и полезный пример нациям, стремящимся к освобождению.

"Граждане трибун, - продолжал президент, обращаясь к зрителям, - вы разделяете славу и свободу нации, к которой принадлежите. Вы знаете, что правосудие возможно только при спокойном обсуждении дела. Национальный Конвент рассчитывает на вашу полную преданность отечеству и на ваше уважение к народному представительству. Парижские граждане, конечно, не упустят этого нового случая показать воодушевляющий их патриотизм. Им стоит только вспомнить страшное молчание, сопровождавшее Людовика при возвращении из Варенна<sup>2</sup>, - молчание, предвестник суда наций над королями".

Глубочайшая тишина царствовала в зале, когда был введен Людовик XVI. Указав ему на то самое кресло, в котором он приносил присягу на верность конституции, президент приступил к допросу. Он последовательно прочитывал каждый пункт обвинения и, выждав ответ обвиняемого, переходил к следующему.

Президент. “Людовик, французский народ обвиняет вас во множестве преступлений, совершенных с целью установить вашу тиранию на развалинах его свободы. 20-го июня 1789 г. вы посягнули на самодержавие народа, распустив собрание его представителей и разогнав их силою с места заседания. Это доказывается протоколом, составленным в версальской Зале Мяча членами Учредительного Собрания. 23-го июня, желая продиктовать нации свои законы, вы окружили войсками ее представителей, объявили им две королевские декларации, разрушающие всякую свободу, и приказали им разойтись. Эти посягательства подтверждаются вашими декларациями и протоколами Собрания. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Тогда не существовало законов, которые воспрещали бы мне эти действия”.

Президент. “Вы выслали войска против парижских граждан; ваши приверженцы пролили кровь многих из них. Вы удалили эти войска лишь тогда, когда взятие Бастилии и всеобщее восстание показали вам, что победа на стороне народа. Речи, с которыми вы обращались к различным депутациям Учредительного Собрания 9-го, 12-го и 14-го июля, обнаруживают ваши намерения, а избиение в Тюльери служит уликой против вас. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “В то время я был вправе высылать войска; но я никогда не имел намерения проливать кровь”.

Президент. “Пост этих событий, несмотря на обещания, данные вами 15 июля в Учредительном Собрании и 17-го в парижской ратуше, вы продолжали свою деятельность против национальной свободы. Вы долго уклонялись от проведения в исполнение декретов 11 августа, уничтожавших крепостную зависимость, феодальный режим и десятину; вы долгое время отказывались признать Декларацию Прав Человека; вы увеличили вдвое число лейб-гвардейцев и вызвали в Версаль фландрский полк; вы позволяли, чтобы во время оргий, происходивших на ваших глазах, попирались ногами национальная кокарда, водружалась белая кокарда и поносилось имя нации. Наконец, вы вызвали новое восстание и причинили смерть многих граждан; лишь после поражения вашей гвардии вы заговорили другим языком и возобновили вероломные обещания. Эти факты подтверждаются вашим замечанием. 18 сентября по поводу декретов 11 августа, протоколами Учредительного Собрания, версальскими событиями 5 и 6 октября и речью, с которой вы обратились в тот же день к депутации Учредительного Собрания, утверждая, что вы хотите руководиться его советами и никогда не расставаться с ним. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “По поводу двух первых пунктов я сделал замечания, которые считал справедливыми. Что касается кокарды, это неверно: в моем присутствии не происходило ничего подобного”.

Президент. “На празднике федерации 14 июля вы принесли присягу, но не сдержали ее. Вскоре вы сделали попытку подкупить общественное мнение через посредство Талона, который действовал в Париже, и Мирабо, который должен был возбудить контрреволюционное движение в провинциях. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Я не помню, что происходило в эту эпоху; но во всяком случае все тогдашние события предшествовали принятию мною конституции”.

Президент. “Вы израсходовали на подкуп целые миллионы и даже популярность хотели сделать орудием порабощения народа. Это подтверждается докладной запиской Талона, помеченной вашей рукой, и письмом к вам Лапорта от 19 апреля 1791 г., в котором, передавая вам содержание своей беседы с Риваролем, он сообщает, что миллионы, потраченные вами, не принесли никакой пользы. - Уже издавна вы замыслили бегство. 23 февраля Лапорт представил вам докладную записку, в которой развивал план побега; эта записка также помечена вами. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Я не знал большего удовольствия, как давать нуждающимся; это не имеет отношения ни к каким проектам”.

Президент. “28 марта толпа дворян и военных наводнила ваши покои в Тюльерийском дворце, с целью способствовать вашему бегству; 18 апреля вы намеревались покинуть Париж и уехать в Сен-Клу. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Это обвинение абсурдно”.

Президент. “Но сопротивление граждан показало вам, как велико было общее недоверие. Вы попытались рассеять его, сообщив Учредительному Собранию текст письма, с которым вы обратились к представителям нации при иностранных дворах; в этом письме говорилось, что вы свободно признали представленные им статьи конституции. И тем не менее, 21 июня вы бежали с подложным паспортом, оставив декларацию, направленную против тех же статей конституции; вы приказали министрам не подписывать никаких актов, исходящих от Национального Собрания, и запретили министру юстиции выдавать государственную печать. Народные деньги расточались без меры, чтобы обеспечить успех этой измены; она должна была совершиться под прикрытием войск Булье, на которого незадолго перед тем была возложена бойня в Нанси, и которому вы писали по этому поводу, советуя ему беречь свою популярность, так как она вам пригодится. Эти факты подтверждаются докладной запиской 23 февраля 1791 г., помеченной вашей рукой; вашей декларацией 20 июня, написанной целиком вами же; вашим письмом к Булье, от 4 сентября 1790 г., и запиской последнего, в которой он отдает вам отчет в употреблении 993.000 ливров, полученных от вас и отчасти израсходованных на подкуп войск, которые должны были вас конвоировать. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Я не имею никакого понятия о докладной записке 23 февраля; что же касается моей поездки в Варенн, то я ссылаюсь на заявление, сделанное мною в свое время комиссарам Учредительного Собрания”.

Президент. “После вашего ареста в Варение вы временно были отрешены от власти - и все-таки продолжали свои интриги. 17 июля Марсово поле облилось кровью граждан. Ваше собственноручное письмо к Лафайету, написанное в 1790 г., доказывает существование преступного соглашения между вами и Лафайетом, к которому присоединился и Мирабо<sup>3</sup>. При таких зловещих предзнаменованиях вы начали сеять раздоры; все виды подкупа были пущены в ход. Вы оплачивали пасквили, памфлеты и газеты, вводившие в заблуждение общество, дискредитировавшие ассигнаты и защищавшие интересы эмигрантов. Записи Септеяля<sup>4</sup> показывают, какие огромные суммы были потрачены на эти свобододобывательные деяния. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Событие 17 июля не имеет ко мне ни малейшего отношения; что касается всего остального, мне это совершенно неизвестно”.

Президент. “14 сентября вы притворно приняли конституцию и выразили твердое намерение поддерживать ее, - и, однако, вы старались уничтожить ее еще прежде, чем она была закончена. - 24 июля в Пильнице состоялся договор между Леопольдом Австрийским и Фридрихом - Вильгельмом Бранденбургским, которые обязывались восстановить во Франции абсолютную монархию; вы умалчивали об этом договоре до тех пор, пока он не стал известен всей Европе. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Я сообщил о пильницком договоре, как только узнал о нем сам; к тому же, все, что относится к этому предмету, по смыслу конституции, касается министра”.

Президент. “Арль поднял знамя восстания; вы оказали ему содействие отправкой трех гражданских комиссаров, которые своей деятельностью не препятствовали контр-революционерам; а, наоборот, потворствовали им. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Инструкции, которые находились при комиссарах, свидетельствовали о том, какого рода поручения были даны им; я не знал ни одного из них, когда они были предложены мне министрами”.

Президент. “Авиньон и графство Венессенское были присоединены к Франции. Вы привели в исполнение этот декрет лишь месяц спустя; а за этот промежуток страна была опустошена гражданской войной. Комиссары, которых вы посылали туда одного за другим, довершили ее разорение. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Я не помню, на сколько времени было отсрочено исполнение декрета; впрочем, этот факт не имеет отношения ко мне лично - он касается комиссаров и тех, кто посылал их”.

Президент. “В Ниме, Монтобане, Менде и Жалесе с первых же дней свободы происходили сильные волнения; вы не делали ничего для подавления этого зародыша контрреволюции до того момента, когда вспыхнул заговор Дюсальяна. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Я отдавал тогда все распоряжения, какие предлагались мне министрами”.

Президент. “Вы выслали двадцать два батальона против марсельцев, выступивших в поход для подавления контр-революции в Арле. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Чтобы ответить точно на этот вопрос, мне нужны документы”.

Президент. “Вы поручили начальство над войсками на юге Вигенштейну, который писал вам 21 апреля 1792 г., уже после того, как был отозван: “Еще немного, и я навсегда приведу к стопам Вашего Величества тысячи французов, которые снова станут достойны Ваших добрых пожеланий по отношению к ним”. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Это письмо было написано после его отзыва. С тех пор он не был на службе. Я не помню этого письма”.

Президент. “Вы содержали на жалованьи вашу бывшую лейб-гвардию в Кобленце - это подтверждается записями Септеяля; кроме того, несколько приказов, подписанных вами собственноручно, указывают, что от вас получали значительные суммы Булье, Рошфор, Лавоайсон, Шузель-Бонпре, Гамильтон, Госпежа Полиньяк. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Лишь только я узнал, что мои лейб-гвардейцы организуются по ту сторону Рейна, я приказал прекратить выдачу им жалованья; что касается всего остального, я не помню ничего подобного”.

Президент. “Ваши братья, государственные преступники, созвали эмигрантов под свои знамена; они набирали войско, заключали займы и вступали в союзы от вашего имени. Вы протестовали против этих действий лишь тогда, когда получили полную уверенность, что не можете повредить их проектам. Ваше соглашение с ними доказывается письмом, написанным рукою Людовика-Станислава-Ксавье<sup>6</sup> и подписанным обоими вашими братьями. Вот это письмо”:

“Я написал вам, но только почтой, и поэтому не мог ничего сказать. Нас здесь двое, но мы составляем одно целое, с одинаковыми чувствами, одинаковыми принципами, одинаковой готовностью служить вам. Мы храним молчание, ибо, нарушив его преждевременно, могли бы скомпрометировать вас; но мы заговорим, лишь только будем уверены в общей поддержке - и этот момент близок. Если к нам обратятся от имени этих людей, то мы не станем слушать; если от вашего имени - мы выслушаем, но не свернем с своего пути. Итак, если от вас потребуют какого-либо заявления по нашему адресу, то вы не стесняйтесь. Будьте уверены, что вы в безопасности; мы существуем лишь для того, чтобы служить вам, мы усердно работаем для вас, и все идет хорошо. Даже наши враги слишком заинтересованы в сохранении вашей жизни, чтобы совершить бесполезное преступление, которое окончательно погубило бы их самих. До свиданья. Л.-С.-Ксавье и Карл-Филипп”<sup>7</sup>.

Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Согласно требованиям конституции, я протестовал против всех предприятий моих братьев, лишь только узнал о них. Прочитанное письмо мне совершенно незнакомо”.

Президент. “Линейные войска, которые вы должны были поставить на военную ногу, к концу декабря состояли лишь из ста тысяч человек; таким образом, вы не позаботились о защите государства от внешних врагов. Ваш министр Нарбонн потребовал рекрутского набора в 50.000 человек; но вскоре он приостановил набор на 25.000, уверяя, что все готово. Однако, в действительности не было готово решительно ничего. Преемник его, Серван, предложил сформировать возле Парижа лагерь в 20.000 человек; Законодательное Собрание сделало соответствующее постановление, но вы отказались утвердить его. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Я сделал в министерстве все распоряжения, которые могли ускорить увеличение армии; в декабре прошлого года списки ее были представлены Собранию; если была сделана ошибка, то вина не моя”.

Президент. “В порыве патриотизма, граждане стекались к Парижу со всех сторон. Вы разослали предписание задерживать их; и, однако, наши армии нуждались в солдатах. Дюмурье, сменивший Сервана, заявил, что нация не располагает ни оружием, ни боевыми припасами, ни провиантом, что крепости не в состоянии выдержать осады. Вы продолжали медлить. Наконец, Законодательное Собрание запросило министра Лажара, какими средствами он думает обеспечить внешнюю безопасность государства; и только лишь этот запрос заставил вас предложить, через посредство министра, набор 42 батальонов.

“Вы поручили командирам войск дезорганизовать армию, возбуждать солдат к дезертирству и к переходу через Рейн, чтобы толкнуть их под знамена ваших братьев и Леопольда Австрийского, с которым у вас было соглашение; этот факт подтверждается письмом Тулонжона, начальствовавшего над войсками Франш-Конте. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Все это мне совершенно неизвестно; в этом обвинении нет ни слова правды”.

Президент. “Вы поручили своим дипломатическим агентам поддерживать коалицию иностранных держав и ваших братьев против Франции; вы особенно рекомендовали им укрепить мир между Турцией и Австрией, чтобы избавить последнюю от необходимости охранять свою границу с Турцией и таким образом дать ей возможность выдвинуть больше войск против Франции. Этот факт устанавливается письмом нашего посланника в Константинополе, Шуазеля-Гуфье. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Г. Шуазель сказал неправду: этого никогда не было”.

Президент. “Пруссаки приближались к нашим границам. 8 июля вашему министру был сделан запрос о состоянии наших политических отношений с Пруссией; и только после этого, 10 июля, вы ответили, что на нас идут 50.000 пруссаков, о чем вы и делаете формальное заявление Законодательному Собранию, согласно требованию конституции. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Я узнал об этом лишь в тот момент; вся корреспонденция проходила через руки министров”.

Президент. “Вы поручили военное министерство племяннику Калонна, Дабанкуру. Эта мысль увенчалась блестящим успехом: едва появился неприятель, как крепости Лонгви и Верден были сданы. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Я не знал, что г. Дабанкур - племянник г. Калонна; не я выводил войско из крепостей, я не позволил бы себе подобных вещей. Я ничего не знаю об этом, если действительно таковы факты”.

Президент. “Вы подорвали наши морские силы. Множество флотских офицеров эмигрировало; число оставшихся было едва достаточно для обслуживания сортов, и все-таки Бертран ежедневно выдавал паспорта. Когда Законодательное Собрание указало вам, 8 марта, на преступность его поведения, то вы ответили, что считаете себя вполне удовлетворенным его службой. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Я делал все от меня зависящее, чтобы удержать офицеров. Что касается г. Бертрана, то в виду того, что Национальное Собрание не заявляло против него никакого недовольства, которое могло бы подать повод к обвинению, я не нашел нужным сменить его”.

Президент. “Вы поддерживали в колониях абсолютный режим. Ваши агенты сеяли в них смуты и контрреволюцию, которая разразилась там как раз в то время, когда она должна была вспыхнуть и во Франции; эти обстоятельства достаточно показывают, что нити заговора сосредоточивались в ваших руках. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Если в колониях есть мои агенты, они сказали неправду: я не имел никакого отношения к тому, в чем меня обвиняют”.

Президент. “Фанатики разжигали волнения внутри государства; вы оказывали им покровительство, явно выражая намерение восстановить, при их по-Мощи, свою прежнюю власть. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Мне нечего на это отвечать: подобное намерение мне совершенно чуждо”.

Президент. “29 января Законодательное Собрание издало декрет против мятежных священников; вы наложили на него свое veto. чтобы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Конституция предоставляла мне свободу в утверждении декретов”.

Президент. “Смуты росли; министр заявил, что существующие законы не дают никакой возможности поразить виновных. Тогда Законодательное Собрание издало по этому поводу особый декрет; вы снова наложили на него свое veto. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик повторяет свой ответ на предыдущий вопрос.

Президент. “Анти-патриотический дух гвардии, которую дала вам конституция, заставил распустить ее. На следующий день вы письменно выразили ей свое удовлетворение. Вы продолжали содержать ее на жалованьи. Эта подтверждается отчетами казначея гражданского листа. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Я содержал гвардию лишь до тех пор, пока она могла быть реорганизована, согласно декрету”.

Президент. “Вы удерживали возле себя швейцарских гвардейцев; но конституция запрещала вам это, и Законодательное Собрание категорически приказало удалить их. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Я исполнял все декреты, изданные по этому поводу”.

Президент. “Вы содержали в Париже особые отряды, которые должны были совершать всякие операции, выгодные для ваших контрреволюционных целей. В числе ваших агентов находились Дангремон и Жилль; они получали жалованье из фондов гражданского листа. Вам будут представлены квитанции Жилля, которому была поручена организация отряда в 60 чел. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Я не имею никакого понятия о проектах, которые им приписывают; мне никогда не приходила в голову идея контрреволюции”.

Президент. “Вы хотели, посредством значительных сумм, подкупить некоторых членов Учредительного и Законодательного Собраний. Это подтверждается письмами Сен-Леона и других. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Некоторые лица действительно делали мне подобное предложение; но я их отклонил”.

Президент. “Какие именно лица делали вам эти предложения?”

Людовик. “Их проекты были так неопределенны, что я не припомню их в данный момент”.

Президент. “Кому вы обещали или давали деньги?”

Людовик. “Никому”.

Президент. “Вы унизили французскую нацию в Германии, Италии и Испании, не сделав ни малейшей попытки потребовать удовлетворения за все оскорбления, нанесенные французам в этих странах. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Дипломатическая корреспонденция должна доказать как раз противоположное; впрочем, все это касается министров”.

Президент. “10 августа, в 5 часов утра, вы произвели смотр швейцарцам- и швейцарцы первые стреляли в народ. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Я делал смотр всем войскам, собранным у меня в этот день; у меня были все установленные власти, департаментское правление, мер и члены муниципалитета; я пригласил к себе даже депутацию от Национального Собрания и затем отправился со своей семьей в залу его заседаний”.

Президент. “Зачем вы сосредоточили войска во дворце?”

Людовик. “Все установленные конституцией власти видели, что дворцу грозила опасность; будучи сам установленной властью, я должен был защищаться”.

Президент. “Зачем вы вызвали во дворец парижского мера, в ночь с 9 на 10 августа?”

Людовик. “В виду слухов, которые циркулировали в то время”.

Президент. “Вы проливали кровь французов. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “Нет, милостивый государь, это не я”.

Президент. “Вы поручили Септейлю сделать значительную закупку хлеба, сахара и кофе в Гамбурге<sup>8</sup>. Этот факт подтверждается письмом Септейля. Что вы имеете сказать в свое оправдание?”

Людовик. “То, о чем вы говорите, мне совершенно неизвестно”.

Президент. “Почему вы наложили veto на декрет о сформировании лагеря в двадцать тысяч человек?”

Людовик. “Конституция предоставляла мне полную свободу в утверждении декретов; кроме того, я одновременно предложил образовать лагерь в Суассоне”.

Президент (обращаясь к Собранию). “Вопросы исчерпаны. (Людовику Капету). Людовик, имеете ли вы еще какие-либо заявления?”

Людовик. “Я требую предъявления документов, на основании которых я обвиняюсь, и права выбрать себе защитников”.

Валазе (одним из секретарей) предъявляются Людовику следующие документы:

“Докладная записка Лапорта, подтверждающая контрреволюционные проекты со стороны Людовика Капета, Мирабо и некоторых других лиц”.

Людовик. “Я не признаю ее”.

Валазе. “Письмо Людовика Капета от 23 июня 1790г., подтверждающее его сношения с Мирабо и Лафайетом, имевшие целью уничтожение конституции”.

Людовик. “Я объясню содержание этого письма”.

Валазе читает письмо.

Людовик. “Это не более как проект; здесь нет и речи о контр-революции; письмо не предназначалось для отправки”.

Валазе. “Письмо Лапорта к Людовику Капету от 22 апреля, касающееся бесед по поводу якобинского клуба, президента комитета финансов и комитета государственных имуществ; дата проставлена рукою Людовика”.

Людовик. “Я не знаю этого письма”.

Валазе. “Письмо Лапорта от 3 марта 1791г., помеченное рукою Людовика Капета и сообщающее о предполагаемом разрыве между Мирабо и якобинцами”.

Людовик. “Я не признаю его”.

Валазе. “Письмо Лапорта, без даты, написанное его рукою и помеченное Людовиком Кадетом; оно содержит подробности о последних минутах Мирабо и о предосторожностях, которые были приняты во избежание огласки весьма важных документов, хранившихся у Мирабо”.

Людовик. “Я не признаю этого письма, как и других”.

Валазе. “Проект новой конституции или пересмотра существующей, подписанный Лафайетом и адресованный Людовику Капету 6 апреля 1790 г.; к проекту приписана строка рукою Людовика”.

Людовик. “Все это уничтожается в силу конституции”.

Валазе. “Знаком ли вам этот почерк?”

Людовик. “Нет”.

Валазе. “Признаете ли вы свое примечание?”

Людовик. “Нет”.

Валазе. “Письмо Лапорта от 19 апреля 1791 г., помеченное рукою Людовика Капета и упоминающее о беседе с Риваролем”.

Людовик. “Это письмо мне неизвестно”.

Валазе. “Письмо Лапорта от 16 апреля 1791 г., содержащее жалобы на Мирабо, аббата Перигора, Андре и Бомеца<sup>9</sup>, которые якобы не выказывают благодарности за понесенные для них жертвы”.

Людовик. “Оно мне также неизвестно”.

Валазе. “Письмо Лапорта от 23 февраля 1791 г., помеченное рукою Людовика Капета; к письму приложена докладная записка о способах доставить ему популярность”.

Людовик. “Ни тот, ни другой документ мне незнаком”.

Валазе. “Несколько документов без подписи, найденных в Тюльерийском дворце, в отверстии, проделанном в стене; в них говорится о расходах на приобретение популярности”.

Президент. “Прежде чем приступить к допросу по этому поводу, я сделаю предварительный вопрос. Признаете ли вы, что заказали сделать в Тюльерийском дворце шкаф с железной дверью и заперли в него бумаги?”

Людовик. “Я ничего не знаю об этом шкафе”.

Валазе. “Вот дневник, написанный рукою Людовика Капета и заключающий список пенсий, которые были им розданы из своей казны с 1776 г. по 1792 год; среди них значится вознаграждение Аклоку<sup>10</sup> за его деятельность в предместьях”.

Людовик. “Этот дневник я признаю, но в нем записаны только мои пожертвования с благотворительной целью”.

Валазе. “Записи различных сумм, выданных шотландским отрядам Ноэль-Граммона и Монморанси-Люксембурга, от 1 июля 1791 г.”.

Людовик. “Это было раньше, чем я запретил выдачу этих денег”.

Президент. “Людовик, где вы хранили эти документы, признанные вами?”

Людовик. “У моего казначея”.

Валазе. “Признаете ли вы ведомость расходов по содержанию лейб-гвардейцев, швейцарцев и королевских гвардейцев в 1792 г.?”

Людовик. “Нет, не признаю”.

Валазе. “Несколько документов по поводу заговора в Жалесе, оригиналы которых хранятся в секретариате департамента Ардеш”.

Людовик. “Они мне совершенно незнакомы”.

Валазе. “Письмо Булье из Майнца, содержащее расписку в получении от Людовика Капета 993.000 ливров”.

Людовик. “Это письмо мне неизвестно”.

Валазе. “Приказ о выдаче 16.800 ливров, подписанный Людовиком; на обороте подпись Бонньера; письмо и расписка того же Бонньера”.

Людовик. “Я не признаю их”.

Валазе. “Два документа, упоминающие о суммах, выданных г-же Полиньяк. Лавогюйону и Шуазелю”.

Людовик. “Не признаю и этих документов”.

Валазе. “Письмо за подписью двух братьев бывшего короля, вошедшее в обвинительный акт”.

Людовик. “Оно мне не знакомо”.

Валазе. “Документы, относящиеся к делу Шуазеля-Гуфье в Константинополе”.

Людовик. “Не имею о них понятия”.

Валазе. “Письмо бывшего короля к епископу Клермонскому, с ответом последнего от 16 апреля 1791 г.”.

Людовик. “Я не признаю его”.

Президент. “Вы не признаете своего почерка и своей подписи?”

Людовик. “Нет”.

Президент. “На письме печать с гербом Франции”.

Людовик. “Эта печать была у многих”.

Валазе. “Признаете ли вы эту квитанцию Жилля?”

Людовик. “Нет, не признаю”.

Валазе. “Докладная записка о прекращении выдачи военных пенсий из фондов гражданского листа; письмо Дюфрен-Сен-Леона по тому же поводу”.

Людовик. “Я не знаю ни одного из этих документов”.

Президент. “Можете удалиться”.

Поведение короля на допросе произвело самое невыгодное для него впечатление. Перед ним было несколько систем защиты - он выбрал наихудшую. Вместо того, чтобы держаться с гордым достоинством монарха, не признающего за подданными права судить его; вместо того, чтобы ответить открытым мотивированным сознанием политического деятеля, принявшего определенную программу для достижения своих целей; вместо того, чтобы заковать себя в непроницаемую броню молчания, от которой отскакивают все стрелы противника, - Людовик XVI предпочел систему запирательства. Он отрекся от своей подписи, от документов, писанных его рукой, от писем и счетов, адресованных ему и им же запертых в секретный шкаф, - словом, он вел себя, как обвиняемый, пойманный на месте преступления и в своем замешательстве отрицающий очевидное. Таким образом действий король еще более восстановил против себя Конвент и многочисленные толпы народа, присутствовавшие при допросе; он ожесточил даже многих из тех, в которых до сих пор возбуждал сострадание своими несчастиями. Силу этого ожесточения Людовик испытал уже на обратном пути в Тампль: всю дорогу ему вдогонку неслись звуки грозного припева Марсельезы: "Tyrans! qu'un sang impur abreuve nes sillons!"<sup>11</sup>...

Конвент разрешил королю выбрать себе защитников. Выбор Людовика остановился на двух известных парижских адвокатах, Тронше и Тарже. Первый принял предложение, не колеблясь; второй же малодушно отказался от опасной миссии, ссылаясь на свою старость и расстроенное здоровье. Взятен его добровольно предложил свои услуги бывший министр Людовика XVI, Ламуаньон-Мальзерб. Кроме того, был приглашен молодой юрист, по имени Десез. Согласно декрету 6 декабря, Людовик должен был через два дня после допроса явиться в Конвент в сопровождении своих защитников, чтобы быть выслушанным окончательно. Но жирондисты стали устремлять все усилия, чтобы продлить этот срок.

Процесс короля дал новую пищу борьбе двух главных партий Конвента. При своей резкой противоположности вообще, Гора и Жиронда расходились и в отношении к судьбе Людовика XVI. Между тем как монтаньяры понимали, что первым шагом для спасения Франции из кризиса должно быть быстрое решение процесса, жирондисты проявляли крайнюю нерешительность, и половинчатость. Они, разумеется, не оправдывали развенчанного короля; но, несмотря на все доказательства измены Людовика, они не решались осудить его. Верные своей посреднической роли, принятой ими со времени образования министерства Ролана, Клавьера и Сервана, жирондисты балансировали на зыбком мосту между крайней левой, требовавшей казни Людовика XVI, и крайней правой, стоявшей на точке зрения королевской неприкосновенности. Боязнь вызвать суровым приговором раздражение монархической Европы и усиление коалиции; нежелание брать на себя огромную ответственность, сопряженную с таким приговором; более или менее непосредственные побуждения гуманности и великодушия, отчасти навязанные жирондистам необходимостью оправдать их яростные нападки на "кровожадных" монтаньяров за сентябрьские убийства, - вот те мотивы, которыми объясняется поведение этих "государственных людей", по ироническому выражению Марата. Их тактика состояла в том, чтобы оттянуть, по возможности, решение дела, дискредитируя в то же время своих политических противников. Еще 4 декабря, на следующий день после того, как Конвент постановил судить Людовика XVI, один из лидеров Жиронды, Бюзо, внес предложение наказывать смертью всякого, кто захочет восстановить королевскую власть в какой бы то ни было форме. Последние слова недвусмысленно показывали, что предложение направлено против вождей Горы, которые неоднократно обвинялись жирондистами в стремлении к диктатуре. Кроме того, Бюзо отвлекал внимание Конвента от короля, ловко инсинуируя, что и после смерти Людовика республике будет грозить опасность со стороны врагов, скрывающихся в рядах народных представителей. Подобные диверсии, хотя и не вполне достигали цели, но все же вносили смуту, разжигали партийные страсти и замедляли ход процесса. После допроса короля, видя приближение развязки, жирондисты еще усерднее стали прибегать к своему приему. Прежде всего, они попытались увлечь Конвент в дебри судебных формальностей, предложив подвергнуть экспертизе документы, непризнанные королем, назначить вторичный допрос для предъявления Людовику вновь открытых и т. под. Но все эти попытки разбивались об энергическое сопротивление Горы, видевшей насквозь тактику жирондистов. Тогда последние пустили в ход новое средство. Они внесли через того же Бюзо предложение об изгнании с французской территории всех членов дома Бурбонов. Этот план, метивший в одного из депутатов Горы, герцога Орлеанского, по прозванию Эгалите<sup>1</sup>), преследовал двоякую цель: в случае удачи, он лишал партию монтаньяров одного из самых влиятельных ее членов; в случае неудачи, он показывал народу революционный пыл жирондистов и набрасывал тень на их противников, которые, по расчету Бюзо и его единомышленников, не могли не защищать Филиппа Эгалите. Жирондистам, действительно, удалось добиться изгнания Бурбонов. Но торжество их было непродолжительно: на следующий день исполнение декрета об изгнании было отложено до вынесения приговора Людовику XVI.



Вслед затем Конвент, по предложению Лежандра, постановил, что Людовик будет окончательно выслушан 26 декабря. Таким образом, хитро задуманные диверсии жирондистов были не в силах надолго отсрочить решение процесса короля.

1 В этот день председательствовал Барер.

2 Когда Людовика XVI везли через Париж, после бегства в Варенн, на пути его была повсюду расклеена следующая афиша: "Всякий аплодирующий королю будет избит палками; всякий оскорбивший его будет повешен!" Поэтому толпы народа, переполнявшие улицы, встречали его зловещим молчанием.

3 См. приложение I, b.

4 Казначей гражданского листа.

5 Видные роялисты и эмигранты. Шуазель-Бопре и Гамильтон принимали деятельное участие в организации бегства Людовика в Варенн. Герцогиня де-Полиньяк известна, как фаворитка Марии-Антуанетты.

6 Граф Прованский, будущий Людовик XVIII.

7 Младший брат Людовика XVI, граф д'Артуа, впоследствии Карл X.

8 Это странное, на первый взгляд, обвинение, становится понятным, если вспомнить тогдашний кризис в торговле и промышленности и общую ненависть к скупщикам и спекулянтам.

9 Члены Учредительного Собрания.

10 Офицер национальной гвардии, роялист, которому было поручено привлечь посредством подкупа на сторону Людовика население предместий.

11 "Тираны! пусть нечистая кровь оросит наши поля!.."

ПРОЦЕСС ЛЮДОВИКА XVI

Государственное издательство, Петербург, 1920

Орфография оригинала частично сохранена.

Веб-публикация: редакторы сайтов Vive Liberta и Век Просвещения ©

Начало: [http://vive-liberta.narod.ru/biblio/berk\\_1.htm](http://vive-liberta.narod.ru/biblio/berk_1.htm)

ГЛАВА V

Речь защитника

26 декабря Людовик XVI, в сопровождении своих трех защитников, снова предстал перед своими судьями. Десез, по поручению товарищей, выступил со следующей защитительной речью:

- "Граждане, представители нации, настал, наконец, момент, когда Людовик, обвиненный от имени французского народа, может высказаться перед самим же народом! Настал, наконец, тот момент, когда он, вместе с защитниками, которых дали ему человеколюбие и закон, может представить нации защитительную речь, продиктованную его сердцем, и показать ей, какими намерениями он всегда воодушевлялся! Уже молчание, царящее вокруг меня, свидетельствует о том, что на смену дням гнева и предубеждения пришел день правосудия, что этот торжественный акт - не пустая формальность, что храм свободы есть также и храм беспристрастия, послушного одному закону, и что человек, попавший в унижительное положение обвиняемого - кто бы он ни был - всегда может рассчитывать на внимание и участие даже со стороны своих обвинителей.

Я говорю: "человек, кто бы он ни был" - потому что, в самом деле, Людовик уже не более, как человек, и, притом, человек обвиняемый. Он потерял всякое обаяние, он бессилен, он не может больше возбуждать ни опасений, ни надежд; поэтому в настоящий момент вы должны относиться к нему не только с величайшей справедливостью, но даже - позволю себе заметить - с величайшей снисходительностью. Он имеет право на все сострадание, какого заслуживает беспредельное несчастье; и если, действительно, как выразился один знаменитый республиканец, невзгоды королей принимают в глазах всех, кто жил при монархическом режиме, более трогательный и священный характер, чем бедствия других людей, то тем более живое сочувствие должна возбуждать судьба человека, занимавшего самый блестящий трон в мире; мало того, это сочувствие должно возрастать по мере приближения развязки. До сих пор вы слышали только его ответы. Вы потребовали его сюда; он явился спокойно, мужественно, с достоинством; он явился, исполненный ощущения своей невинности, сильный утешительным сознанием своих намерений, которого не в состоянии отнять у него никакая человеческая сила. Опираясь, если можно так выразиться, на всю свою жизнь, он обнажил свою душу и раскрыл свои деяния перед вами и всей нацией; он посвятил вас даже в свои мысли. Но, отвечая вам при таком неожиданном вызове, опровергая без подготовки, без обдумывания совершенно непредвиденные им обвинения, так сказать, импровизируя свою защиту при допросе, возможность которого никогда не приходила ему в голову, - Людовик мог лишь заявить вам о своей невинности; но он не мог подтвердить ее, он не мог представить вам ее доказательства. Я, граждане, приношу вам эти доказательства, я приношу их народу, от имени которого обвиняется Людовик. Я хотел бы, чтобы в этот момент меня слышала вся Франция, чтобы эта ограда вдруг расступилась и вместила всех французов. Я знаю, что, обращаясь к представителям нации, я обращаюсь к самой нации. Но Людовик, конечно, вправе сожалеть о том, что масса граждан, которая находится под впечатлением падающих на него обвинений, не имеет возможности слышать его ответов, опровергающих эти обвинения. Важнее всего для него - доказать свою невинность: вот его единственное желание, его единственное помышление! Людовик знает, что вся Европа с тревогой ждет вашего приговора; но мысли его поглощены одной Францией. Знает он и то, что когда-нибудь потомство соберет все документы этого великого процесса между целой нацией и одним человеком; но он думает только о своих современниках, заботится лишь о том, чтобы вывести их из заблуждения. И мы, в свою очередь, стремимся лишь защитить его, ставим себе единственной целью его оправдание. Подобно ему, мы забываем о Европе, которая нас слушает, забываем о потомстве, решение которого уже назревает. Устремляя все свое внимание на настоящий момент, мы заняты исключительно судьбой Людовика и будем считать выполненной нашу задачу, если докажем его невинность.

Однако, граждане, не скрою от вас, что у нас всех, и особенно у меня, было, к сожалению, слишком мало времени для составления защитительной речи. В наших руках был богатейший материал, но мы могли просмотреть его лишь мельком. Нам пришлось потратить на классификацию относящихся к делу документов то время, которое было дано нам на их обсуждение; кроме того, у меня лично большая часть времени, предназначенного для редактирования речи, ушла на свидания с обвиняемым. Таким образом, на дело, которое, по своей важности, своей торжественности, своему блеску, своему значению для грядущих веков, достойно целых месяцев размышлений и усилий, - я мог уделить какую-нибудь неделю. Заклинаю вас, граждане, выслушать меня со всею снисходительностью, какой заслуживает наше уважение к вашему декрету и готовность вам повиноваться. Пусть же интересы Людовика не пострадают от вынужденных недомолвок его защитников; пусть окрыляет нас ваше правосудие, дабы можно было сказать, пользуясь прекраснейшим выражением римского оратора, что вы некоторым образом "внесли свою лепту" в нашу защитительную речь.

Мне предстоит длинный путь; но я постараюсь сократить его, разделив на части.

Если бы передо мной были только судьи, то я выдвинул бы лишь принципиальную сторону, ограничившись указанием, что с тех пор, как нация отменила королевскую власть, Людовик уже не подлежит суду. Но я обращаюсь также к самому народу, и Людовик, со своей стороны, слишком жаждет рассеять все внушенные народу предубеждения, чтобы отступить перед трудностью задачи и не взять на себя опровержения всех обвинений, которые выставляются против него.

Итак, я сперва установлю принципы, а затем приступлю к разбору фактов, упоминаемых в обвинительном акте.

Принцип неприкосновенности, установленный конституцией

“Я буду рассматривать здесь принцип с двух точек зрения: с той точки зрения, на которой стоял Людовик до отмены королевской власти, и с той, на которой он стоит после уничтожения этой власти.

Приступая к обсуждению данного вопроса, я прежде всего остановлюсь на декрете Национального Конвента о том, что он будет судить Людовика XVI. Мне не безызвестно, как хотели злоумышленники эти декреты, насколько, пожалуй, более пылкие, чем рассудительные умы. Я знаю, что, по их мнению, упомянутое постановление Конвента заранее лишало Людовика неприкосновенности, дарованной ему конституцией. Я знаю, что, по их словам, Людовик уже не может пользоваться этой неприкосновенностью, как средством защиты. Но это заблуждение, которое можно рассеять простым размышлением.

В самом деле, в чем состоял декрет Конвента?

Постановив, что Людовик предается его суду, Конвент решил лишь одно: что в процессе, возбужденном им против Людовика, судьей является сам же Конвент. Но, назначая себя судьей в этом процессе, Конвент в то же время постановил выслушать Людовика и, по-видимому, считал совершенно невозможным осудить его, не выслушав.

Но если Людовик должен быть выслушан, прежде чем осужден, то он имеет право защищаться от предъявленных ему обвинений всеми средствами, какие покажутся ему пригодными для этой цели; это право принадлежит всем обвиняемым, как таковым. Судья не вправе лишить обвиняемого хотя бы одного из его средств защиты; он может только оценить их по достоинству в своем приговоре. Следовательно, и сам Конвент по отношению к Людовику пользуется лишь этим правом; он оценит его защитительную речь, когда она будет представлена; но заранее он не вправе ни ослаблять, ни порицать ее. Если Людовик заблуждается в принципах, на которых построена его защита, - дело Конвента устранить их в своем приговоре. Но до тех пор он обязан его выслушать: этого требует как справедливость, так и закон.

Итак, я устанавливаю следующие принципы: нации самодержавны; они вольны вводить у себя какую угодно форму правления; они могут даже, обнаружив несовершенство ими же введенного режима, заменить его новым. Я не оспариваю этого права наций; оно неотъемлемо, оно признается нашей конституцией. И мне, вероятно, не нужно напоминать, что Франция обязана включением этого важного принципа в число своих основных законов усилиям одного из защитников Людовика, бывшего в то время членом Учредительного Собрания.

Но великая нация не может сама пользоваться своей верховной властью; она неизбежно должна верить ее уполномоченным. Необходимость такой передачи державных прав приводит нацию к учреждению либо королевской власти, либо республики. В 1789 г., в первый период революции, которая сразу изменила форму правления, господствовавшую у нас в течение стольких веков, вся нация объявила своим депутатам, что она желает монархического правительства.

Монархическое правительство требовало неприкосновенности своего главы.

Представители французского народа думали, что в стране, где исполнительная власть принадлежит одному лицу - королю, для того, чтобы он не встречал препятствий в своей деятельности или, встретив, мог преодолеть их, необходимо окружить его авторитетом, который заставил бы повиноваться требованиям закона; что он должен сдерживать в известных границах все второстепенные власти, которые стремились бы к нарушению или превышению их, подавлять или пресекать все страсти, направленные во вред общественному благу, бдительно следить за общественным порядком во всех областях, - словом, должен сосредоточивать в своих руках все пружины правительственного механизма в постоянно напряженном состоянии и не позволять ослабляться ни одной из них. Они думали, что для исполнения столь великих обязанностей монарх должен пользоваться огромной властью, а для свободного проявления этой власти он должен быть неприкосновенным.

Народные представители знали, что нации устанавливали неприкосновенность не для королей, а для самих себя; что это было сделано в интересах их собственного спокойствия, для их собственного счастья, сделано потому, что при монархическом режиме спокойствие беспрестанно нарушалось бы, если бы глава высшей власти не мог отражать щитом закона всех страстей и заблуждений, идущих в разрез с его планами.

Они возводили, наконец, в моральный и политический принцип ту мысль соседнего народа, что проступки королей никогда не могут быть личными; что, в виду их несчастного положения и окружающих соблазнов, даже преступления их должны объясняться посторонним внушением и что для самого народа, который поистине является неприкосновенным, гораздо лучше снять с них какую бы то ни было ответственность, хотя бы пришлось признать их безумными, чем подвергать их нападкам, которые могут лишь привести к великим потрясениям.

Эти-то идеи и были положены народными представителями в основу конституции, которой требовала от них Франция.

Открывая эту конституцию, я читаю в первой главе о королевской власти, что власть эта неделима и передается наследственно в царствующей династии, по мужской линии. Итак, я прежде всего устанавливаю, что королевская власть перешла к Людовику в силу наследственной передачи. Но тут возникает вопрос: какого рода была эта передача? Начинают спорить о том, носила ли она характер договора вообще и взаимно-обязующего в частности. Но все эти споры - одна игра слов.

Без сомнения, эта передача не относилась к числу таких договоров, которые не могут потерять силу без согласия обеих сторон. Очевидно, она представляла собою не что иное, как мандат, т.е. доверенность, выданную известному лицу на право пользования верховной властью, которая, будучи неотчуждаемой, в принципе оставалась за нацией, а значит - доверенность, отъемлемую по существу, как и все мандаты. Но это был договор в том смысле, что, поскольку он существовал и не был отменен, он обязывал, с одной стороны, доверителя к исполнению тех условий, на которых он был вручен, а с другой - уполномоченного, к исполнению тех условий, на которых он был принят.

Оставим же словопрения, касающиеся одних терминов, и констатируем прежде всего, что конституция, обязывая Людовика к верному выполнению августейшей функции, вверенной ему нацией, не могла установить для него ни других условий, ни других наказаний, кроме тех, которые значатся в самом мандате.

Посмотрим теперь, каковы наказания и условия, указанные в мандате.

2-я статья конституции гласит, что особа короля священна и неприкосновенна. Заметьте, что принцип неприкосновенности формулируется здесь абсолютно; нет ни одной оговорки, нарушающей его, ни одного исключения, изменяющего его, ни единого оттенка, ослабляющего его: он выражен в двух словах, ясно и безусловно.

Однако, в конституции имеются гипотезы, которые, не нарушая королевской неприкосновенности, ибо они уважают сан короля, пока он не отменен, предусматривают случаи, когда он может быть лишен этого сана и низложен с трона.

Первая из этих гипотез заключается в 5 статье: "Если по истечении месяца после приглашения Законодательного Собрания король не принесет этой присяги (присяги в верности нации и закону и в соблюдении конституции) или отречется от раз данной присяги, то он считается сложившим с себя власть". Здесь нация обязывает короля присягать ей на верность и исполнять данную присягу. Отречение от присяги есть, несомненно, преступление короля против нации. Конституция предусматривает это преступление; каким же наказанием оно карается? Это наказание состоит в том, что король считается сложившим с себя власть. Но, говоря о наказании, я выражаюсь неточно, ибо закон устанавливает вовсе не наказание в юридическом смысле этого слова; он не грозит ни преданием суду, ни низложением - это слово ни разу не упоминается в законе, - он делает лишь известное предположение и заявляет, что в этом случае король будет считаться отрекшимся от власти.

Здесь, законодатели, нельзя сказать, что дело не в словах.

Очевидно, из уважения к достоинству короля, конституция тщательно избегала оскорбить его даже термином; в виду этого, она старалась употреблять именно те, а не другие выражения. Как видите, она не учреждает судебной инстанции, не упоминает о суде, не произносит слова низложение. Ей казалось лишь необходимым, в интересах своей безопасности, предвидеть возможность измены, или хотя бы попытки на нее со стороны короля; в таком случае, говорит она, придется допустить, что король добровольно отказался от врученного ему мандата, и нация свободна взять его обратно.

Я знаю, что подобный предполагаемый отказ должен быть оглашен. Правда, конституция умалчивает о том, каким способом это должно быть сделано; однако, ясно, что право решающего голоса принадлежит здесь нации. Но как бы там ни было, это лишь фикция, которая и после своей реализации не есть, в сущности, наказание, а попросту совершившийся факт.

Я только что сказал, что конституция предусматривает отречение короля от присяги. Но король мог, не отрицая своей присяги, нарушить ее; он мог посягнуть на безопасность нации; он мог обратиться против нации властью, полученную им для ее защиты. Конституция предвидит и это преступление. Чем же она карает его?

6-я статья конституции говорит: "Если король станет во главе какой-либо армии и направит ее силы против нации, или если он не заявит формального протеста против подобного предприятия, которое велось бы от его имени, то он будет считаться сложившим с себя власть".

Заклинаю вас, граждане, обратить внимание на род преступления, предусмотренного законом: стать во главе какой-либо армии и направить ее силы против нации.

Более тяжкого преступления, конечно, нельзя себе представить, оно одно включает в себе все; в подготовительных своих стадиях оно предполагает все вероломство, все козни, все махинации, без которых невыполнима подобная затея; в своих последствиях оно сулит все ужасы, все бедствия и невзгоды кровавой междоусобной войны. И однако, чем грозит королю конституция? Предполагаемым отречением от власти.

Статья 7-я предусматривает тот случай, когда король покинет государство и ответит отказом на предложение Законодательного Собрания вернуться до истечения определенного срока. Какую же меру наказания устанавливает конституция? То же предполагаемое отречение от власти.

Наконец, 8-я статья (и эта последняя особенно важна!) гласит, что "после отречения, добровольного или предписанного законом, король вступает в класс граждан и подлежит обвинению и суду, наравне со всеми гражданами, за свои действия после отречения".

Мне нет надобности определять добровольное отречение. Отречение, предписанное законом, определяется вышеуказанными статьями. Таким образом, из последней статьи ясно, что король вступает в класс граждан лишь после того, как он добровольно отрекся от власти, или совершил одно из преступлений, за которыми следует предполагаемое отречение. Следовательно, король до того времени не входил в класс граждан.

А это значит, что раньше он пользовался особыми конституционными правами, абсолютно отличными от прав других граждан; источником этого привилегированного положения мог быть только закон, сообщавший ему священный характер неприкосновенности, которого он мог лишиться только после своего отречения, добровольного или предписанного законом.

И заметьте, что закон, который говорит, что король вступает в класс граждан после предписанного законом отречения от власти, только что сам приговорил его к отречению... за что? за величайшее злодеяние, какое может совершить король по отношению к нации, - за то, что он станет во главе армии и направит ее против нации, с целью покорить или поработить ее; и только после этого ужасного злодеяния закон объявляет его вступившим в класс граждан. Он, стало быть, не допускает и мысли, чтобы король, даже захваченный с оружием в руках, мог быть лишен жизни; он не находит возможным подвергнуть короля какой-либо другой каре, кроме отречения от власти.

Граждане, как поясняют друг друга сопоставляемые таким образом тексты конституции, какой свет проливают они на интересующий нас вопрос!

Но, я продолжаю. Король, вступивший в разряд граждан, может быть предан суду, как и всякий гражданин. Но за какие действия? За действия, совершенные после его отречения. Следовательно, за предшествующие действия он не может быть предан суду в том смысле, в каком обыкновенно употребляется это слово. За эти последние деяния он наказуется лишь предполагаемым отречением от трона. Вот все, что имела в виду конституция; и мы должны оставаться на ее почве.

Надо отметить, что в этом отношении закон не делает никакой разницы между Законодательным Собранием и королем. Законодательное Собрание также могло изменить нацию; оно могло злоупотребить вверенной ему властью; оно могло продлить эту власть сверх назначенного срока; оно могло посягнуть на народное самодержавие. В таких случаях нация несомненно имела право распустить вероломное Собрание; но конституция не устанавливает никакого наказания ни для всего Собрания, ни для отдельных его членов.

Перехожу к приложению этих принципов. К Людовику предъявлено обвинение; он обвиняется от имени нации во многих преступлениях. Одно из двух: или эти преступления предусмотрены конституцией, или не предусмотрены. Если они не предусмотрены конституцией, то вы не можете судить за них, ибо в таком случае не существует закона, который можно к ним применить; а вы знаете, что одно из священнейших прав человека состоит в том, что он может быть предан суду только на основании законов, изданных до совершения им преступления. Если же преступления Людовика предусмотрены конституцией, то они караются лишь предполагаемым отречением от власти.

Пойдем дальше. Я утверждаю, что они предусмотрены конституцией, ибо последняя предвидит самое ужасное преступление, заключающее в себе все прочие, а именно - ведение войны против нации со злоупотреблением ее же собственными силами. Какой бы смысл ни придавать этой формуле, она охватывает всё: все предательства, какие мог бы совершить Людовик с целью уничтожения конституции, которую он обещал поддерживать, сводятся, в сущности, к войне против нации. А эта война в переносном смысле гораздо более ужасна, чем пожары, избиения и опустошения, неразлучно связанные с настоящей войной. И что же! Все эти преступления закон карает только лишь предполагаемым отречением от трона.

Я знаю, что теперь, когда нация отменила королевскую власть, она уже не может приговорить короля к отречению. Нация, разумеется, имела право уничтожить королевскую власть; она могла изменить форму правления во Франции. Но было ли в ее власти изменить участь Людовика? Могла ли она отнять у него право требовать применения лишь того закона, который он сам признал над собою? Могла ли она выйти за пределы договора, которому он подчинился? Разве Людовик не имеет права сказать нам:

“Когда собрался Конвент, я был пленником нации. Вы могли решить тогда же мою участь, вместо того, чтобы сделать это теперь. Почему же вы не решили ее? Вы отменили королевскую власть; я не отрицаю за вами этого права. Но если бы вы отложили этот акт национальной воли и начали с обвинения и суда надо мною, то вы могли бы применить ко мне только одно наказание: отречение от власти. Почему же вы не начали с этого? Разве то, что вы сделали, могло отнять у меня мое право? И вправе ли были вы сначала уничтожить конституцию, а затем указывать мне, что она уже не существует? Как! желая наказать меня, вы хотите лишить меня плодов конституции только потому, что сами же ее уничтожили! Вы хотите наказать меня, и, не имея права присудить меня к желательной вам мере наказания, вы вводите новую, отличную от той, которой я подчинился заранее! Вы хотите наказать меня и, не зная соответствующего закона, придумываете специальный закон для меня одного! Конечно, теперь нет власти равной вашей; но есть одно право, которое вам не принадлежит, - это право быть несправедливым!”...

Граждане, я не знаю возражений на эту защитительную речь.

Однако, возражения приводятся. Говорят, что нация, в силу своего суверенитета, вправе карать совершенные против нее преступления и другими мерами, кроме установленных конституцией. Но меня крайне удивляют люди, позволившие себе высказать подобную двусмысленность. Нация могла ввести у себя известную конституцию; она имеет полное право изменять свою конституцию: это право вытекает из сущности ее самодержавия. Но она не могла бы сейчас сказать, не вызывая бури негодования во всем мире: “Я не хочу исполнять закона, который ввела у себя, несмотря на свою торжественную клятву соблюдать его все время, пока он будет существовать”. Влагать в уста нации такие речи, это значит подозревать ее честность и предполагать, что конституция была лишь предательской ловушкой со стороны представителей французского народа!

Далее, мне говорят, что если преступления, в которых обвиняется Людовик, не упоминаются в конституции, то отсюда можно заключить только то, что его должно судить на основании принципов естественного или политического права. На это возражение я дам двоякий ответ. Во-первых, было бы чрезвычайно странно, если бы король не пользовался законным правом каждого гражданина - правом быть судимым только на основании закона и не подлежать никакому произвольному суду. Во-вторых, утверждение, будто преступления, в которых обвиняют Людовика, не упоминаются в конституции, - ложно.

В самом деле, в чем, собственно говоря, обвиняется Людовик? В том, что он изменил нации, содействуя всеми зависящими от него средствами успеху попыток, клонившихся к уничтожению конституции. Это преступление, очевидно, предусмотрено вторым пунктом 6-й статьи, который касается тех случаев, когда король непротиводействует предприятиям, ведущимся от его имени. Но если даже преступление, указанное в первом пункте той же статьи, а именно ведение войны против нации во главе неприятельской армии - преступление гораздо более тяжкое, чем предыдущее - карается только предполагаемым отречением от власти, то можно ли налагать более суровое наказание за менее серьезное преступление?

Поискем наиболее правдоподобные среди выставленных возражений; я желал бы рассмотреть все.

Не буду останавливаться на том возражении, что Людовик уже судился во время восстания. Чувство и разум одинаково протестуют против положения, уничтожающего всякую тень свободы и справедливости, - положения, которое ставит на карту жизнь и свободу каждого гражданина и противоречит самой природе восстания. В самом деле, я не стану разбирать признаков, которыми отличаются законные восстания от незаконных, национальные от частичных; но я утверждаю, что по своей природе восстание есть внезапное и резкое сопротивление гнету, жертвой которого считает себя восстающая сторона, и что, как таковое, оно не может быть сознательным движением, а следовательно, не может и выносить приговоров. Я утверждаю, далее, что у нации, обладающей конституционными законами, восстание есть не что иное, как апелляция к этим законам и требование закономерного суда. Я утверждаю, наконец, что всякая конституция - республиканская или иная, которая не покоится на этой основе и придает только восстанию, независимо от его природы и цели, характер, свойственный исключительно самому закону, - что такая конституция есть не более как здание, построенное на песке, которое будет снесено при первом признаке нового веяния в народе.

Оставляю в стороне и другое возражение, которое сводится к тому, что королевская власть-преступление, ибо она является узурпацией. В таком случае преступной была бы нация, которая сказала: Предлагаю тебе королевскую власть, и в то же время решила мысленно: Я накажу тебя за то, что ты ее принял.

Нам указывали еще, что Людовик не может ссылаться на конституцию, которую он сам же нарушил. Но, прежде всего, тут предполагается, что он нарушил конституцию, а я намерен доказать противное. Кроме того, конституция сама же предусматривает нарушение ее и карает его одной только мерой: предполагаемым отречением от трона.

Иные высказывали здесь тот взгляд, что Людовика надо судить, как врага. Но уж это ли не враг-человек, ставший во главе армии против своей собственной нации! А между тем - мне приходится снова подчеркивать это обстоятельство, так как о нем постоянно забывают - конституция предвидела этот случаи и установила соответствующее наказание.

Другие находят ли, что личность короля неприкосновенна лишь для каждого гражданина, в отдельности, но что между народом и королем не существует естественных отношений. Но если так, то и республиканские должностные лица не вправе требовать для себя гарантий, выраженных в законе. Стало быть, представители нации более неприкосновенны для народа за то, что они сказали или сделали в качестве таковых?.. Что за непостижимая система!

Наконец, мы слышали, что если и не существует специального закона, применимого к Людовику, то таким законом должна быть воля народа.

Граждане, вот мой ответ. У Руссо я читаю следующие слова: "Там, где я не вижу ни закона, которым должно руководиться, ни судьи, которому принадлежит решающий голос, я не могу апеллировать к общей воле; общая воля, как таковая, не может вынести решения ни по поводу известного лица, ни по поводу факта"<sup>1</sup>.

Подобный текст не нуждается в комментариях.

Я прекращу на этом длинный ряд возражений, которые появлялись в печати; как видите, они отнюдь не опровергают моих принципов. Помимо того, мне кажется, что какие бы аргументы ни приводились против неприкосновенности, установленной конституцией, из них можно вывести только одно из двух: либо закон не следует понимать в буквальном смысле, либо его не следует исполнять.

На первый пункт я отвечу следующее. В 1789 г., при обсуждении данного закона в Учредительном Собрании, выставлялись всевозможные затруднения и возражения, которые повторяются теперь. Этого факта отрицать невозможно: о нем свидетельствует вся тогдашняя пресса, доказательства же его в руках у всех. И, несмотря на это, закон был принят в таком виде, как он внесен в конституцию. Стало быть, в другом смысле его понимать нельзя; а следовательно, нельзя допускать никаких толкований, при помощи которых хотя бы изменить или отменить цель закона, нельзя ограничивать установленную им абсолютную неприкосновенность, сводя ее к неприкосновенности относительной.

В ответ на второй пункт я скажу, что если бы даже закон о неприкосновенности был нелепым, бессмысленным, гибельным для национальной свободы, то и в таком случае следовало бы исполнять его до тех пор, пока он не будет отменен, - потому что его признала сама нация, принимая конституцию, потому что тем самым она оправдала своих представителей, даже за их возможные ошибки, потому, наконец, - и против

этого уж нечего возразить - что она поклялась исполнять его все время, пока он будет в силе. Нация, разумеется, может объявить хоть сейчас, что она не хочет больше монархического правительства, так как существование его немыслимо без неприкосновенности его главы; она может отвергнуть монархический режим именно из-за этой неприкосновенности; но она не может уничтожить ее за то время, когда Людовик занимал конституционный трон. Пока Людовик был королем, он являлся неприкосновенным; падение монархии ничего не меняет в его положении; из этого факта следует лишь то, что к нему можно применить только предполагаемое отречение от власти; но по тому самому к нему нельзя применить другого наказания.

Итак, я прихожу к заключению, что, где нет соответствующего закона, там не может быть и суда; а где не может быть суда, не может иметь места и вынесение приговора.

Я говорю о приговоре! Но не забывайте, что если вы отнимаете у Людовика королевскую неприкосновенность, то вы обязаны, по крайней мере, признать за ним право гражданина; ибо, я думаю, вы не можете устроить так, чтобы Людовик перестал быть королем, когда вы предаете его суду, и в миг снова превратился в короля, когда вы будете выносить ему приговор.

Но если вы хотите судить Людовика, как гражданина, то, спрашиваю вас, где те гарантии, на которые имеет безусловное право каждый гражданин?

Я спрашиваю вас, где то разделение властей, без которого невозможна ни конституция, ни свобода?

Я спрашиваю вас, где присяжные, эти своего рода заложники, которые даются гражданину законом, в виде гарантии его безопасности и невинности?

Я спрашиваю вас, где столь необходимое право кассаций, которое поставлено законом над враждой и страстями, дабы заглушить их голос?

Я спрашиваю вас, где та пропорция голосов, которую мудро установил закон для отмены или смягчения приговора?

Я спрашиваю вас, где тайное голосование, которое заставляет судью сосредоточиться, прежде чем вынести приговор, и которое заключает, так сказать, в одной урне и его мнение, и свидетельство его совести?

Одним словом, я спрашиваю вас, где все священные предосторожности, принятые законом для того, чтобы каждый гражданин, даже виновный, мог понести кару только на законном основании?

Граждане, скажу вам с откровенностью, достойной свободного человека: я ищу среди вас судей, а вижу лишь обвинителей!

Вы хотите решить участь Людовика - и вы же сами его обвиняете!

Вы хотите решить участь Людовика - и заранее уже вынесли свой приговор!

Вы хотите решить участь Людовика - а между тем ваши мнения уже разносятся по всей Европе!

Неужели же Людовик - единственный из французских граждан, для которого не существует никакого закона, никакой гарантии? За ним не признают ни прав гражданина, ни прерогатив короля! Он не воспользуется преимуществами ни прежнего своего положения, ни нового! Какая странная, какая непостижимая судьба!

Но я не буду останавливаться на этих размышлениях, предоставляю их вашей совести. Я не хочу защищать Людовика только с принципиальной точки зрения; напротив того, я надеюсь рассеять возникшие предубеждения насчет его намерений и его характера. Итак, приступаю к обсуждению фактов, перечисленных в вашем обвинительном акте.

Этот акт я разделю на две части: я начну с обзора фактов, предшествовавших принятию конституции, а затем перейду к последующим фактам.

### **Фактическая сторона**

#### **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Факты, предшествовавшие принятию конституции**

“Граждане, в своем обвинительном акте вы восходите к июню 1789 г.; обратимся к этой эпохе.

Как могли вы обвинить Людовика в намерении распустить Национальное Собрание 20 июня?

Разве вы забыли, что он сам созвал это Собрание? Разве вы забыли, что в продолжение более полутора столетия короли, ревностнее его охранявшие свою власть, постоянно отказывались созвать народных представителей, что у него одного хватило на это мужества, что он один решился искать советов и утешений среди своего народа, не боясь его требований? Разве вы забыли все жертвы, понесенные им еще до созыва этого великого Национального Собрания, забыли все, что урезал он от своего могущества, чтобы прибавить к нашей свободе, забыли, с каким живейшим удовольствием смотрел он, как мы пользовались драгоценным благом, которое он сам даровал нам? Граждане, мы далеки теперь от того момента; он слишком изгладился из нашей памяти. Мы не думаем о том, чем была Франция в 1789 г., как господствовал тогда абсолютизм, какой благоговейный трепет внушал он; мы не помышляем о том, что без великодушного побуждения этого государя, против которого возвышается теперь столько голосов, не была бы даже созвана нация! И неужели вы полагаете, что тот самый человек, в уме которого самопроизвольно родилась эта смелая и благородная мысль, мог задумать через какой-нибудь месяц нечто совершенно противоположное!

Вы ставите ему в вину июльские волнения, сосредоточение войск вокруг Парижа, передвижение этих войск. Я мог бы ответить на это, что Людовик тогда уже доказал, насколько он был чужд приписываемых ему намерений. Я мог бы сказать вам, что войска были стянуты вокруг столицы лишь для защиты самой столицы от агитаторов; что войска эти получили приказ не только не подавлять волнений со стороны граждан, но даже, наоборот, останавливаться перед ними; что я сам видел этот приказ, когда имел случай защищать начальника этих войск Безенваля, обвиненного в оскорблении нации и вскоре оправданного ею.



Но у меня есть лучший ответ - и ответ этот продиктован мне самой нацией: я вижу, как 4 августа вся нация провозглашает Людовика восстановителем французской свободы, просит его присоединиться к ней для выражения взаимной благодарности Высшему Существо и вотирует медаль, чтобы увековечить память об этой великой эпохе.

Вы обвиняете Людовика в вызове фландрского полка в Версаль: но его вытребовали муниципальные чиновники.

По поводу оскорбления, нанесенного национальной кокарде, Людовик уже ответил вам, что если этот возмутительный факт имел место, то он произошел в его отсутствие и без его ведома.

Что касается его замечаний о декретах 11 августа - они были подсказаны Людовику его совестью. Как мог он тогда не пользоваться свободой мнения о декретах, если впоследствии нация, дала ему право приостанавливать самые декреты!

Вы ставите ему в вину события 5 и 6 октября. Граждане, Людовику подобает тут лишь один ответ: не напоминать этих событий.

Я, со своей стороны, предпочитаю напомнить вам прекрасный порыв Людовика к Национальному Собранию 4 февраля и ответный порыв Собрания по отношению к Людовику<sup>2</sup>.

Я предпочитаю напомнить вам, что в июле того же года народные представители сами поставили Людовика во главе национальной федерации; такой блестящий знак доверия, конечно, показывает их мнение о нем.

Вы говорите, что после этой федерации Людовик пытался влиять на общественное мнение подкупом; что у него найдены записки, из которых видно, что Талону было поручено агитировать в Париже, а Мирабо - поднять контрреволюционное движение в провинциях; что найдены, сверх того, письма его казначея, где упоминается о розданных деньгах, которые будто бы ни к чему не привели; вы выставляете эти записки и письма, как улики. Граждане, я могу ответить вам на это с нескольких сторон.

Прежде всего, если бы я защищал в суде обыкновенного обвиняемого, то сказал бы, что документы, приобретенные путем вторжения в его жилище, не могут служить уликой против него. Я заметил бы, что даже при наложении печати на бумаги обвиняемого опись их производится всегда в его присутствии. Я прибавил бы, что в противном случае злонамеренным лицам и врагам обвиняемого ничего не стоило бы вложить туда тайком компрометирующие его документ и убрать те, которые могли бы оправдать его. Наконец, я указал бы, что без этой священной гарантии, требующей присутствия обвиняемого при составлении описи его конфискованных бумаг, честь и свобода каждого гражданина ежедневно висели бы на волоске.

Эту защитительную речь, которую я мог бы произнести в пользу всякого обвиняемого, я вправе, конечно, произнести и в пользу Людовика. В его жилище насильно вторглись; его шкафы были взломаны, его письменные столы вскрыты, большая часть его бумаг разбросана или растеряна; они не были взяты под охраной закона; не было наложено печатей; не было составлено описи в присутствии Людовика; в суматохе, сопровождавшей вторжение, некоторые бумаги могли быть затеряны или похищены, - в том числе те, которые разъяснили бы документы, служащие уликой; словом, Людовик не присутствовал ни при конфискации, ни при рассмотрении своих бумаг, а, следовательно, он имеет право не признавать их, и в то же время никто не имеет права предъявлять ему их в качестве улики.

Однако, посмотрим, что это за документы.

Во-первых, это письма покойника<sup>3</sup>. Но разве письмами покойника можно пользоваться, как уликой? Если бы лицо, которому их приписывают, было еще в живых, то даже против него эти письма могли бы послужить уликой лишь после сличения с его почерком. Тем менее можно выставлять их, как улику, против другого лица; тем менее можно ставить их в вину Людовику.

Говорят, что в этих письмах идет речь о денежных тратах. Но если бы даже этот факт - которого не объясняют письма - подтвердился; если бы и нашлись, люди, злоупотребившие благотворительностью Людовика; если бы, прикрывшись честными намерениями, соблазнив Людовика перспективой доброго дела, они вырвали у него более или менее крупные суммы, если бы и так, - то разве мы не знаем, с каким искусством приближенные обманывают королей? Разве короли знают правду? Разве они не окружены вечно ловушками? Разве мало людей, беспрестанно стремящихся присвоить себе их власть или их казну? И неужели, по вашему, можно считать короля уличенным в подкупе только потому, что назойливым интриганам удалось вызвать или, вернее, вынудить его щедроты?

Говорят о докладной записке, адресованной Людовику, в которой будто бы упоминается, что Мирабо готов поднять контрреволюционное движение в провинциях. Но разве король ответствен за все записки, адресованные ему? Разве он в состоянии проверить все их сообщения? Как несчастна была бы судьба королей, если бы на них падали все подозрения, к которым могут подать повод обращенные к ним требования! Граждане, Мирабо, в продолжение своей общественной деятельности, пользовался популярностью, которую можно назвать огромной. Эта популярность пережила его. Теперь нападают на его память; но один голос возвышается его защиту<sup>4</sup>; подождем же, пока нация выслушает и произнесет свой суд.

В сущности, все эти письма, записки, все эти документы - что собственно говорят они против Людовика? Они не содержат ничего предосудительного для него лично; в них нет ни тени доказательства того, что он принял какие-либо проекты или планы, которые ему предлагались. Заметки на полях указывают только дату и имя автора, из них совершенно не видно отношение Людовика; и, несомненно, - если вы позволите мне сослаться на общественное мнение, - одной его репутации испытанной честности достаточно, чтобы снять с него всякое обвинение, способное запятнать ее.

По поводу письма, будто бы написанного Людовиком Лафайету, где он предлагал последнему вступить в соглашение с Мирабо, я замечу, прежде всего, что это, по-видимому, был только проект и что в действительности письмо написано не было. Помимо того, Мирабо и Лафайет были в то время двумя популярнейшими общественными деятелями; оба они горячо стремились к конституции и свободе, оба пользовались большим влиянием на умы. Людовик предлагает им войти в соглашение; с какой целью? Для блага государства - вот подлинное выражение письма. В чем же тут преступление?

Вы ставите в вину Людовику письмо к генералу Булье, от 4 сентября того же 1790 года. Но тут Людовику незачем даже оправдываться; он последовал лишь примеру народных представителей. 3 сентября Национальное Собрание вотировало одобрение Булье за славное исполнение долга<sup>5</sup>. Людовик, в свою очередь, написал ему на следующий день, убеждая его продолжать служение нации в том же духе. Как же можно порицать его за то, что он думал и поступал так, как поступали и думали сами народные представители?

Вы требуете у него отчета в сборище, имевшем место в Тюльери 28 февраля 179 г. Но в этом сборище не Людовик виновен; оно было вызвано смутными слухами. Некоторые горячие головы, вообразив, что он находится в опасности, собрались вокруг него. Людовик не мог предупредить их рвения, но он поспешил, по крайней мере, сдержать его: он заставил их сложить принесенное оружие и сам же первый рассеял тревожные опасения, которые могли возникнуть в народе. Вы обвиняете его в поездке в Варенн. Но Людовик уже объяснил в свое время ее мотивы Учредительному Собранию, и мне остается, подобно ему, сослаться на эти показания<sup>6</sup>.

Вы требуете от него отчета в крови, пролитой 17 июля на Марсовом поле. Граждане, из всех ваших упреков, этот, может быть, для него самый тяжелый. Как! вы обвиняете его в кровопролитии на Марсовом поле! Вы хотите, чтобы эта кровь пала на его голову! Но разве вы забыли, что в тот ужасный момент несчастный король был отрешен от власти и содержался под строжайшим надзором в своем дворце, в плену у нации, без всякого сообщения с внешним миром? Где же была у него возможность строить заговоры? Что мог он сделать?

Наконец, вы обвиняете его в выдаче субсидий на распространение пасквилей, с целью совратить общественное мнение и оказать содействие эмигрантам.

Я вскоре перейду к вопросу об эмигрантах, и мне нетрудно будет доказать, что Людовик никогда не имел намерения содействовать им или защищать их интересы.

Что касается пасквилей, то я должен отметить, что квитанции по поводу этих изданий были найдены не у королевского казначея, как здесь утверждали, а у его секретаря; что последний даже не был известен Людовику и что, разумеется, на Людовика нельзя возлагать ответственность за намерения низших служащих или за те злоупотребления, которые они могли совершить при исполнении своих служебных обязанностей. Но если бы даже Людовик - не для совращения общественного мнения, а для обращения его на путь истины - и поступал так, как поступали с противоположной целью столько мятежников, то и в таком случае в чем могли бы вы упрекнуть его?

Теперь нация декретировала республику; но в то время общественное мнение было против нее. Наоборот, республиканцы считались бунтовщиками; такие взгляды господствовали еще в июле текущего года, когда Законодательное Собрание единогласно высказалось против республики<sup>7</sup>. Нация хотела конституции; следовательно, можно и даже должно было писать в ее защиту. Людовик, в качестве главы правительства, получившего свою власть от конституции, обязан был охранять и поддерживать ее. У него, естественно, могло явиться желание повлиять на общественное мнение, и если при осуществлении представленных ему планов, которые казались ему вполне приемлемыми, другие извратили его намерения или употребили во зло его доверие, если без его ведома распространялись опасные взгляды и порицались разумные и полезные, - то его надо жалеть, надо скорбеть об участи королей; но порицать его нет оснований.

Граждане, вот первая часть вашего обвинительного акта. Я разобрал все указанные в ней факты и доказал, что их нельзя вменить в вину Людовику. И тем не менее, я еще не произнес слова, которое одно могло бы стереть все его заблуждения и ошибки, ее ли бы они действительно были совершены: я не упомянул о том, что после всех этих событий он принял конституцию.

В самом деле, одного этого слова достаточно, чтобы ответить на все.

Конституция была новым договором между нацией и Людовиком. Этот торжественный договор не мог быть заключен без взаимного и абсолютного доверия. Он уничтожал всякое облачко между королем и нацией. Прошлое умерло; все подозрения исчезли, все раздоры улеглись, все предубеждения рассеялись; словом, все было забыто или изглажено. Итак, больше незачем упоминать о событиях, предшествовавших принятию конституции.

Перейдем теперь к обзору последующих фактов.

#### ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Факты, последовавшие за принятием конституции

“Я разделю их на две категории: факты, за которые Людовик лично не ответствен, и которые касаются только его агентов, данных ему самой конституцией, и факты, относящиеся к нему лично.

Прежде всего, я устраню из моего поля зрения все факты, ответственность за которые падает на министров.

Было бы, конечно, крайне несправедливо возлагать на Людовика вину за ошибки его министров, или даже за ложные шаги с их стороны. Конституция вовсе не требовала от него такого поручительства; она, напротив того, установила ответственность министров, чтобы освободить от нее короля. Только министрам говорила она, что нация требует у них отчета во всем, что будет сделано против нее, а также и в том, чего

не будет сделано в ее интересах; им одним угрожала она мстью за всякое посягательство на безопасность нации или на ее законы. Но к королю конституция не обращалась с подобными угрозами; она не предъявляла ему заранее обвинений, не устанавливала для него наказания. И тем самым она уже ограничивала его власть: король не мог сделать ни шагу без министров; приказ, подписанный им одним, не имел силы; закон требовал постоянной гарантии в виде подписи его агента. Неудивительно, поэтому, что он освобождался от всякой ответственности. Никто, стало быть, не имеет права обвинять одновременно короля и министров в одних и тех же проступках.

Но даже те пункты обвинительного акта, которые относятся к министрам, при ближайшем рассмотрении оказываются совершенно необоснованными.

#### § 1. Факты, касающиеся министров.

“Так, например, Людовика обвиняют в том, что он сообщил о Пильницком договоре только тогда, когда о нем уже знала вся Европа.

Но, во-первых, Пильницкий договор - тайный трактат, заключенный между императором австрийским и королем прусским. Условия этого трактата были мало известны в Европе; правительство не получило о нем никакого положительного сообщения; оно не имело даже определенного доказательства его существования и знало о нем только из писем и нот французских посланников при иностранных дворах. Следовательно, не было никаких государственных соображений, которые побуждали бы исполнительную власть заявить о трактате - пока еще тайном - Национальному Собранию, все заседания которого были публичными<sup>8</sup>.

Во-вторых, хотя правительство не могло заявить о договоре, который был еще под сомнением, Национальному Собранию, но оно немедленно сообщило о нем своему дипломатическому комитету. Я сошлюсь на архив министерства иностранных дел: он удостоверит, что первые же документы, полученные правительством по поводу Пильницкого договора, были переданы дипломатическому комитету; он покажет, что в эпоху, когда спорным было даже существование этого договора, а тем более возможность его исполнения, в дипломатическом комитете уже были о нем сведения: у меня имеются доказательства этого факта. Таким образом, министр, на которого нападали за это мнимое запоздание, и который теперь не в состоянии оправдаться, так как его уже нет в живых, очевидно, был обвинен совершенно незаслуженно.

Людовика упрекают также по поводу комиссаров, посланных в Арль, говорят, что они больше заботились о содействии контрреволюционерам, чем об их усмирении. Но Людовик как нельзя лучше ответил на это при допросе. Он сказал, что о намерениях правительства надо судить не по действиям этих комиссаров, а по инструкциям, которые были им даны. Вы ничего не имеете против этих инструкций, а, следовательно, вам не в чем упрекнуть и правительство, Вы обвиняете еще Людовика в том, что он задержал на месяц декрет, который Венесенское графство с Авиньоном присоединилось к Франции. Граждане, с тем же упреком Законодательное Собрание обращалось к министру Делессару; это был один из пунктов возбужденного против него обвинения, которое предполагалось повергнуть на верховный суд нации. Делессара уже нет; он погиб в тот момент, когда готовил свою реабилитацию перед Европой<sup>9</sup>; он сам заявил, что эта реабилитация, над которой он работал в тюремном заключении, не оставит ни малейшего сомнения в его невинности. Неужели вы снова хотите поднять против его памяти обвинение, рассеять которое помешала ему смерть?

Вы ставите в вину Людовику беспорядки в Ниме, волнения в Жалесе, заговор Дюсальяна. Но разве Людовик обязан отвечать за все бури, которых не могла не вызвать столь великая революция? Немыслимо вообще, чтобы в стране, где меняется образ правления, не происходило волнений; и особенно трудно было ожидать, чтобы они не поднялись на юге Франции, где умы, пылкие от природы склонны бросаться во всякие движения, куда стараются их увлечь. Людовику приписывают стремление содействовать этим беспорядкам; то обстоятельство, что принцы, его братья, имели сношения с Дюсальяном, подало повод подозревать и за ним такие же связи, - но это заблуждение. О нем можно судить уже по документам, предъявленным Людовику; в них, между прочим, идет речь о полномочиях, данных Дюсальяну для заключения, от имени принцев, займа в сто тысяч эку. А между тем ясно, что если бы Людовик покровительствовал заговору, и он не довел бы заговорщиков до необходимости занимать такую сумму, и что в этом случае он оказал бы им более активную поддержку.

В действительности, по мере того, как сведения о волнениях на юге доходили до правительства, оно немедленно сообщало их Национальному Собранию, и все рекомендуемые последним меры для подавления беспорядков приводились в исполнение. Это лучше всего доказывается тем фактом, что упомянутые волнения уже давно прекратились и что они были усмирены именно силами и средствами правительства.

Далее, в связи с теми же беспорядками, Людовику вменяется в преступление письмо, написанное ему главнокомандующим на юге Вигенштейном, уже после того, как он был отозван Людовику. Отсюда заключают, что Людовик, отозвав его, продолжал пользоваться его услугами. Но ведь он не мог помешать Вигенштейну написать письмо после отставки; сверх того, он заявил, что совершенно не помнит подобного письма, которое цитируется лишь по запискам, якобы принадлежащим названному генералу. Единственное, что мог тут сделать Людовик, - это не давать Вигенштейну нового назначения, и, действительно, тот после отставки никакого назначения не получал. Здесь упоминали о начальстве Вигенштейна над войсками в Корсике; но это неверно. Говорилось также о назначении Вигенштейна в Северную армию; этого, по-видимому, желал Лафайет, как надо полагать по проекту письма, найденному в канцелярии военного министерства. Но факт таков, что это письмо никогда отослано не было, и что Вигенштейн, который со времени своей отставки до самой смерти жил в Париже, ни разу не получил назначения.

Людовику ставят в вину отчеты Нарбонна о состоянии армии, представленные им Национальному Собранию. Но я напомним вам, что по выходе Нарбонна в отставку Национальное Собрание постановило выразить этому министру, который один был ответствен за подведомственные ему действия правительства, уважение и сожаление от имени нации.

Людовика обвиняют в том, что он уничтожил флот и не сместил министра Бертрана, несмотря на представления по этому поводу Национального Собрания. Я отвечу на это, что Бертран постоянно лично опровергал взводимые на него обвинения, и что, пока Национальное Собрание не обвинило его официально, Людовик был вправе доверять ему.

Людовику ставят в вину беспорядки в колониях. Оправдывать его в этом, мне кажется, нет надобности.

Он обвиняется в том, что слишком поздно сообщил об открытии враждебных действий со стороны прусской армии. Но Людовик уже объяснил на допросе, что он сообщил об этом Национальному Собранию, как только сам получил достоверные сведения; доказательства можно найти в архиве министерства иностранных дел.

Его обвиняют в сдаче Лонгви и Вердена. Но Лонгви сдали сами жители; что касается Вердена, то кто, если не Людовик, назначил его комендантом героического Борепера, который предпочел смерть сдаче?

Людовика упрекают в том, что он допустил унижение французской нации в различных европейских государствах. Мой ответ будет краток. Я требую, от имени Людовика, чтобы навели справки в министерстве иностранных дел; эти справки докажут, что каждый раз, когда до правительства доходил слух об оскорблении, нанесенном французам при одном из европейских дворов, оно немедленно требовало удовлетворения. Недостаток времени помешал сделать эти справки нам самим; но Людовик утверждает, что доказательства существуют.

Наконец, Людовик обвиняется в том, что, вопреки запрещению конституции и декрету Национального Собрания, он удержал при себе свою швейцарскую гвардию.

Но это обвинение опровергается следующими фактами:

Декретом 17 сентября 1791 г. Учредительное Собрание постановило просить короля о немедленном представлении проекта реорганизации бывшего швейцарского полка. В то же время, принимая во внимание достойное всяких похвал поведение этого полка, Собрание решило, что он будет содержаться на прежнем основании до тех пор, пока не будет сделано нового постановления об его назначении и роде службы. В силу этого декрета, швейцарские гвардейцы продолжали содержаться на прежнем положении. - 15 июля 1792 г. Законодательное Собрание издает декрет, предписывающий исполнительной власти удалить в течение трех суток линейные войска, находившиеся в парижском гарнизоне. В тот же день издается новый декрет, которым повелевается дипломатическому комитету представить доклад об условиях договора со швейцарцами. 17 июля получается письмо д'Афри по поводу приказа удалить полк швейцарских гвардейцев; он указывает на условия договора, которые пока еще не были отменены. Появляется новый декрет, приказывающий, в ожидании отчета дипломатического комитета, временно вывести два батальона швейцарского полка на расстояние тридцати тысяч сажень от столицы. Д'Афри, поставленный между швейцарским договором и видимой волей Собрания, снова обращается к последнему 4 августа с представлением по поводу его декрета. Собрание вотирует переход к очередным делам. Декрет приводится в исполнение.

Граждане, таковы факты, касающиеся министров. Людовик мог бы совсем не отвечать на подобные обвинения, именно потому, что они относятся к министрам. И в самом деле, будь все инкриминируемые действия бесспорны, будь они предосудительны, далее преступны, - Людовик все-таки не обязан отвечать за них. Но, делая беглый обзор всех этих фактов, я имел в виду доказать французскому народу, что даже там, где закон не требовал от Людовика, никаких гарантий, он всегда вел себя так, как будто его гарантия была обязательна.

Перехожу к фактам, которые можно считать относящимися к нему лично.

## § 2. Факты, касающиеся лично Людовика.

«И тут, недостаток времени вынуждает меня быть кратким. Я отвечу, однако, на все упреки, обращенные к Людовику, отвечу, правда, не так обстоятельно, как этого требует защитительная речь, охватывающая столько различных пунктов, но, во всяком случае, я надеюсь вполне опровергнуть все эти обвинения.

Повторяю еще раз: если бы Людовика не думали о себе, они думали бы об одном Людовике. Мы прекрасно понимаем, что в процессе, на который устремлены тревожные взоры всей Европы, в процессе, который разбирается представителями нации, заслужившей своими подвигами удивление всех других, и потому представляет богатую пищу для всевозможных душевных волнений, - что здесь нужны прения, так сказать, не менее грандиозные, чем самое дело. Но мы поставили себе задачей просветить народ, наставить его на путь истины, рассеять внушенные ему предубеждения; мы хотим убедить его одной лишь силою фактов и, добровольно отказываясь от всяких ораторских приемов, приносим лишнюю жертву Людовику; и Европа, без сомнения, сумеет оценить эту жертву!

Прежде всего, на Людовика нападают за его отказ санкционировать декрет о сформировании лагеря близ Парижа и декрет о священниках.

Я мог бы, конечно, заметить, что конституция предоставляла королю полную свободу в утверждении декретов и что, даже допуская предосудительность мотивов, побудивших Людовика отказать в санкции декрета о лагере, никто не имеет права требовать у него отчета в этой ошибке, и еще того менее - вменять ее в преступление. Но оставим в стороне это соображение, пусть Людовик сделал ошибку, я утверждаю, тем не менее, что его отказ основывался на разумных мотивах: он опасался усилить волнения. Декрет о лагере

возбудил тревогу в национальной гвардии; общественное мнение в столице расколосось; значительная часть жителей, казалось, одобряла декрет, другая, еще большая, порицала его; в самом совете были разногласия. Среди всех этих волнений Людовик счел благоразумным отказать в санкции декрета. Но в то же время он решился на меру, которая, сохраняя преимущества этого декрета, была свободна от его неудобств. Он образовал Суассонский лагерь, который имел весьма важное значение для нации, так как он оказал огромные услуги французской армии; лагерь же в Париже фактически был бы совершенно бесполезен.

Что касается декрета о священниках, то вы знаете, граждане, что совесть нельзя насилловать; а утверждение этого декрета было бы со стороны Людовика насилуем над своей совестью. Он мог, разумеется, ошибаться, но и самая его ошибка была добродетельна; порицая, если угодно, ее последствия, нельзя не я уважать, по крайней мере, ее источника.

Припомните памятный день 20 июня и посмотрите, с каким мужеством Людовик отстаивал свое убеждение! Сколько монархов, на его месте, отступили бы перед явной опасностью! Но Людовик слушал голос своей совести, а не страха; он продолжал сопротивляться, и если что-либо может оправдать его отказ в глазах самых ярких его обвинителей, то это именно, дерзну я сказать, настойчивость самого отказа.

Не думайте, впрочем, что мнение Людовика относительно декрета о священниках было изолированным, что оно не разделялось ни одним из его советников; напротив того, в тот же день 20 июня министр Мург писал ему, что упомянутый декрет "не соответствует ни его принципам, ни его склонностям".

Далее, по поводу священников, против Людовика выставляют присланный ему из Рима мемуар, в котором папа предъявляет притязания на Авиньон. Но разве Людовик мог помешать папе прислать ему этот мемуар, и разве он совершил преступление, получив его?

Ему указывают также на письмо его к епископу Клермонскому в 1791 г., в котором выражается готовность восстановить, при первой возможности, католический культ. Но, ведь, это чисто-религиозное мнение, а следовательно, мнение свободное. Свобода совести возвещается в конституции; о гражданском устройстве духовенства там, наоборот, не упоминается; притом Людовик писал еще до принятия конституции.

Людовик мог, впрочем, признать конституцию, не считая ее безупречной; он даже открыто высказал такой взгляд. Он мог рассчитывать на легальные реформы; но от надежды на проведение легальных реформ еще очень далеко до разрушительных стремлений.

Людовика обвиняют в том, что, несмотря на постановление Национального Собрания о распусчении его гвардии, он продолжал содержать ее.

Граждане, мне представляются здесь несколько ответов.

Начну с того, что Людовик, бесспорно, имел право отвергнуть декрет, предписывавший ему распустить гвардию, которая была дана ему самой конституцией и не могла быть отнята без его согласия. Однако, по требованию Национального Собрания, он все-таки отдал соответствующее распоряжение. Но так как декрет Собрания давал Людовику право реорганизовать свою гвардию, образовав ее отчасти из тех же лиц, то ему приходилось, впредь до реорганизации, выдавать гвардейцам жалованье в прежнем размере. Это было одновременно актом гуманности и справедливости. Людовик обязан был поступить так по отношению к тем гвардейцам, которые могли и должны были снова войти в гвардию; он обязан был сделать это и по отношению к другим, так как эти последние не были преданы суду. Притом он вовсе не действовал тайком: его распоряжение было опубликовано.

Говорят, что некоторые из этих гвардейцев были известны, как плохие патриоты. Но, во-первых, по этому поводу не было никаких индивидуальных и положительных данных. Во-вторых, их нельзя было считать виновными, пока они не были преданы суду. Наконец, в-третьих, те, виновность которых была бы доказана, не вошли бы в состав реорганизованной гвардии; но до тех пор было бы варварством со стороны Людовика отказывать им в помощи, так действительно им необходимой.

Далее, Людовик обвиняется в поддержке эмигрантов; он обвиняется в сношениях с братьями; он обвиняется в содействии, через своих посланников, образованию коалиции иностранных держав против Франции; он обвиняется, наконец, во вредном влиянии на Венский кабинет. Законодатели, я объединяю эти факты, так как все они входят в один и тот же пункт обвинения, - и отвечаю на них одновременно.

Прежде всего я должен заметить, что Людовик, в течение всей своей правительственной деятельности, самым энергичным образом боролся с эмиграцией; он боролся с ней не только посредством воззваний к нации, но и путем сношений с границей. Я сошлюсь по этому поводу на архивы министерства иностранных дел и совета министров; недостаток времени не позволил произвести розыски нам лично, но там должна быть масса доказательств в нашу пользу. Приведу, во всяком случае, один замечательный факт, который подтверждается документами из архива министерства иностранных дел.

В ноябре 1791 г. эмигранты хотели закупить во Франкфурте пушки и другие военные припасы, но получили отказ от населения этого города. Людовик узнал об этом от своего резидента. Он немедленно обратился к последнему через своего министра с приказанием поблагодарить от его имени франкфуртский магистрат за его тактичное поведение в этом случае, и предложить ему удвоить бдительность, чтобы помешать эмигрантам приобрести во Франкфурте оружие и припасы.

Вот все, что касается общественной деятельности Людовика.

Теперь обратимся к его личным поступкам.

Здесь говорили о материальной поддержке эмигрантов. Граждане, вы не найдете ни одного настоящего эмигранта, которому Людовик оказывал бы денежную помощь.

Правда, он поддерживал своих племянников, с тех пор, как отец их был лишен возможности содержать их сам. Но у кого хватит мужества упрекнуть его в этом? Когда отец их покинул Францию, одному из его племянников было только одиннадцать лет, другому - четырнадцать; можно ли считать эмигрантами детей в таком возрасте, последовавших за отцом? Кроме того, в ту эпоху еще не было закона, определяющего возраст по отношению к эмиграции, - такой закон был издан только Национальным Конвентом. Наконец, со времени декрета, по которому имущества эмигрантов конфисковывались в пользу нации, племянники Людовика остались без всяких средств к жизни, - и это были его племянники. Так неужели Людовику возбранялось платить дань природе? И неужели потому только, что он был королем, ему следовало убить в себе всякие родственные и даже человеческие чувства?

Он сделал кое-какие подарки гувернантке своих детей; но то была гувернантка его детей, и, к тому же, покинувшая Францию с 1789 г.

Он сделал также подарок одному из своих воспитателей, Шуазелю-Бопре; но Шуазель выехал в Италию с самого начала революции и никогда не подымал оружия против Франции.

Он оказывал помощь Рошфору, который упоминается в обвинительном акте, но Рошфор - не эмигрант.

Он переслал известную сумму Булье; но сумма эта была ассигнована на поездку в Монмеди.

Он сделал денежный подарок Гамильтону; но справедливость требовала вознаградить последнего за убытки, понесенные им во время путешествия в Монмеди и оказавшиеся для него непосильными.

Нам говорят, что Булье передал Monsieur, по приказанию Людовика, полученные им от последнего шестьсот с чем-то тысяч ливров. Но тут недоразумение является плодом чисто стилистической двусмысленности. Счет, посланный Булье, гласит: передано Monsieur, брату короля, по его приказанию. Приказание, очевидно, исходило не от Людовика, а от Monsieur; происшедшая здесь ошибка объясняется обычаем прибавлять к имени Monsieur слова; "брат короля". Но в действительности (и это было бы доказано, если бы нам сообщили прилагаемые к счету Булье документы, среди которых должен был находиться приказ Monsieur), в действительности, говорю я, - и Людовик подтверждает это, - он никогда не оказывал Monsieur никакой денежной помощи. Все, что было сделано им в этом направлении - это уплата старого долга его младшего брата, в размере 400.000 ливров; но за этот долг Людовик поручился, и никто, надеюсь, не найдет странным, что он не нарушил своего обязательства.

Итак, все щедроты, которые ставят в вину Людовику, делают только честь; его сердцу, и ни одна из них не может набросить тени на его принципы.

Людовика обвиняют в воздействии на Венский кабинет; в доказательство приводится письмо Дюмурье<sup>10</sup> к Monsieur, в котором первый будто бы говорит о Бретейле, как о лице, имеющем некоторое влияние при Венском дворе, и выражает предположение, что Бретейлю известна воля короля. Но, во-первых, речь идет о письме Дюмурье; Дюмурье же, правда, был агентом принцев при иностранных дворах, но отнюдь не агентом Людовика; стало быть, его мнение тут не важно. Во-вторых, это мнение, само по себе, нисколько не доказывает того, что Бретейль действительно знал волю короля, как полагал Дюмурье. Наконец, допустим, что утверждения Дюмурье достаточно, чтобы установить этот странный факт; но где же тут доказательство, что воля короля, которая остается совершенно невыясненной, носила преступный характер?

К чему ведут подобные обвинения, основанные на письмах? Об этом можно судить по следующему примеру. Против Людовика выставляют письмо Шуазеля-Гуфье, из которого видно, что последний старался скрепить союз между Австрией и Турцией; из того факта, что Шуазель был посланником Людовика, выводится заключение, что второму можно приписывать проекты первого. Но чтобы ответить на это обвинение, достаточно упомянутого письма Шуазеля.

В самом деле, это письмо доказывает два обстоятельства: во-первых, что за два месяца до своей отставки Шуазель предлагал принцам свои услуги и не получил от них никакого ответа. Это подтверждается первой фразой: "Хотя я не получил от Ваших Высочеств приказаний, которых испрашивал уже два месяца тому назад, но я надеюсь, что Ваши Высочества соизволят принять выражения моей глубокой преданности".

Во-вторых, письмо доказывает, что через три дня после своей отставки Шуазель-Гуфье возобновил предложение своих услуг принцам и стал строить различные планы против национального посланника, назначенного на его место. Это ясно из следующей фразы: "Три дня тому назад я получил извещение о моем отозвании; из него я узнал, что заместителем моим назначен г. де-Семонвилль... планы этого национального посланника весьма недвусмысленны, и Ваши Высочества слишком хорошо осведомлены, чтобы не предвидеть гибельных последствий возложенных на него переговоров".

Итак, писал Шуазель; действовал Шуазель; он же, будучи уже отозван Людовиком, предлагал свои услуги принцам; он же, несмотря на свою отставку, старался удержаться на своем посту, - а виновным во всем этом оказывается Людовик!

Далее, Людовику предъявляют, как улику, записку, найденную, как уверяют нас, в его бумагах и написанную якобы рукою Monsieur от имени обоих братьев. Людовик уже заявил, что он не может ни признать, ни отрицать подлинность этого документа. Но, во всяком случае, это-дело его братьев, а не его самого. Кроме того, инкриминируемая записка доказывает, что Людовик не находился в сношениях с братьями: в ней нет никакого намека ни на предшествующую переписку, ни на будущую. Наконец, последняя фраза записки показывает, что она относится к той эпохе 1791 г., когда Людовик был отрешен от власти; как видите, одной этой даты уже достаточно, чтобы помешать выводить из нее какие бы то ни было заключения.

Я не буду останавливаться на обвинении в "важном заговоре", которое имели смелость предъявить Людовику, утверждая, что доказательства его находятся в бумагах Септеяля. Вы сами оценили по достоинству это обвинение - вы не внесли его в обвинительный акт, а высказали его лишь в форме вопроса; но, поставив Людовику этот вопрос, вы должны были видеть его изумление.

Обстоятельство, подавшее повод к этому возмутительному обвинению, в сущности, чрезвычайно просто. Людовик, как и все его предшественники, имел в своем распоряжении особый фонд на дела благотворительности. В 1790 г. он доверил его Септейлю, еще раньше, чем тот был назначен королевским казначеем. Септейль, не желая быть заподозренным в личном заимствовании из этих сумм, поместил их на время в процентных бумагах. От времени до времени он давал в них отчет Людовику; выдача денег производилась по чекам, за подписью последнего. Таковы факты; верность их подтверждается Людвигом, и в бумагах Септейля нет ни одного документа, который бы их опровергал. Эти бумаги обнаруживают лишь спекуляцию, совершенную Септейлем на свой собственный риск, в марте текущего года, и состоявшую в закупке разных товаров и перепродаже их за границу. Заявление, опубликованное Септейлем, устанавливает не только непричастность к этой операции кого бы то ни было, кроме него самого, но даже существование особых записей для капиталов Людовика; записи эти также должны быть найдены в бумагах Септейля, хотя нам они сообщены не были.

Я коснусь лишь в нескольких словах так называемых контрреволюционных отрядов, которые будто бы содержались Людвигом в Париже, с преступными целями. Людовик никогда не снисходил до таких мелочей; никогда, по его собственному заявлению, он не преследовал контрреволюционных целей. Министры, конечно, могли пожелать ознакомиться с состоянием Парижа; они могли содержать в нем разведчиков; они могли требовать от них отчета в настроении парижского населения; они могли субсидировать полезные газеты. Но все это, повторяю, относится к министрам, а не к Людовику; к тому же и министры не могли руководиться в своей деятельности другими видами, кроме конституционных.

Перехожу к обвинению в подкупе некоторых членов Законодательного Собрания.

Людовик обвиняется в том, что он хотел провести путем подкупа декреты о ликвидации придворного штата и о пенсиях гражданского листа. Я позволю себе заметить вам, законодатели, что вы сами не поверили этому. Вы не поверили ни тому, чтобы нашелся хоть один депутат, способный продаться за деньги, ни тому, чтобы сам Людовик был способен на подобный поступок. Да и, кроме того, какой интерес для Людовика представлял подкуп?

Стоимость ликвидации королевского штата, по вычислению члена Учредительного Собрания, Монтескью, определялась в 30 миллионов; в Законодательном Собрании она была оценена Камбоном в ту же сумму. Интендант гражданского листа также определял эту стоимость в 30 миллионов. Но у него был свой план: он предлагал, чтобы те чины королевского штата, которые останутся на службе, внесли в государственную казну 10 миллионов, в виде залога, проценты с которого будут выплачиваться гражданским листом; таким образом, стоимость ликвидации сводилась к 20 миллионам. Этот план был принят также комиссаром, производившим ликвидацию. Его намеревались провести и в Национальном Собрании. Но что в нем было особенно выгодного, чтобы для его успеха не остановились перед подкупом? Он сокращал на десять миллионов стоимость ликвидации королевского штата; он облегчал на десять миллионов расход национальной казны; он возлагал на гражданского лист уплату процентов с этой суммы. В чем же тут заключалась материальная выгода для Людовика? Говорят, что комиссар, производивший ликвидацию, требовал 50.000 ливров. Но эта сумма не предназначалась ему лично; она должна была пойти на канцелярские издержки, неизбежные при столь значительной ликвидации.

Что касается ликвидации пенсий, то проект декрета, насколько нам известно, делил эти пенсии на три разряда. Пенсии за службу в королевской гвардии подлежали ликвидации; подлежали ей и все пенсии, которые жаловались предшественниками Людовика за службу в качестве королевской прислуги; наконец, пенсии, выдававшиеся прислуге самим Людвигом или покойной королевой, возлагались на гражданского лист. Этот-то проект декрета, который-де избавлял гражданского лист от множества пенсий, лежавших на нем раньше, и вызвал подозрение в подкупе. В доказательство приводится письмо королевского интенданта, написанное будто бы Септейлю, где говорится, что декрет должен обойтись в полтора миллиона ливров, и что эта сумма необходима ему к следующему дню. Я мог бы спросить прежде всего, подлинно ли это письмо, точно ли оно написано королевским интендантом, и им ли адресовано к Септейлю? Я мог бы спросить, позволительно ли теперь, когда самого интенданта уже нет в живых, ссылаться на письмо, подлинность которого не была им признана; вправе ли вы толковать в предосудительном для его памяти смысле фразу, которую он, может быть, объяснил бы иначе, если бы был жив; можно ли, наконец, видеть в ней доказательство подкупа? Я мог бы спросить... но к чему подобные соображения, когда я могу ответить одним словом?

Факт таков, что из самих же документов, предъявленных Людовику, видно, что он один помешал представить этот проект декрета на обсуждение Национального Собрания. А если так, то неужели, по вашему, он позволил себе всякие преступные махинации для обеспечения успеха пресловутого декрета, а потом сам же воспротивился его проведению?

И какой мотив мог бы побудить его добиваться интригами подобного декрета? Не говорю уже ни о его характере, которому противна всякая низость, ни о невозможности допустить, что члены Национального Собрания способны были содействовать таким интригам. Я говорю только о его выгоде; но где ж она? Если Людовик действительно хотел избавиться от пенсий, которые обременяли его гражданского лист, то кто ему мешал? ему стоило лишь прекратить их выдачу! Разве он не предпочел бы эту меру всякой иной? Разве ему не было бы удобнее совершить акт произвола, чем прибегать к средству, которое могло компрометировать его? Если человек способен на преступный подкуп, могущий повредить ему, то не способен ли он тем более на несправедливый отказ, не представляющий для него никакой опасности? Словом, я понимаю подкуп, который делается в личных интересах; возможность его, к несчастью, доказывается нам человеческим сердцем. Но подкуп, предоставляющий своему виновнику один позор, подкуп, вся выгода которого достается другому, - такой подкуп, признаюсь, для меня совершенно непостижим.



Людовику предъявляют еще одно обвинение, которое в первый момент огласки должно было вызвать в народе сильное брожение и показаться ему крайне важным. Его обвиняют в том, что он продолжал содержать на жалованьи в Кобленце свою распущенную лейб-гвардию.

Рассматривая это обвинение, я не колеблюсь заявить вам, законодатели, что оно и на меня произвело самое удручающее впечатление. Я осмелился, прежде чем стал защитником Людовика, заподозреть его чистосердечие, я усомнился в чистоте его намерений; доказательства казались мне столь убедительными, документы столь ясными, выводы из них столь очевидными, что оставалось только отказаться от моего прежнего мнения и придти к тому, которое напрашивалось само собою. И что же! я каюсь в ошибке: защита Людовика открыла мне глаза, и я намерен здесь, перед лицом Франции, дать ему торжественное удовлетворение, которого он вправе требовать. Одно краткое, но решающее замечание прольет свет на это дело

Никто из вас, конечно, не забыл, что все опубликованные по этому поводу документы относятся к октябрю 1791 г. Посмотрим теперь, что писал 24 ноября того же года интендант гражданского листа его казначею:

“Милостивый Государь! Король намерен продолжать выдачу жалованья офицерам и солдатам лейб-гвардейского полка до тех пор, пока Его Величество не решит их дальнейшую судьбу. Но король приказывает больше не выдавать всего жалованья целиком генеральному штабу, а устроить так, чтобы впредь каждый офицер или солдат получал отдельно свое жалованье в кассе гражданского листа, по предъявлении квитанции или доверенности, вместе с удостоверением об его проживании в пределах государства. Этот приказ относится также к офицерам и другим лицам, служившим во французской гвардии, которым выдача жалованья еще продолжается. Затем уведомляю, вас, что Его Величество желает прекратить к июлю уплату каких бы то ни было издержек на лейб-гвардию, за исключением жалованья и расходов по содержанию лошадей”.

Мне незачем, законодатели, комментировать подобный текст. Как видите, он уничтожает всякую тень обвинения, несчастной жертвой которого является Людовик.

Однако, сколько зловещих мыслей породило это обстоятельство! Все документы, лежащие в основе обвинения, получили самую широкую огласку; о Людовике распространили ложные слухи по всей Франции; о нем разгласили по всей Европе. А между тем документ, которого вполне достаточно для его оправдания, остается в неизвестности! Мало того. Бумаги королевского интенданта были конфискованы. Подлинник приказа, полученного им от Людовика и переданного Септейлю, должен был находиться среди них; он не мог не сохранить этого документа; и тем не менее, по странной прихоти злого рока, в его бумагах находят все, что угодно, за исключением этого приказа!

По счастью для Людовика, он не забыл ни письма, ни его даты. Он просит разыскать свой приказ, добивается его точной копии и, таким образом, может представить его перед лицом всей Европы!

Судите теперь, граждане, по характеру этого обвинения обо всех прочих!

Судите, какое преимущество было бы на стороне Людовика, если бы его бумаги не были захвачены путем вторжения в его жилище; если бы он мог лично присутствовать при их разборе; если бы он мог потребовать документы, которые должны были находиться среди предъявленных ему; и главное, если бы он мог предъявить все те документы, которые совершенно изгладилась из его памяти!

Судите, с какой силой отразил бы он тогда все ваши нападки, если сумел отразить их даже без этих документов! Сколько удовлетворительных разъяснений дал бы он вам! Каким ярким светом озарил бы он все эти темные обвинения, которые могли стуситься только лишь благодаря наброшенным на них теням!

Судите, наконец, как тяжело нам, защитникам, лишенным столь убедительных источников аргументации! Судите, сколько надежд было в нас разбито! Судите, как отзывался на нас недостаток времени, сообщений, расследований в столь важном деле, тщетность наших усилий, самый избыток нашего рвения! Судите, как невыносимо нам сознавать, что мы некоторым образом отвечаем перед Европой за участь Людовика, и в то же время чувствовать, что именно величие этой грандиозной задачи является главным препятствием для успешного ее выполнения!

Изливая перед вами, граждане, нашу глубокую скорбь, я подхожу к тем кровавым событиям 10-го августа, которые, в самом деле, были бы величайшим преступлением со стороны Людовика, если бы он действительно питал тогда приписываемые ему жестокие намерения.

Народные представители, заклинаю вас смотреть на нас не только как на защитников Людовика. У нас есть своя совесть; мы - дети народа, мы разделяем все его чувства, все его желания; мы - граждане, мы - французы, мы оплакиваем вместе с народом всю кровь, пролитую 10-го августа; и если бы мы считали Людовика виновным в непостижимых событиях, вызвавших это кровопролитие, то, поверьте, вы не увидели бы нас сегодня у этой решетки готовыми поддержать его нашей мужественной правдивостью!

Но Людовик предан суду. Он обвиняется в самом возмутительном преступлении; ему важно оправдаться в ваших глазах, в глазах Франции, в глазах всей Европы. Его, следовательно, надо выслушать; надо отбросить в сторону все предвзятые мнения, все предубеждения, надо заглушить глоссы вражды; надо выслушать его так, как будто вас не касались те раздирающие сцены, которые придется мне воскресить перед вами: это долг ваш, ибо вы объявили себя его судьями. Все ваши успехи, законодатели, с того дня, который вы сами назвали бессмертным, могли бы подать мне надежду на ваше великодушие; но я жду от вас только справедливости.

Вы помните, конечно, 20-е июня и упорный отказ Людовика уступить желаниям толпы, ворвавшейся в его дворец с оружием в руках. Это упорство раздражает еще более возбужденную толпу; ее раздражением пользуются, стараются его раздуть; ей внушают новые предубеждения. Распускают слухи о заговорах, о какой-то партии, поставившей себе целью похитить Людовика и увезти его из столицы; этой партии

приписывают огромные средства; говорят о боевых приготовлениях, о складах оружия, о запасах амуниции; в муниципалитет сыплются доносы, один за другим; брожение умов все растет. Весь июль проходит, таким образом, в бурных волнениях.

Между тем Людовик пытается их успокоить. Вначале он считал более благоразумным выждать, пока слухи о приготовлениях и складах оружия стихнут сами собою. Но размеры, принятые этими слухами, показывают ему, наконец, как опасно их игнорировать; он чувствует потребность рассеять народные опасения, хотя бы и химерические, - и вот он сам предлагает произвести розыски. 25-го июля он обращается письменно к парижскому меру с просьбой обыскать дворец и велит открыть ему ворота. Мер отвечает, что он поручит это муниципальным чиновникам. Но во дворец никто не является. Тогда Людовик сообщает о своем беспокойстве Национальному Собранию; он уведомляет его о своем письме меру и ответе последнего: Собрание ничего не отвечает.

За это время именно благодаря предосторожностям, принятым Людовиком, возбуждение усиливается. Возобновляются прежние толки; снова летят доносы в муниципалитет; всюду только и речи, что о низложении Людовика; его требуют, его провоцируют; начинаются собрания комиссаров секций. 3-го августа комиссары, с мером во главе, подносят Национальному Собранию адрес с требованием внять голосу народа и низложить Людовика; вскоре эти требования раздаются громче; решено добиться низложения мирно или силою; назначается срок для его декретирования; заявляется во всеулышание, что если на заседании 9-го-10-го августа не будет сделано соответствующего постановления, то 10-го августа ударит набат, раздастся барабанный бой, и произойдет народное восстание.

С первых чисел августа Людовик почувствовал, что его положение становится критическим. Он видел кипение умов; ему ежедневно доносили о настроении столицы, о ее волнениях; он стал бояться какого-либо ошибочного шага со стороны толпы. Опасаясь вторжения в свое жилище, он начал принимать некоторые предосторожности. Так, он окружил себя национальной гвардией, разместил в своем дворце швейцарцев, старался поддерживать правильную корреспонденцию с наиболее популярными властями; словом, он не пренебрег ни одной из предохранительных мер, которые подсказывались ему самим ходом событий.

Наступает 9-е августа. В ум Людовика бросают семена еще более живой тревоги; ему говорят о сборищах, о приготовлениях, в нем возбуждают опасения за следующую ночь. Тогда Людовик удваивает предосторожности; наряды национальных гвардейцев, охраняющих дворец, усиливаются; повсюду расставляются швейцарцы. Затем Людовик посылает за департаментским правлением и муниципалитетом, думая обеспечить себе поддержку властей, пользующихся наибольшим влиянием на народ. Эти власти приказывают именем закона национальным гвардейцам и швейцарцам не допускать вторжения во дворец; мер лично осматривает караулы.

Скоро, действительно, ударяет набат, раздаются барабанный бой, народ сбегается со всех сторон. Проходит несколько часов в бесплодных волнениях. К утру народ устремляется к Тюльерийскому дворцу с оружием в руках; за ним следуют пушки; орудия направлены на ворота; народ врывается во дворец. Является генеральный прокурор-синдик парижского департамента, в сопровождении муниципальных чиновников. Они разъясняют толпе, что, собравшись в столь огромном количестве, она не может подать петиции ни Людовику, ни Национальному Собранию, и предлагают выбрать двадцать петиционеров; это предложение остается без последствий.

Между тем сборище увеличивается; громадная толпа отправляется на площадь Карусели; движение все растет. Уведомленные об этом власти появляются перед войсками, генеральный прокурор-синдик читает им 5-ю статью закона 3-го октября; он призывает войска к защите жилища Людовика, власть которого установлена конституцией. Он приказывает им - конечно, скрепя сердце - отразить силу силою; вместо всякого ответа, канониры разряжают перед ним свои пушки.

Генеральный прокурор-синдик немедленно отправляется во дворец; он предупреждает Людовика о грозящей опасности и о том, что помощи ждать неоткуда. Людовик, который уже несколько часов тому назад послал своих министров в Национальное Собрание с просьбой об отправке депутации ему на помощь, вторично извещает его о своем критическом положении; Собрание не дает никакого ответа. Тогда генеральный прокурор-синдик, вместе с двумя другими членами департаментского правления, приглашает Людовика отправиться вместе с семьей в Национальное Собрание; они доказывают ему необходимость этого шага; Людовик следует их совету.

Час спустя разражается гроза.

Граждане, таковы факты. Я изобразил их в таком виде, как они описаны во всех опубликованных документах и занесены в протоколы Национального Собрания. Я ничего не прибавил о себе, изложив вам эти печальные подробности, я исполнял лишь долг защитника, и уже по краткости моего обзора вы можете судить о том, чего стоило мне говорить об этом.

Но, как бы там ни было, факты таковы.

Теперь, праведные судьи, забудьте, если возможно, о страшных последствиях этого кровавого дня, анализируя вместе со мной лишь его причины, и скажите мне, где же то преступление, в котором обвиняется Людовик?

Это преступление может заключаться или в том, что послужило за удалением Людовика в Национальное Собрание, или в том, что ему предшествовало.

Первое предположение совершенно недопустимо потому, что со времени своего удаления в Национальное Собрание Людовик ничего не видел, ничего не говорил, ничего не предпринимал, ничего не приказывал, потому что он покинул избранное им убежище только для того, чтобы перейти в тюрьму, где он содержится и поныне. Каким образом начался бой? Я этого не знаю; может быть, это останется скрытым и для истории; во всяком случае не Людовику отвечать на этот вопрос.

Теперь посмотрим, может ли заключаться преступление Людовика в событиях, предшествовавших удалению его в Национальное Собрание. Если так, то что собственно вменяете вы ему в вину? Вы говорили о враждебных намерениях со стороны Людовика. Но где доказательства подобных намерений? Какие факты приводите вы в подтверждение, на какие действия вы ссылаетесь? Здесь говорилось в туманных выражениях о каком-то заговоре, имевшем целью похищение Людовика и увоз его из столицы. Но имеются ли хоть малейшие следы этого заговора? Вы говорили еще о приготовлениях к бою. Я, действительно, вижу приготовления оборонительного характера, но никак не наступательного. Где же улики против Людовика? Из чего видно, что он был нападающей стороной?

Вы обвиняете его в том, что он удерживал при себе швейцарскую гвардию в ту эпоху.

Граждане, из протокола Национального Собрания от 4-го августа следует, что один из его членов предложил просить короля удалить со службы швейцарский полк, выразив ему при этом глубочайшее удовлетворение и благодарность. Некоторые депутаты, как видно из того же протокола, настаивали на том, чтобы Собрание, определяя размер вознаграждения швейцарцам, выразило им одобрение, а также чтобы оно запретило тем швейцарцам, которые останутся в Париже, вступать в королевскую гвардию иначе, как по требованию установленных властей. Однако, ни одно из этих предложений не прошло. Таким образом, оставался в силе декрет Учредительного Собрания от 17-го сентября 1791 г., которым постановлялось, что швейцарцы, впредь до возобновления условий договора, сохраняют свое назначение и род службы. Следовательно, Людовик имел полное право удерживать их на службе.

Ему ставят в вину смотр войскам, произведенный утром 10-го августа. Но в таком случае обвиняйте мера в осмотре караулов! Людовик был одной из установленных властей и, стало быть, имел право защищать свое жилище. Он отвечал за свою безопасность перед законом. Как же можно обвинять его в принятии необходимых мер предосторожности?

Некоторые доходят до того, что вменяют ему в преступление вызов войск во дворец. Но неужели он должен был покориться и позволить толпе насилие над собою? Разве сам закон не повелевал ему охранять от всяких посягательств власть, врученную ему конституцией? Граждане, если бы в данный момент вы узнали, что ослепленная толпа идет на вас с оружием в руках, что, не уважая священного звания законодателей, она хочет вырвать вас из этого святилища, - что бы вы сами тогда сделали?

Людовику приписывают нападение с враждебной целью. Граждане, это обвинение можно уничтожить одним словом.

Можно ли назвать зачинщиком того, кто, будучи вынужден обороняться от толпы, прежде всего окружает себя народными властями, посылает за департаментским правлением, вызывает муниципалитет и доходит даже до того, что просит Собрание об отправке депутации для предупреждения бедствий? Хочет ли несчастья народа тот, кто выставляет против него лишь собственных его защитников? Но к чему говорить о нападении, оставляя тяготеть над головой Людовика это ужасное обвинение! Кто теперь не знает, что день 10-го августа подготовлялся уже задолго, что его тайно обдумывали, что восстание против Людовика считалось необходимым, что это восстание имело своих агентов, своих вдохновителей, свой кабинет, свою директорию? Кто не знает, что составлялись планы, заключались союзы, подписывались договоры? Кто не знает, что все было организовано заранее для осуществления великого плана, решавшего судьбу Франции?

Этих фактов, законодатели, отрицать нельзя: они общеизвестны, слух о них разнесся по всей Франции. Они происходили среди вас; в этой самой зале, где я говорю, ораторы оспаривали друг у друга честь организации 10-го августа. Я не хочу лишать ореола славы тех, которые себе присудили его. Я не порицаю мотивов восстания, я не критикую его последствий; я утверждаю лишь, что так как восстание, несомненно, началось гораздо раньше 10-го августа, так как это признано всеми, то, следовательно, Людовик не мог быть нападающей стороной.

И тем не менее, вы его обвиняете! Вы упрекаете его в кровопролитии! Вы говорите, что пролитая кровь вопиет о мщении против него!

Против него, который в критический момент доверился Национальному Собранию только для того, чтобы помешать кровопролитию!

Против него, который за всю жизнь не отдал ни одного кровавого приказа!

Против него, который 6-го октября в Версале запретил защищаться своим гвардейцам!

Против него, который в Варенне предпочел вернуться пленным, нежели riskовать жизнью хоть одного человека!

Против него, который 20-го июня отверг всякую помощь и пожелал остаться один среди народа!

Вы вменяете ему в вину кровопролитие... - Ах! он не менее вас скорбит о роковой катастрофе, его вызвавшей; это самая глубокая его рана, это источник его безысходного отчаяния. Он знает, правда, что не он виновен в этих событиях, но не забывает и того, что он, быть может, послужил их печальным поводом, - и эта мысль никогда не даст ему покоя.

И такого человека вы обвиняете! Французы, что случилось с вашим национальным характером, тем характером, которым отличались ваши старинные нравы, что случилось с вашей прямоотой и величием?

Неужели вы употребите свое могущество на то, чтобы довершить несчастье человека, имевшего мужество довериться представителям самой нации?

Неужели вы утратили всякое уважение к священным правам убежища? Неужели вы не признаете, что избыток несчастья имеет право на сострадание, и не смотрите на развенчанного короля как на слишком злосчастную жертву рока, чтобы прибавлять лишнее звено к цепи его невзгод?

Французы, революция, возродившая вас, воспитала в вас великие доблести; но страшитесь, чтобы она не ослабила в ваших сердцах чувство человеколюбия, без которого немислима истинная добродетель!

Внемлите заранее голосу истории, которая передаст стоустой молве:

“Людовик вступил на престол двадцати лет от роду, и в двадцать лет показал на троне образец нравственности. Он не принес туда с собой ни одной преступной слабости, ни единой губительной страсти; он был экономен, справедлив, строг; он всегда являлся надежным другом народа. Народ пожелал отмены обременявшего его разорительного налога - Людовик отменил его; народ потребовал уничтожения рабства - он поспешил уничтожить его в своих собственных поместьях; народ просил реформ в области уголовного законодательства для смягчения участи осужденных - он даровал эти реформы; народ захотел, чтобы тысяча французов, которые были лишены гражданских прав, благодаря суровости наших институтов, получили эти права, - Людовик провозгласил их законодательным порядком; народ пожелал свободы - он дал ему свободу<sup>11</sup>. Своими жертвами он шел навстречу народным желанием, и, однако, во имя того же народа теперь требуют... Я не кончаю, граждане. Я останавливаюсь перед историей; подумайте о том, что она будет судить ваш приговор, и что ее приговор будет приговором веков”...

1 “Общественный договор”, ст.IV.

2 4 февраля 1790 г. Людовик явился в Национальное Собрание и произнес речь, в которой торжественно обещал соблюдать конституцию. В ответ на это, все Собрание с энтузиазмом присягнуло на верность нации, закону и королю.

3 Лапорта.

4 Когда обнаружилась измена Мирабо, и Конвент приказал завесить его бюст и удалить его останки из Пантеона, один из депутатов, Манюэль, предложил дать его памяти официального защитника. Конвент решил поручить расследование дела особой комиссии.

5 После кровавого подавления солдатских волнений в Нанси, Учредительное Собрание, несмотря на энергичный протест Робеспьера, вотировало благодарность Булье.

6 Объяснения Людовика были голым отрицанием его декларации, оставленной перед бегством в Варенн. Так, он заявил, что уезжал именно для того, чтобы показать, насколько он свободен в своих поступках; что он с удовольствием снова видит себя среди французов, и, особенно, парижан; что его декларация совершенно не касалась принципов конституции; что к тому же он убедился во время своей поездки, до какой степени конституция дорога народу, и т. под.

7 Намек на знаменитую сцену, известную под именем “поцелуя Ламурета”. На заседании 7 июля 1792 г. епископ Ламурет предложил враждующим фракциям забыть все “раздоры и ссоры” и объединиться для защиты конституции. Под влиянием его патетической речи, правая и левая бросились друг другу в объятия; охваченное минутным энтузиазмом, Собрание единодушно поклялось не допускать нарушения конституции ни учреждением двух палат, ни введением республики. - Общество отнеслось весьма скептически и насмешливо к этому неожиданному взрыву “братских” чувств, который был окрещен “поцелуем Иуды” и “любовным поцелуем” (игра слов: baiser de Lamourette-baiser de l’amourette).

8 В настоящее время, когда известна тайная корреспонденция Людовика XVI, мы можем судить о роли его в образовании европейской коалиции, официальным началом которой был Пильницкий договор. Письмо, секретно посланное им прусскому королю, еще за 8 месяцев до этого договора, показывает, что инициатива коалиции принадлежала всецело Людовику. В этом интересном историческом документе мы читаем: “Я обратился к австрийскому императору, русской императрице и королям испанскому и шведскому с предложением составить коалицию первоклассных европейских держав, опирающуюся на вооруженную силу; это будет наилучшим средством, чтобы обуздать здешних бунтовщиков, установить более желательный порядок вещей и помешать снедающему нас злу распространиться на все европейские государства. Надеюсь, что Ваше Величество одобрит мою мысль и сохранит по этому поводу строжайшую тайну”. Письмо это помечено 23 декабря 1790 г. Ровно через три дня после этого, утверждая декрет о гражданской организации духовенства, король возвещал об этом Учредительному Собранию в следующих выражениях: “В виду того, что насчет моих намерений возникли некоторые сомнения, которые, казалось бы, должна рассеять известная прямота моего характера, мое доверие к Национальному Собранию побуждает меня принять декрет”. - Вообще, ссылки на свой “известный” характер были обычным приемом Людовика XVI. Мы видели из обвинительного акта, что 15 июля 1789 г., когда не прошло еще месяца со времени неудавшегося разгона Национального Собрания, он восклицал, негодуя на слухи о происках двора против народных представителей: “Неужели мне нужно уверять вас в лживости столь преступных слухов, которые заранее опровергаются моим известным характером?”

9 Делессар был убит в сентябрьские дни.

10 Один из талантливейших генералов Великой революции, завоеватель Бельгии, впоследствии изменивший Франции и перешедший на сторону австрийцев.

11 Эта фраза вызвала сильный ропот на трибунах, что заставило защитников впоследствии вычеркнуть ее из рукописи речи. В свое оправдание они ссылались на декрет 4 августа 1789 г., провозгласивший Людовика XVI “восстановителем французской свободы”. Декрет этот, предложенный Лалыи-Толяндалем, был издан по настоянию дворянских депутатов Учредительного Собрания, желавших связать уничтожение феодализма с именем монарха. Как бы в ответ на это Людовик через несколько дней писал архиепископу Арльскому, что его только силой могут заставить признать постановления 4 августа. Не лучше отнесся “восстановитель французской свободы” и к Декларации Прав: он сперва категорически отказался санкционировать ее и только позже был вынужден к этому народным движением 5 октября.

**Прения по поводу защитительной речи.**

**Жирондисты предлагают апелляцию к народу**

По окончании речи Десеза, Людовик XVI, с своей стороны, прибавил несколько слов, протестуя против обвинения в умышленном пролитии крови. Может быть, действие этих слов и было бы благоприятно для него; но оно тотчас было уничтожено им же самим. За несколько дней перед тем в помещении королевского камердинера Тьерри была найдена связка ключей, завернутая в бумагу с надписью: "Ключи, переданные мне королем 12 августа 1792 г.", - и один из этих ключей отпирал злополучный железный шкаф. Когда этот ключ, вместе с заметкой Тьерри, был предъявлен Людовику, между ним и президентом Конвента произошла следующая сцена:

Президент (обращаясь к Людовику). "Национальный Конвент постановил предъявить вам следующую заметку (Людовику подносят обертку ключей, найденных у Тьерри). Знакома ли вам эта записка?"

Людовик. "Совершенно незнакома".

Президент. "Конвент постановил также предъявить вам ключи. Узнаете ли вы их?"

Людовик. "Я припоминаю, что передал их Тьерри, потому что из моего помещения все было убрано, и они мне больше не нужны были".

Президент (указывая на ключ от железного шкафа). "Узнаете ли вы этот ключ?"

Людовик. "С тех пор я не могу припомнить... Я не узнаю заметки... Мне помнится, что видел их несколько"...

Президент. "Имеете ли вы прибавить еще что-нибудь в свое оправдание?"

Людовик. "Нет".

Президент. "Можете удалиться".

Людовик вышел. Судьба его была решена. Решительный шаг в его защиту был сделан - и этот шаг был сделан неудачно. Речь Десеза, имевшего бестактность отстаивать точку зрения крайней правой и повторять уже не раз опровергнутые ссылки на королевскую неприкосновенность; его стремление затушевывать факты, доказывавшие измену короля, его натянутые объяснения, его воззвания к гуманности и чувству сострадания, - все это, конечно, не могло произвести впечатления на судей Людовика XVI. Эта речь была своего рода свидетельством о бедности. Смущение и растерянность короля при виде ключа от железного шкафа, его сбивчивые ответы послужили новой, подавляющей уликой против него. Тотчас по уходе его раздались требования немедленно приступить к голосованию. "Все формальности соблюдены, - воскликнул Дюгем: - у Людовика Капета были защитники; он сам заявил, что ничего не имеет прибавить в свое оправдание. Я требую немедленной подачи голосов!" - "Пусть его судят безотлагательно!" - подтверждает Базир. Жирондисты делают попытку спасти короля. Среди общего шума подымается Ланжюине. "Да, Людовик должен быть предан суду, - говорит он, - но его будет судить не Национальный Конвент; его будут судить не те заговорщики, которые сами с этой трибуны объявили себя виновниками 10-го августа!" Бурный взрыв негодования прерывает речь Ланжюине. "Вы слишком открыто выказываете себя сторонником тирании!" - кричит Тюрио. "Это роялист! Он порицает дело 10-го августа!" - восклицают одновременно Дюгем, Бийо-Варенн, Лежандр. "К порядку! В Аббатство! Долой с трибуны!" - раздается со всех сторон. Президенту с трудом удается восстановить спокойствие. "Я вовсе не хотел омрачить славу 10-го августа, - снова возвышает голос Ланжюине, - я употребил это слово, потому что оно здесь вполне подходит, потому что бывают святые заговоры против тирании; потому что и Брут был одним из таких знаменитых и святых заговорщиков... Я говорю, что вы не можете быть одновременно обвинителями, судьями и присяжными!.. Благо народа требует, чтобы вы воздержались от суда, который навлечет на него страшные бедствия! Я предлагаю, чтобы собрание отменило декрет о том, что оно будет судить Людовика XVI, и постановило, что оно решит его участь, видя в этом меру общественной безопасности". - "Вас спрашивают, - встает Амар, - кто будут судьи? Вам говорят, что все вы - заинтересованная сторона. Но разве французский народ не заинтересованная сторона, если на него падали удары тирана? К кому же обратиться за правосудием? К планетам, конечно!" - "Нет, к собранию королей", - иронически подхватывает Лежандр. Дюгем напоминает о своем предложении. Некоторые депутаты предлагают отсрочить поименное голосование. "Когда тираны избивали патриотов, - с жаром возражает Дюгем, - они не думали об отсрочке. Когда австрийцы бомбардировали Лилль от имени Людовика, они не хотели отсрочки!" В собрании снова подымается шум. Голоса разделяются: одни стоят за предложение Дюгема, другие требуют отсрочки. Президент пытается поставить вопрос на голосование; его обвиняют в пристрастии. Правая грозит вооруженным вмешательством Англии; левая с горячностью восстает против попыток влиять на Конвент такими соображениями. В самом разгаре страстей на трибуне появляется Кутон.

"Граждане, - говорит он, - Людовик Капет обвиняется в великих преступлениях; в душе я считаю его уже изблеченным. Если он обвинен, то он должен быть и предан суду, так как мораль и вечная справедливость требуют, чтобы всякий преступник был осужден. В организованном обществе преступление не может оставаться безнаказанным. Кто же будет судить Людовика Капета? Вы, разумеется, ибо нация, избирая вас, облекла вас полномочиями великого трибунала, трибунала ad hoc. Я указываю на это, чтобы рассеять сомнения, которые могли заронить в иные умы слова Ланжюине. Когда Законодательное Собрание 10-го августа занялось участью Людовика, соединявшего в своем лице всю верховную власть, оно справедливо решило, что его не может судить ни одна из установленных властей. Собрание сообщило народу о своем затруднении и пригласило его избрать представителей, которые имели бы полномочия для

суда над королем. Как же поступил народ? Он избрал Национальный Конвент таким именно способом, какой был предложен; во время выборов он буквально следовал всем указаниям Законодательного Собрания; стало быть, вы составляете трибунал ad hoc, который должен судить Людовика XVI. Вы не могли сами назначить себя судьями; но вы стали ими в силу верховной воли народа. Как вы должны поступить теперь? Вам прочли обвинительный акт против Людовика Капета; вы выслушали его оправдания из уст его официальных защитников. Вам остается исполнить лишь один долг: вынести приговор. Вам говорят о судебных формальностях, упуская при этом из виду, что здесь не может быть о них и речи, ибо вы - представители державного народа. Соблюдение судебных формальностей необходимо для выяснения сомнительных фактов; здесь же вы должны высказаться о фактах положительных. Вопрос в том, следует ли решить дело безотлагательно, или отсрочить решение. Я нахожу, что если некоторые из нас еще колеблются, то нужны прения. Но пусть, по крайней мере, собрание постановит, что оно впрямь будет заниматься исключительно этим процессом. Итак, я предлагаю Конвенту следующий проект декрета:

“Национальный Конвент открывает прения по делу Людовика Капета и постановляет, что они будут продолжаться, за прекращением всех других дел, до внесения приговора”.

Предложение Кутона было единогласно принято собранием.

На следующий день, 27-го декабря, начались прения. Первым взял слово Сен-Жюст. Виль-Сити резкой речью он опровергал защиту, произнесенную накануне:

- “Граждане, когда народ находился под игом, его защитники подзвергались преследованиям. Короли угнетали нации во мраке. Мы же судим королей при ярком свете. Но этого мало: благородный народ, разбивший свои оковы, должен еще оправдываться в своем мужестве и доблести! О вы, называющие себя врагами анархии, вы, верно, не захотите подать повод к упрекам, что вся ваша суровость обращена на народ, а вся чувствительность изливается на королей! Теперь слабость нам непозволительна: потребовав изгнания всех Бурбонов, мы не в праве щадить единственного из них, действительно виновного. Вы взяли на себя функции судебной палаты и, допустив оскорбление величества державного народа, изменили постановку вопроса. Людовик стал обвинителем, а народ - обвиняемым. Ловушка была бы менее искусной, если бы прямо отклонили вашу компетенцию. Но открытое сопротивление не в характере Людовика. Он всегда подделывался ко всем партиям, подобно тому, как теперь подделывается даже к своим судьям. Едва ли кто-нибудь вздумает убеждать вас, что при созыве Генеральных Штатов в 1789 г. Людовик руководился желанием вернуть нации свободу. Стремление принизить парламенты, потребность выжимать соки из народа, - вот мотивы этого созыва. Когда Национальное Собрание нанесло ему первые удары, король собрал все свои силы, чтобы поразить Собрание. Всем еще памятно, как он отверг законы, уничтожавшие господство церкви и феодализма.

“Он не скупился на ластивые фразы для обольщения народа. Мрачный и угрюмый в кругу придворных, король являлся кротким и чувствительным среди граждан. Людовик ответил вам, что в то время он был господином и делал все, что считал нужным. Ему, по крайней мере, нельзя отказать в откровенности. Да, он, действительно, был властен над народом, но он не был властен над правосудием; как ни велико было его могущество, но, лишившись его, Людовик должен был отдать отчет в своем вероломстве. Тот, кто говорил: “Народ мой - мои дети”, тот, кто уверял, что счастлив лишь его счастьем, что страдает лишь его страданиями, отвергал законы, утверждавшие права народа и обеспечивавшие его благоденствие. Слезы его еще не забыты, ими полны сердца всех французов. Такая степень лицемерия прямо непостижима. Несчастный! Он потом приказал перебить тех, которых будто бы любил раньше. Невольно стыдишься проявлений чувства, вспоминая, как оскорблял он добродетель своей притворной чувствительностью. Вы знаете, с каким коварством придумывались средства к подкупу. В его бумагах не нашли планов разумного управления государством; зато там нашли проекты, клонившиеся к гибели народа: он думал поднять народ против законов, чтобы затем казнить его мечом закона же. Что это за свободное правительство, при котором преступление остается безнаказанным в силу закона? Исполнительная власть только и делала, что устраивала заговоры; для своих комplotов она пользовалась законом, пользовалась свободой, пользовалась народом. Людовик, по-видимому, слишком поздно заметил, что с уничтожением предрассудков поколебалась и тирания. Вам известны его враждебные замыслы против народа; я не буду напоминать их. Перейдем к событиям 10-го августа. Дворец кишит убийцами и солдатами. Людовик является среди них; сопровождающие его солдаты оскорбляют депутатов. Кровавое пролитие его нисколько не тревожит; содрогаешься при мысли, что он мог остановить его одним движением руки. Чего же вы хотите от нас, защитники короля? Если король невинен, то преступен народ.

“Здесь говорили об апелляции к народу. Но разве это не равносильно восстановлению монархии? От помилования тирана к помилованию тирании - один только шаг. Когда тиран апеллирует к обвиняющему его народу, то он действует так, как действовал Карл I в эпоху расцвета монархии. Не вы обвиняете, не вы судите Людовика: обвиняет и судит его народ, через ваше посредство. Вы объявили войну тиранам всего мира и щадите лишь своего собственного! Неужели законы всегда будут издаваться лишь против угнетенных? Здесь говорили об отводе судей; но по какому праву виновный может не признать нашей компетенции? Или скажут, что, подавая голоса, мы заранее осудили его? Нет, мы обсуждали дело. Если он не хочет признавать нашего суда, то пусть докажет свою невинность; невинность не станет отвергать никаких судей. Революция начинается только там, где кончается жизнь тирана. Вы должны отбросить всякие другие соображения, кроме общественного блага. Вы не должны допускать отвода кого бы то ни было. Если не будут признаны ораторы, говорившие против короля, то мы не признаем тех, кто ничего не сказал в защиту отечества. Имейте же мужество сознаться в истине! Истина горит во всех сердцах, как светильник в могиле.

“Итак, монархия еще царит среди нас; судьбы отечества хотят поставить в зависимость от наказания преступника! Я требую, чтобы каждый депутат взшел на трибуну и высказался по вопросу; изобличен или нет Людовик в своих преступлениях”.

Прямо и резко ставя вопрос о виновности Людовика, Сен-Жюст требовал безотлагательного решения его участи; а после допроса его и речи Десежа ясно было, что большинство собрания выскажется за казнь. Наступил момент, когда дальнейшие парламентские диверсии теряли для жирондистов всякий смысл; бессильные спасти короля, они могли лишь повредить им самим. Жирондисты очутились перед альтернативой: разделить с Горой ответственность за смерть короля и все ее возможные последствия, или поставить на карту свою популярность и навлечь на себя подозрение в роялизме. Выход из этого положения они нашли в апелляции к народу, на которую уже накануне намекал Ланжюине, говоря, что члены Конвента не могут быть одновременно и обвинителями и судьями. В ответ на речь Сен-Жюста один из главарей Жиронды, Салль, предложил Конвенту высказаться лишь по вопросу о виновности, предоставив окончательный приговор самому народу. Его аргументация была основана на том, что для Конвента одинаково опасно казнить Людовика или оставить его в живых. В первом случае народы окружают Людовика ореолом мученика, а монархи воспользуются его смертью, как новым предлогом для войны; во втором случае, Конвент оставит безнаказанным вопиющие преступления. Поэтому ему остается только признать себя некомпетентным для вынесения приговора и обратиться к народу.

Речь Барбару, сменившего на трибуне Салля, отражала всю нерешительность и колебания жирондистов. Один из самых смелых вожаков партии не коснулся вопроса о мере наказания. Он не говорил ни о казни, ни об изгнании, ни о заключении, ни даже об апелляции к народу; он рассыпался лишь в длинных декламациях на тему о виновности короля, уже ни для кого в собрании не представлявшей сомнения. Барбару, казалось, выжидал событий, боясь направить их своим вмешательством в ту или другую сторону.

На следующем заседании 28-го декабря министр иностранных дел Лебрен сообщил ноту испанского двора. "Его Католическое Величество" вступался за жизнь своего кузена, Людовика XVI; он обещал нейтралитет Испании и удаление войск, собранных ею на границах Пиринеев, если Конвент ограничится изгнанием королевской фамилии. Это вмешательство вызвало крайнее негодование левой.

"Прочь всякое иностранное влияние! - воскликнул Тюрио, - я вношу предложение, чтобы всякие представления, относящиеся к настоящему процессу, читались лишь после того, как будет решена участь Людовика Капета". - "А я требую, - прибавил Шаль, - чтобы впредь наши агенты не вступали в переговоры с коронованными особами, пока не будет признана французская республика. Теперь мы договариваемся не с королями, а только с народами!"

Переход к очередным делам был презрительным ответом новорожденной республики европейским монархам.

Возобновились прения о судьбе короля. Бюзо в длинной речи отстаивал апелляцию к народу. Однако, он расходился с Саллем в том отношении, что предлагал Конвенту не только высказаться о виновности Людовика, но и вынести ему смертный приговор, который затем должен быть передан на утверждение первичным собраниям. Повторяя практические доводы Салля, Бюзо, вместе с тем, особенно подчеркивал принципиальную сторону дела. Он призывал Конвент апеллировать к нации во имя народного суверенитета и резко нападал на тех "шарлатанов", которые игнорируют этот суверенитет. Но сквозь страстную аргументацию Бюзо довольно ясно просвечивала партийная подкладка жирондистского лозунга: стремление ослабить влияние монтаньяров, опиравшихся на парижскую демократию, выставив им в противовес департаменты, в которых черпали свою силу жирондисты. Это была все та же тенденция низвести влияние Парижа до одной восьмидесятой третьей части влияния департаментов, которая так ярко выразилась еще в речи Ласурса.

- "Достаточно, слишком достаточно, - говорил Бюзо в заключение своей речи, - наши департаменты были простыми свидетелями событий, решавших судьбы всей Франции; пора привлечь всех к участию в этих событиях. Удобный случай для этого - суд над Людовиком. Мы не должны предполагать, что департаменты к нему равнодушны. Если вас, которых нация облекла своей властью, останавливают мотивы нравственного порядка и мелкие приходские соображения, то как смеете вы претендовать на ее доверие и уважение? Берегитесь, чтобы она не обратила внимание на законы, которые издаются здесь от имени всей республики. Если вы искренно хотите единства республики и равенства всех граждан, ее составляющих; если вы не хотите подчиняться гнету наглой шайки, которая дерзает порой диктовать вам свою волю; если вы хотите, наконец, сохранить Париж, то настал момент. Умейте же воспользоваться им, чтобы организовать это необходимое восстание всех департаментов!"

"Мы требуем от вас меру общественной безопасности. Апелляция к народу устраняет всякие возражения, какие только можно придумать. Наш приговор будет санкционирован державным властелином; а общая воля, законно выраженная, всегда справедлива. Кто осмелится утверждать, что народ не умеет судить? И если так, то зачем подвергать конституцию ратификации народа? Безрассудные декламаторы! Вы постоянно говорите нам о гражданской войне, когда мы требуем уважения к национальному суверенитету и протестуем против воплощения его в одной только части народа, нередко недостойной его. Перестаньте волновать республику своей клеветой и вспомните, что на дымящихся развалинах трона Карла I утвердил свое господство Кромвель, и что народ, который громогласно требовал смерти Карла, впоследствии пожалел об его участи и потребовал казни его судей."

"Людовик, я осуждаю тебя! я осуждаю тебя на смерть, ибо мои избиратели возложили на меня эту миссию. Но, осуждая тебя, правосудие имеет в виду не твою личность: оно приносит тебя в жертву обществу. Пусть же это общество, вслед за мной, подаст голос при решении твоей судьбы, ибо она связана с его собственными судьбами нитью великих событий!"

Оратор Жиронды кончил. Робеспьер, взявший слово сейчас же после него, выступил против апелляции к народу с одной из самых блестящих своих речей.



- "По какой иронии судьбы вопрос, который, казалось бы, должен слить воедино все голоса и все интересы народных представителей, является лишь сигналом новых бурь и раздоров! Почему основатели республики разошлись во мнениях о наказании тирана? Я убежден, тем не менее, что все мы одинаково проникнуты отвращением к тирании и пламенной страстью к святому равенству, и заключаю отсюда, что нам нетрудно будет придти к принципам общественного блага и вечной справедливости.

"Я не стану повторять вам, что есть священные формы, отличные от юридических; что есть нетленные принципы, стоящие выше рубрик, освященных привычкой и предрассудком; что истинный суд над королем это самопроизвольное, всеобъемлющее движение уставшего от тирании народа, который разбивает скипетр, вырванный из рук угнетателя; что этот суд - самый верный, самый справедливый, самый неподкупный из всех судов. Не стану повторять вам, что Людовик был уже осужден, прежде чем вы постановили, что будете судить его. В своих рассуждениях я не буду выходить из рамок общепризнанной системы; могу даже прибавить, что я разделяю с самым слабохарактерным из нас все личные склонности, могущие внушить участие к обвиняемому. Неумолимый, когда нужно абстрактно определять степень строгости, с которой законы должны карать врагов человечества, я почувствовал, в присутствии виновного, униженного перед самодержавным народом, как поколебалась в моей душе республиканская доблесть: ненависть к тирану и любовь к человечеству имеют общий источник в сердце справедливого человека, любящего свою родину. Но, граждане, наивысшее доказательство преданности, какое народные представители могут дать отечеству, состоит в том, чтобы подавлять первые побуждения чувства для спасения великого народа и угнетенного человечества! Граждане, чувствительность, которая способна приносить невинность в жертву преступлению, это жестокая чувствительность; милосердие, которое в состоянии ужиться с тиранией, варварское милосердие. "Граждане, я напоминаю вам высшие интересы - интересы общественного блага! Какой мотив побуждает вас заниматься Людовиком? Этот мотив - не жажда мести, недостойная нации; это необходимость скрепить свободу и общественное спокойствие наказанием тирана. Итак, всякий способ, всякая система судопроизводства, основанная на медлительности, вредной для общественной безопасности, прямо противоречит вашей цели; лучше было бы совершенно отбросить мысль о наказании тирана, чем делать из его процесса источник смут и начало гражданской войны. Каждая минута промедления влечет за собой новую опасность; каждая отсрочка пробуждает преступные надежды, поощряет дерзость врагов свободы, дает пищу мрачному недоверию и жестоким подозрениям в среде этого собрания. Граждане, голос встревоженной родины убеждает вас ускорить решение дела, которое должно ее успокоить. Какое же сомнение еще подкашивает ваше рвение? Я не вижу поводов к нему ни в принципах друзей человечества, ни в убеждениях философов, ни во взглядах государственных людей, ни даже во мнениях самых тонких и взыскательных практиков. Суд кончен. Третьего дня подсудимый вам заявил, что ему больше нечего сказать в свое оправдание; он признал, что все желательные формальности соблюдены, и объявил, что не требует других. Тот момент, когда мы выслушали его защитительную речь, был самым благоприятным для его дела. Нет в мире суда, который не применил бы с чистой совестью подобной системы. Какой-нибудь несчастный, пойманный на месте преступления, или хотя бы только обвиняемый в обыкновенном проступке, на основании доказательств, в тысячу раз менее очевидных, был бы осужден в двадцать четыре часа.

"Основатели республики, верные своим принципам, вы могли бы давно, не колеблясь, судить тирана французского народа. Каков же был мотив новой отсрочки? Ждали ли вы новых улик против обвиняемого? Вовсе нет. Или вы хотели допросить свидетелей? Эта мысль не приходила в голову никому из вас. Или, может быть, вы сомневались в преступлении? Нисколько. Это значило бы, что вы сомневаетесь в законности или справедливости восстания; что вы сомневаетесь в том, во что твердо верит нация; что вы чужды нашей революции; что вы, наконец, оставляя безнаказанным тирана, отдаете под суд самую нацию.

"Третьего дня единственным мотивом для откладывания приговора выставлялась необходимость успокоить совесть тех депутатов, которые будто бы еще не убеждены в преступлениях Людовика; это ни на чем не основанное, оскорбительное и нелепое предположение было опровергнуто самими прениями.

"Граждане, здесь важно бросить взгляд на прошлое и показать вам ваши собственные принципы и даже ваши собственные обязательства. Пораженные грандиозностью задачи, вы уже дважды торжественно декретировали крайний срок для суда над Людовиком; на днях исполнился второй из этих сроков. Каждый раз, издавая декрет, вы обещали себе, что это будет последняя отсрочка; отнюдь не считая это противным справедливости и мудрости, вы, наоборот, склонны были упрекать себя в чрезмерной снисходительности. Заблуждались ли вы в то время? Нет, граждане; именно тогда ваши взгляды были более здоровыми, ваши убеждения более твердыми; но по мере того, как вы будете втягиваться в нынешнюю систему, вас будет покидать энергия и мудрость, и воля народных представителей, незаметно для них самих попавшая на ложный путь, все более будет расходиться с волей народа, которая должна быть для них высшим регулятором. Да, таков естественный ход вещей, такова несчастная склонность человеческого сердца. Не могу не напомнить вам поразительный пример, аналогичный настоящему положению дел, пример, который должен послужить вам в назидание. Когда первое Национальное Собрание обсуждало бегство Людовика в Варенн, оно было единодушно в своем негодовании; не нашлось ни одного голоса в его защиту. Но вскоре после этого настроение изменилось; софизмы и интриги одержали верх над свободой и справедливостью; говорить с трибуны Национального Собрания о необходимости поступить с виновным по всей строгости законов стало преступлением. Те, кто теперь вторично требуют от вас наказания за его посягательства, тогда подвергались гонениям, осыпались клеветой во всей Франции; и это потому, что эти немногие оставались верны общественному делу и строгим принципам свободы. Один лишь Людовик являлся священным; а народные представители были не более как мятежники, дезорганизаторы и - что всего хуже - республиканцы! Да что и говорить! Кровь лучших граждан, кровь женщин и детей обгаляла из-за него алтарь отечества! Граждане, ведь и мы - люди; постараемся же воспользоваться опытом наших предшественников.

“И, несмотря на все это, я высказываюсь против предложения вынести приговор безотлагательно; но не потому, что эта мера могла бы набросить тень на правосудие и принципы Национального Конвента - вовсе нет! Даже видя в вас только судей, можно легко оправдать подобную меру стимулом нравственного порядка: желанием изолировать судей от постороннего влияния, обеспечить их беспристрастие и неподкупность, оставив их наедине со своей совестью, вплоть до вынесения приговора. Таков именно мотив соответствующего английского закона и законов, существовавших у многих народов, знаменитых своею мудростью. Подобное мероприятие так же не опозорило бы вас, как не позорит оно англичан и других наций, державшихся таких же взглядов. Но я лично считаю его излишним, ибо глубоко убежден в том, что решение этого процесса затянется не дольше того момента, когда вам все выяснится, и что любовь к общественному благу для вас более императивный закон, чем всякие декреты.

“Возразить против вышеприведенных аргументов было трудно. Но так как иные хотели замедлить ваш суд, то они стали говорить вам о чести нации, о достоинстве Конвента... Честь нации повелевает разить тирана и мстить за униженное человечество! Достоинство Национального Конвента велит нам стать на высоту положения и пожертвовать рабскими предрассудками спасительным принципам разума и философии! Это достоинство требует спасения отечества и упрочения свободы великим примером, в назидание всему миру! Честь Конвента бледнеет и тает по мере того, как мы теряем стойкость республиканских принципов, чтобы углубляться в лабиринт бесполезных и смешных кляуз, по мере того, как наши ораторы читают нам с этой трибуны новый курс монархического права.

“Потомство будет чтить или презирать вас, смотря по той степени энергии, какую проявите вы в данном случае; и этой энергией определится также дерзость или податливость иностранных деспотов по отношению к нам. Она будет для нас залогом рабства или свободы, процветания или упадка. Граждане, победа решит, мятежники ли вы или благодетели человечества, а за победу ручается мне ваше высокое достоинство.

“Граждане, изменить народному делу и своей собственной совести, обречь родину на все смуты, которые повлечет за собой медлительность в подобном процессе, вот единственная опасность, поистине страшная для нас! Пора перешагнуть роковую преграду, так долго задерживающую нас в самом начале пути. Тогда, без сомнения, мы твердо пойдем рука об руку к общей цели народного счастья; тогда злобные страсти, слишком часто бушующие в этом святилище свободы, уступят место любви к общественному благу и святому соревнованию друзей отечества; тогда будут разбиты все планы врагов общественного порядка. Но как далеки мы еще от этой цели, если здесь может господствовать то странное мнение, которое в начале едва смели предположить, которое потом стали подозревать, которое, наконец, было громко высказано! И в этот момент я увидел подтверждение всех моих опасений.

В первое время нас, казалось, тревожили последствия отсрочек, которых мог потребовать ход дела. Теперь нам предлагают не более, не менее, как продолжить его до бесконечности! Мы боялись смут, которые могла вызвать каждая минута промедления; и вот нам, так сказать, гарантируют потрясение республики в ближайшем будущем. Что нужды, если гибельное намерение скрывается под плащом благоразумия или даже под видом уважения к народному суверенитету! Это вероломное искусство было знакомо всем тиранам, прикрывавшимся маской патриотизма, тиранам, умертвившим свободу и причинившим все наши бедствия. Не софистические декламации, а результаты - вот что нам нужно принимать во внимание!

“Да, я заявляю во всеуслышание: в процессе тирана я вижу теперь лишь средство вернуть нас к деспотизму путем анархии - беру в свидетели всех вас, граждане! В первый момент, когда зашла речь о процессе Людовика Последнего, о созыве Национального Конвента специально для суда над ним, когда вы покинули свои департаменты, пылая благородным энтузиазмом и страстью к свободе, под свежим впечатлением доверия великого народа, которого не коснулось еще ничье тлетворное влияние; даже в первый момент, когда здесь заговорили о необходимости, - если бы тогда кто-нибудь сказал вам: “Вы думаете, что закончите процесс тирана через неделю, через две, через три месяца. Но вы ошибаетесь; не вы вынесете ему приговор, не вы произнесете над ним окончательный суд. Вы должны представить это дело на рассмотрение 44.000 секций, из которых состоит французская нация, и подчиниться их решению”... Да вы засмеялись бы над самонадеянностью такого советчика; вы отвергли бы его предложение, как клонящееся к мятежу и возбуждению гражданской войны. Но теперь настроение умов, по-видимому, изменилось; так велико влияние зараженной атмосферы, что даже самые простые, самые естественные мысли часто заглушаются опаснейшими софизмами.

“Пусть умолкнут все предрассудки, все предубеждения рассмотрим хладнокровно этот странный вопрос.

“Итак, вы хотите созвать первичные собрания для обсуждения в каждом них в отдельности участи короля. Другими словами, вы хотите превратить все кантональные собрания, все городские секции в арены бурных прений, где будет происходить борьба за или против Людовика, за или против королевской власти; ибо есть немало людей, весьма плохо понимающих разницу между деспотом и деспотизмом. Вы, пожалуй, гарантируете мне, что дискуссии будут мирными и чуждыми всякого постороннего влияния; но гарантируйте мне, прежде всего, что туда не проникнут дурные граждане - ни умеренные, ни фейльяны<sup>1</sup>, ни аристократы; что ни один болтливый, лукавый адвокат не будет пытаться расставлять там свои сети и разжалобить в пользу тирана наивных простаков, которые не в состоянии предвидеть политических последствий гибельной снисходительности или безрассудного решения. Да что я! Разве эта самая слабость собрания - чтобы не употребить более сильного выражения - не послужит вернейшим средством для объединения всех роялистов, всех врагов свободы, всяких оттенков и направлений, для привлечения их на собрания народа, от которого они скрывались во время вашего избрания, в тот счастливый момент революционного кризиса, который вдохнул искру жизни в угасающую свободу?

“Почему бы не придти им на помощь к своему вождю, если сам закон будет призывать всех граждан собраться для свободного обсуждения этого важного вопроса? Но кто более речист, более ловок, более плодovit на выдумки, чем эти интриганы, так-называемые “порядочные люди”<sup>2</sup>, т.е. все негодяи старого и даже нового режима. Как искусно начнут они с декламации против короля, чтобы заключить речь в его пользу! С каким красноречием провозгласят они самодержавие народа и права человека, чтобы закончить роялизмом и аристократией! Но, граждане, народ ли, на самом деле, будет на этих первичных собраниях? Захочет ли земледelec покинуть свое поле, решится ли ремесленник бросить свою работу, дающую ему хлеб насущный, чтобы углубиться в дебри уголовного кодекса и обсуждать на шумном собрании род наказания для Людовика Кагета и, пожалуй, немало других вопросов, столь же чуждых направлению его мыслей? Я уже слышал, как по поводу этого предложения проводилась разница между народом и нацией. По моему, эти слова - синонимы, и люди, разграничивающие их, воскрешают старое различие, которое уже выводилось на сцену известной частью Учредительного Собрания. Я, с своей стороны, полагаю, что под словом “народ” следует разуметь всю нацию, за исключением бывших привилегированных и “порядочных людей”. Ясно, что так-называемая “апелляция к народу” даст возможность всем “порядочным людям”, всем интриганам против республики объединиться в первичных собраниях, - где будет отсутствовать большинство нации, коварно называемое народом, - чтобы увлечь за собой простодушных людей, заклеивив верных друзей свободы именем каннибалов, дезорганизаторов, крамольников и т. под. Что касается меня, я вижу в этой апелляции лишь апелляцию ко всем тайным врагам равенства, вызвавшим восстание 10 августа своей низостью и продажностью, на все, чего желал народ, на все, что сделал он в момент высшего напряжения энергии, в единственный момент, когда он выражал свою собственную волю, т.е. именно во время этого восстания. Ибо чем больше люди стремятся к разжиганию смут, от которых они ждут восстановления деспотизма или аристократии, тем больше они страшатся спасительных движений, несущих свободу. Но что за дикая идея, праведный Боже! Предоставить разбор одного процесса - менее того: разбор половины процесса - судебной инстанции из 44.000 отдельных трибуналов! Если бы кто-либо захотел убедить мир, что король есть существо высшего порядка, если бы он захотел сделать неизлечимой позорную болезнь роялизма, - он не мог бы придумать лучшего средства, как созыв двадцати-пяти-миллионной нации для суда над королем, вернее, только для решения вопроса о наказании. И мысль свести все функции самодержавного народа к праву определять наказание едва ли можно назвать наименее удачной идеей в общем плане. “Авторы этого плана, очевидно, предвидели некоторые возражения. Чувствуя, что мысль о возбуждении судебной процедуры во всех первичных собраниях Франции слишком смешна, они решили внести на их рассмотрение исключительно вопрос о наказании Людовика XVI; но этим они лишь усугубили нелепость своей затеи, нисколько не устранив ее неудобства. В самом деле, раз на обсуждение державного народа предложена часть процесса, то кто может помешать ему вести разбор всего дела? Кто станет отрицать за ним право пересмотреть процесс, принимать докладные записки, выслушать защиту обвиняемого, разрешить ему подачу просьбы о помиловании, и, таким образом, разобрать все дело? Неужели вы думаете, что лицемерные враги равенства не выставят этих соображений и не потребуют полной реализации верховных прав народа? Послушать их - и в каждом первичном собрании начнется судебная процедура. Но даже и в том случае, если она сведется к вопросу о наказании, неизбежны будут прения; а кто усомнится в своем праве обсуждать дело целую вечность, если даже Конвент не посмел решить его самостоятельно? Кто может определить срок окончания этого грандиозного процесса? Быстрота развязки будет в зависимости от интриг, которые возникнут в каждой из многочисленных секций Франции, от энергии или вялости подсчета голосов на первичных собраниях, от небрежности или усердия, от пристрастия или беспристрастия директорий, которые будут проверять списки и передавать их Национальному Конвенту. А между тем война с иностранными державами далеко не кончена; приближается момент, когда коалиция деспотов и сообщников Людовика XVI направит все свои силы против юной республики. И в этот момент нация будет погружена в прения об участии Людовика; она будет занята изучением уголовного кодекса, обсуждением вопроса о степени суровости наказания, взвешиванием доводов за или против; она будет застигнута врасплох, истощенная, изнуренная постыдными раздорами. Если к тому времени еще останутся в живых неустрашимые друзья свободы, которые преследуются теперь с такой яростью, то для них, конечно, найдется дело поважнее, чем разрешение того или другого судебного вопроса. Им придется лететь на защиту отечества, предоставив эту трибуну естественным приверженцам королевской власти - богачам, эгоистам, слабохарактерным и негодяям, друзьям фейльянов и аристократии. Как! разве граждане, которые сражаются теперь за свободу, разве все наши братья, покинувшие своих жен и детей, чтобы лететь ей на помощь, смогут заседать на ваших собраниях, если они будут находиться в лагере или на поле брани? Но кто больше их вправе решать спор между тиранией и свободой - уж не мирные ли граждане? Разве это дело - не их дело, прежде всего? Не они ли, наши отважные солдаты линейных войск, с первых же дней революции с презрением отвергали кровавые приказы Людовика, повелевавшего им перебить своих сограждан? Не они ли терпели за это гонения от двора, Лафайета и всех врагов народа? Кто, если не наши храбрые волонтеры, недавно спасли отечество своим высоким самоотвержением, отбив натиск приспешников деспотизма, объединившихся против нас по внушению Людовика? Оправдать тирана и его присных, это значило бы осудить этих героев; это значило бы предать их мести деспотизма и аристократии, которые никогда не переставали их преследовать, ибо никогда не прекратится смертный бой между истинными патриотами и угнетателями человечества. Итак, между тем как самые мужественные граждане будут проливать свою кровь за отечество, подонки нации, самые подлые и развратные существа, все рептилии крючкотворства, все чванные буржуа и аристократы, все бывшие привилегированные, таящиеся под маской патриотизма, - словом, вся челядь, рожденная ползать и угнетать под скипетром короля, очутившись господином положения, будет безнаказанно разрушать дело героев свободы, отдавать в рабство их жен и детей и нагло

решать судьбы государства! Вот тот ужасающий план, который дерзко предлагает нам - будем называть вещи их именами - глубочайшее лицемерие и наглешее мошенничество, прикрываясь флагом ненавистного им народного самодержавия! Но неужели вы не видите, что единственная цель этого проекта - уничтожение конституции; что, созвав первичные собрания, интриганы и фейльяны заставят их обсуждать все предложения, выгодные для их предательских целей; что они поставят под сомнение все, вплоть до учреждения республики, которое тесно связано с вопросами, касающимися низложенного короля? Неужели вы не видите, что коварный оборот, приданный суду над Людовиком, лишь воспроизводит в новой форме внесенное недавно Гаде предложение о созыве первичных собраний для проверки депутатских полномочий, - предложение, которое вы отвергли с негодованием? Неужели вы не видите, по крайней мере, что такая масса собраний не может высказаться совершенно одинаково, и что одно уж это разногласие в момент приближения неприятеля представляет величайшую опасность? Итак, бич войны с иностранными державами усилится бешеным вихрем гражданской войны; и в результате честолюбивые интриганы будут заключать сделки с врагами народа на развалинах отечества, на окровавленных трупах его защитников!

И эту-то безрассудную меру вам предлагают во имя общественного спокойствия, ее прикрывают желанием избежать гражданской войны! Вам говорят, что быстрое наказание короля, строившего козни против свободы, может вызвать гражданскую войну и привести к оставлению королевской власти. Стало быть, чтобы уничтожить тиранию надо сохранить тирана! Чтобы предотвратить гражданскую войну, надо немедленно возбудить ее! Жестокие софисты! Так рассуждали всегда те, кто желал османуть нас! Не во имя ли мира и даже свободы, Людовик, удаляет и все их сподвижники сеяли смуту в стране, не под этим ли предлогом поражали они патриотизм оружием и клеветой как в Учредительном Собрании, так и вне его?

“Чтобы склонить вас в пользу этого странного предложения, вам выставляли дилемму, на мой взгляд, не менее странную. Одно из двух, говорили вам: или народ хочет смерти тирана, или он ее не хочет. Если он хочет ее, то чем может помешать апелляция к нему? Если же нет, то какое право вы имеете казнить Людовика?”

“Вот мой ответ. Прежде всего, я не сомневаюсь, что смерть Людовика желательна народу, если под словом “народ” разуметь большинство нации, не исключая самой многочисленной, самой обездоленной и лучшей ее части, - той части, которая выносит на своих плечах все преступления эгоизма и тирании. Это большинство уже высказало свою волю, свергнув иго вашего бывшего короля; оно начало революцию, оно поддерживало ее. Это большинство сохранило чистоту нравов; оно исполнено мужества, но лишено хитрости и красноречия; оно повергает в прах тиранов, но часто попадает в сети плутов. Этому большинству нельзя надоедать постоянными собраниями, где слишком часто торжествует кучка интриганов; оно не может присутствовать на ваших политических митингах, ибо занято в мастерских; оно не может судить Людовика XVI, ибо выкармливает в поте лица своего здоровую молодежь, которую оно дает отечеству. Я вполне уверяюсь общей воле, особенно в ту эпоху, когда она поглощена насущными интересами общественного спасения. Но мне страшна интрига, особенно среди вызванных ею смут, особенно среди давно расставленных ловушек. Мне страшна интрига, когда ободрившаяся аристократия снова подымает свою надменную голову, когда, вопреки законам, возвращаются эмигранты, когда общественное мнение разъедается пасквилями, которыми наводняет Францию всесильная клика, - пасквилями, где нет ни слова о республике, где не упоминается о процессе Людовика Последнего, где проповедуются лишь выгодные ему взгляды, где обливается клеветой всякий, кто горячо отстаивает его осуждение. Ваша система клонится лишь к разрушению всего созданного народом и к объединению врагов, побежденных им. Если вы так боитесь нарушить самодержавие народа, умеете же чтить его волю, исполняйте возложенную на вас задачу: передача на его усмотрение того дела, которое он приказал вам как можно скорее закончить, это поистине насмешка над его суверенитетом! Если бы народ имел досуг для разбора процессов или для решения государственных вопросов, то он не возложил бы на вас заботу о своих интересах. Единственный способ показать ему нашу преданность - это давать, ему справедливые законы, а не возбуждать гражданскую войну. И по какому праву наносите вы оскорбление народу, сомневаясь в его любви к свободе? Выказывать подобное сомнение, не значит ли это породить его и поощрять дерзость всех приверженцев королевской власти?”

“Ответьте сами на другую дилемму: либо вы рассчитываете, что на первичных собраниях одержит верх интрига, либо полагаете, что на них восторжествует любовь к разуму и свободе. В первом случае, сознаюсь, ваши меры задуманы как нельзя лучше, чтобы разрушить республику и воскресить тиранию. Во втором случае, собравшиеся французы отвергнут с негодованием ваше предложение; они заклеят презрением недостойных представителей, которые не посмели исполнить свою священную миссию; они возненавидят трусливую политику тех, которые вспоминают о народном суверенитете лишь тогда, когда речь идет о сохранении призрака королевской власти; они будут возмущены тем, что их представители делают вид, будто не знают своих мандатов. Они спросят вас: почему вы совещаетесь с нами по поводу наказания величайшего из преступников, тогда как обвиняемый, наиболее достойный снисхождения, осуждается без всякого вмешательства с нашей стороны? Почему преступление должно определяться представителями нации, а наказание - самой нацией? Если вы компетентны в одном из этих вопросов, то почему некомпетентны в другом? Если у вас хватает смелости решить первый, то почему же вы так робки, когда дело касается второго? Неужели вы знаете законы хуже, чем граждане, избравшие вас для их выработывания? Или уголовный кодекс закрыт для вас? Разве вы не можете отыскать в нем наказание, установленное для заговорщиков? И раз вы решили, что Людовик строил заговоры против свободы и общественной безопасности, то что за камень преткновения мешает вам приговорить его к этому наказанию? Неужели этот вывод настолько неясен, что требуется тысяча собраний, чтобы придти к нему?”

“Какими доводами склонили вас к такому чудовищному абсурду? Вас хотели напутать призраком народа, требующего отчета в крови тирана... Слушай, французский народ! тебя подозревают в том, что ты готов потребовать у своих представителей отчета в крови твоего убийцы - и это с целью лишить их самих возможности потребовать у него отчета в твоей крови! А вас, народные представители, презирают настолько, что хотят довести вас, путем террора, до забвения добродетели. Если вы поддаетесь влиянию тех, кто так презирает вас, то мне нечего вам говорить, ибо страх, как известно, не рассуждает; но в таком случае, надо передать на суд народа не процесс Людовика XVI, а всю революцию.

“Граждане, я знаю вашу пламенную любовь к общественному благу; вы были последней надеждой отечества, вы можете еще спасти его. И все же мне думается порой, что мы начали свое дело при зловещих предзнаменованиях. Ведь и Учредительное Собрание, большинство которого было проникнуто наилучшими намерениями, изменило своему славному прошлому под давлением террора и клеветы со стороны интриганов! Меня приводит в ужас эта аналогия между двумя периодами нашей революции, столь памятными для всех, по милости одного и того же короля.

“Когда Людовик был задержан во время бегства и привезен в Париж, Учредительное Собрание так же боялось общественного мнения. Но его нисколько не пугали ни королевская власть, ни двор, ни аристократия: оно боялось только народа. Оно старалось окружить себя огромной военной силой для защиты от народа, дерзнувшего показать, что он желает наказания Людовика. Клеветы короля беспрестанно взводили на народ всевозможные обвинения - и вскоре пролилась народная кровь.

“Теперь, я согласен, уже нет речи об оправдании Людовика: мы еще слишком близки к 10 августа и дню крушения монархии. Но здесь хотят продлить его процесс до вторжения на нашу территорию иностранных держав и спасти его посредством гражданской войны. Нам не предлагают, правда, объявить его неприкосновенным, но зато советуют оставить безнаказанным; еще не решаются прямо восстановить его на троне, но думают выждать событий... В настоящее время Людовик имеет еще то преимущество перед борцами за свободу, что их преследуют с гораздо большим ожесточением, чем его самого; никто, конечно, не станет отрицать, что теперь их еще усерднее стремятся опозорить, чем в июле 1791 г. Якобинцев меньше чернили в Учредительном Собрании, чем это делается теперь, среди вас: тогда мы были крамольниками, теперь стали агитаторами и анархистами; тогда Лафайет и его сообщники не перерешали нас только по забывчивости, - надо надеяться, что их преемники будут не менее благосклонны к нам. Эти великие миротворцы, эти знаменитые законодатели уже объявлены изменниками отечеству; но мы от этого ничего не выиграли, ибо их старые друзья - некоторые члены тогдашнего большинства - и здесь стараются выместить на нас их обиды.

“Единственное средство предотвратить разложение государства - это раскрыть перед вами гибельный план врагов общественного блага; но нелегко выполнить с успехом этот долг. Какой благоразумный человек, более или менее знакомый с ходом нашей революции, мог бы надеяться разрушить в один миг чудовищное здание клеветы? Каким образом строгая истина могла бы рассеять обаяние, которым опутало лежковерных, а может быть, и патриотов, подлое лицемерие?

“Я наблюдал все, что происходило вокруг нас; от меня не ускользнули истинные причины наших раздоров. Я предвижу, что система, разоблаченная мною, погубит отечество: какое-то печальное предчувствие говорит мне, что она восторжествует. Я мог бы, до некоторой степени, предсказать будущие события, на основании моего знакомства с их руководителями. Несомненно одно, что к каким бы целям ни привела роковая мера, которую нам рекомендуют, она должна послужить тайным целям ее инициаторов. Чтобы добиться этих целей, им даже не нужна гражданская война, в собственном смысле слова; они рассчитывают на брожение умов, которое вызовут эти бурные, бесконечные прения. Люди, не желающие, чтобы Людовик пал под мечом закона, были бы не прочь видеть его жертвой народного гнева; и они не побрезгают никакими средствами для возбуждения его.

“Несчастный народ! Даже твои добродетели служат для врагов оружием против тебя! Верх искусства тирании - вызвать твое справедливое возмущение, чтобы затем вменить тебе в вину не только безрассудные поступки, на которые оно может тебя толкнуть, но даже те признаки недовольства, которые невольно вырвутся у тебя. Так вероломный двор, при помощи Лафайета, заманил тебя, как в западню, на алтарь отечества, чтобы устроить там бойню. Мало того: если бы один из многочисленных иностранцев, стекающихся в наши стены, если бы какой-нибудь неприятельский эмиссар совершил покушение на жизнь злополучного предмета наших раздоров, то и этот акт был бы приписан тебе. Против тебя подняли бы все департаменты, вооружили бы, если возможно, всю Францию - и это в награду за то, что ты спас ее!

“Несчастный народ! Ты слишком долго служил делу человеколюбия, чтобы быть невинным в глазах тирании! Враги твои скоро захотят удалить нас с твоих глаз, чтобы выполнить в тиши свои гнусные замыслы. Уходя, мы оставим тебе на прощанье разорение, нищету, войну и перспективу гибели республики! Если вы сомневаетесь в существовании подобного проекта, то вы, стало быть, никогда не задумывались над системой диффамации, раскинувшей свои сети среди вас, вплоть до вашей трибуны; вы, стало быть, не знаете истории наших печальных и бурных заседаний.

“Великую истину сказал вам оратор, заметивший вчера, что вы идете к распусшению Национального Собрания путем клеветы! Нужны ли еще доказательства, кроме этих споров? К чему клонятся они, если не к разжиганию взаимной ненависти, если не к раздуванию, посредством предательских инсинуаций, тех зловещих предубеждений, которые заронила клевета во многие умы? Не очевидно ли, в самом деле, что здесь ведется процесс не столько против Людовика XVI, сколько против самых горячих защитников свободы? Разве здесь восстают против тирании Людовика? Вовсе нет! Здесь возмущаются тиранией маленькой кучки угнетенных патриотов. Разве здесь страшатся заговоров аристократии? Ничуть! Нас пугают диктатурой каких-то представителей народа, которые будто бы хотят узурпировать его власть. Здесь хотят сохранить тирана,

чтобы выставить его против обезоруженных патриотов. Предатели! В их распоряжении вся военная сила, вся государственная казна - и они обвиняют нас в деспотизме! В республике нет ни одной деревушки, где они не закидали бы нас грязью; они растрачивают общественное достояние на свои пасквилы; они осмеливаются изменять общественному доверию, нарушая тайну корреспонденции, чтобы перехватывать депеши патриотов и заглушать крик истины и невинности, - и они же кричат о клевете! Они отнимают у нас даже право голоса - и нас же клеймят именем тиранов! Они видят бунт в скорбных порывах патриотизма, оскорбленного неслыханной изменой, они оглашают это святилище воплями ярости и мести!

“Да, это несомненно: существует проект унижить Конвент, а может быть и уничтожить его, пользуясь этим бесконечным процессом. И не в тех людях гнездится измена, которые стойко защищают принципы свободы, не в народе, который пожертвовал для нее всем, не в Национальном Конвенте, который стремится к добру и истине, и даже не в тех личностях, которые являются лишь игрушками злополучной интриги и слепым орудием чужих страстей: она гнездится дюжине-другой плутов, которые держат в своих руках все нити заговора. Храня молчание, когда обсуждаются важнейшие вопросы дня, не подавая голоса, когда решается участь последнего короля, они втихомолку возбуждают смуты, раздирающие нас теперь, и готовят бедствия, ожидающие нас в будущем.

“Как выберемся мы из этой бездны, если не вернемся к принципам и не взойдем к источнику наших бедствий? Возможен ли мир между угнетателем и угнетенным? Мыслимо ли согласие там, где не уважается даже свобода мнений? Всякая попытка нарушить ее есть покушение против нации. Народный представитель не должен никому позволять лишать себя права защищать интересы народа; это право могут отнять у него разве лишь вместе с жизнью.

“Чтобы увековечить раздоры и добиться господства в Национальном Собрании, некоторые господа придумали разделить его на большинство и меньшинство. Для них это новое средство оскорбить и принудить к молчанию тех, кого они подразумевают под меньшинством. Но я не знаю здесь ни большинства, ни меньшинства. Большинство есть масса добрых граждан; большинство не представляет собою постоянную величину, ибо оно не принадлежит ни к какой партии. Оно обновляется при каждом свободном совещании, ибо определяется общественными интересами и вечным разумом; и когда собрание, как бывает иногда, признает ту или иную ошибку, то меньшинство становится большинством. Общая воля не вырабатывается ни в подпольных собраниях, ни в министерских канцеляриях. Меньшинство имеет всюду одно неотъемлемое право-право быть глашатаем истины или, по крайней мере, того, что оно считает истиной.

“Добродетель была всегда в меньшинстве на земле. В противном случае, разве была бы земля населена тиранами и рабами? Гемпден<sup>3</sup> и Сидней<sup>4</sup> были в меньшинстве, ибо они умерли за свободу. Цезари, Критий<sup>5</sup>, Клодий<sup>6</sup> были в большинстве; но Сократ был в меньшинстве, ибо он выпил цикуту; Катон был в меньшинстве, ибо он пронзил себя кинжалом. Я знаю здесь многих, которые готовы послужить свободе не хуже Гемпдена или Сиднея; и будь их хоть не больше полсотни... Одна эта мысль должна привести в трепет гнусных интриганов, которые стараются обмануть большинство! В ожидании, пока они получают по заслугам, я требую решения участи тирана. Соединим наши силы для спасения отечества, и пусть эти прения примут, наконец, характер, более достойный нас и нашего дела! Положим конец всем этим плачевным инцидентам, позорящим нас; не будем тратить на взаимные нападки больше времени, чем это нужно для суда над Людовиком, и научимся ценить по достоинству предмет наших тревожений. Все, по-видимому, складывается, против общественного блага; характер наших дебатов волнует и раздражает общественное мнение, и оно болезненно реагирует против нас. Подозрительность народных представителей растет вместе с тревогой граждан. Малейший повод, самое ничтожное событие, к которому, казалось бы, мы должны отнестись с полнейшим хладнокровием, раздражает нас; злонамеренные лица ежедневно измышляют и распространяют все новые басни, и таким образом, мельчайшие причины могут повести к самым ужасным последствиям. Незначительное проявление общественного возбуждения, которое так легко подавить, является предлогом для самых опасных мер и предложений, совершенно несоответствующих нашим принципам.

“Народ, избавь нас, по крайней мере, от этой немилости: подожди с рукоплесканиями до того дня, когда мы установим законы на пользу человечества! Неужели ты не видишь, что подаешь им повод чернить святое дело, которому мы служим? Вместо того, чтобы нарушать эти строгие правила, избегай лучше зрелища наших дебатов. Мы и вдали от тебя будем не менее горячо бороться; нам одним теперь защищать твое дело! Когда падет последний из твоих защитников, отомсти за них, если хочешь, и возьми на себя задачу окончательного торжества свободы!

“Граждане, кто бы вы ни были, блюдите вокруг Тампля; останавливайте руку коварных злодеев или ослепленных патриотов, разрушайте козни наших врагов. Роковой залог! Разве мало того, что деспотизм тирана так долго тяготел над этим бессмертным городом? Неужели даже пребывание его под стражей должно подать повод к новым несчастьям? Не хотят ли тянуть без конца этот процесс только для того, чтобы сделать из него вечный источник клеветы на народ, низвергнувший трон?

“Я доказал, что предложение передать процесс Людовика XVI на рассмотрение первичных собраний влечет за собой гражданскую войну. Если мне не суждено содействовать спасению моей родины, - помните, по крайней мере, что я всеми силами старался предотвратить угрожающие ей бедствия. Я требую, чтобы Национальный Конвент объявил Людовика виновным и достойным смерти”.

Робеспьер не только показал, со своей обычной логикой, к каким гибельным последствиям может привести обращение к нации, но и вскрыл истинный характер этой меры; он доказал, что апелляция к народу есть, в сущности, апелляция против народа к тем слоям буржуазии, представителями которых являлись жирондисты. И народ оценил стойкость и дальновидность своего защитника; речь Робеспьера была

напечатана на общественный счет, по подписке среди парижских граждан. Она нашла отклик даже в департаментах, где было сильно влияние жирондистов. В Конвент снова стали приходиться с разных концов Франции петиции с требованием головы Людовика XVI. 30 декабря в собрание явилась депутация от восемнадцати парижских секций; в рядах ее находились раненные 10 августа, жены и дети граждан, павших в этот день. Слова оратора депутации дышали пламенем народного гнева.

“Законодатели, - воскликнул он, обращаясь к Конвенту, - вы видите вдов и сирот, изувеченных и израненных патриотов, которые пришли к вам требовать мести. Это жертвы, ускользнувшие от смерти, на которую обрек их тиран Людовик. Разве вы не слышите грозный голос, гремящий с неба: “Кто проливал кровь своих ближних, в свою очередь, да погибнет!..” Слезы этих вдов, вопли этих сирот, стоны этих калек, тени сотен и тысяч павших борцов призывают вас моими устами выполнить это веление природы. Вслушайтесь в их голос! Людовик был изменником, клятвопреступником, убийцей, а вы так долго рассуждаете о том, должен ли он понести кару за свои злодеяния! Все человеческие законы требуют смерти убийцы; Людовик был убийцей многих тысяч французов, а вы еще колеблетесь! Он перебил граждан, которых обязан был защищать; следовательно, он должен умереть... Таков приговор, вынесенный общественной моралью и народным правосудием, приговор, которого не могут уничтожить пустые словопрения друзей и защитников народа”.

После этой речи депутация продефилировала через залу конвента. Вид осиротевших детей и женщин, изувеченных патриотов, из которых некоторые проносили на носилках, не мог не произвести на собрание тяжелого впечатления. Это впечатление не благоприятствовало плану жирондистов: оно кончилось скорее побуждением к быстрому суду над королем, чем к откладыванию дела в долгий ящик, посредством апелляции к народу. Жирондисты решили теперь выдвинуть свою главную, ораторскую силу. Вернее тем более, что одно замечание Робеспьера об “интригах”, которые “хранят молчание при обсуждении важнейших вопросов дня”, по-видимому, относилось непосредственно к нему. На другой день, 31 декабря, он произнес следующую речь:

- “Граждане, в вопросе, столь важном по своей тесной связи с общественным, спокойствием и национальной славой, нельзя принимать страсти за принципы и личные побуждения - за меры общей безопасности. Позвольте мне высказать несколько соображений о народном самодержавии, чтобы прийти к достойному вас выводу. Я придерживаюсь их, ибо считаю их правильными; пусть мне докажут их ложность не клеветой или угрозами, которые только способны еще больше утвердить свободного человека в его мнении, а вескими доводами, и я готов от них отказаться.

“Что такое самодержавие народа, о котором беспрестанно говорят, которое, хочется мне думать, превозносят не шутя, которое, без сомнения, искренно чтит Национальный Конвент? Это право издавать законы, уставы, - словом, всевозможные акты, необходимые для процветания социального организма. Народ пользуется этим правом или непосредственно, или через своих представителей. В последнем случае - а так именно происходит у нас - решения народных представителей получают силу закона; но почему это? Потому, что в них усматривается выражение общей воли. Только из этого предположения и вытекает их сила; им одним обуславливается их важное значение. Отсюда следует, что за народом остается неразрывное с его самодержавием право выражать одобрение или порицание; в том случае, если предполагаемая народная воля оказывается несоответствующей действительной, народ безусловно вправе высказать свое мнение, после чего его мнимая воля, т.е. решение национального представительства, теряет силу. Отнять у народа это право значило бы лишить его самодержавия и перенести его власть, путем преступной узурпации, на избранных им представителей; это значило бы превратить их из народных представителей в монархов и тиранов.

“Ваш образ действий соответствовал этим принципам; вы только провели разницу между конституцией, с одной стороны, и актами чисто законодательными, уставами или мерами общей безопасности - с другой. Так как конституция является основой общественной организации, договором, связывающим граждан между собою, то вы справедливо думали, что она должна быть представлена на формальное утверждение всех членов социального организма. Что касается актов чисто законодательных, то в виду того, что они по необходимости весьма многочисленны; что они меняются сообразно месту, времени и обстоятельствам; что обсуждение их народом противоречит природе представительного правления, которое вводится именно потому, что обширность территории или другие причины не позволяют народу пользоваться своей верховной властью непосредственно, - в виду всех этих соображений вы справедливо полагали, что подобные акты вполне достаточно подвергать безмолвной ратификации, т.е., что для их вступления в законную силу достаточно отсутствие протеста со стороны народа, за которым всегда остается право высказаться окончательно.

“Резюмирую сказанное. Всякий акт, исходящий от народных представителей является актом тирании и узурпацией верховной власти, если он не подвергнут либо формальному, либо безмолвному утверждению народа; следовательно, будущий приговор ваш над Людовиком должен быть подвергнут одной из этих двух форм ратификации.

“Мне скажут, пожалуй, что ваш приговор, даже после его исполнения, будет подвергнут безмолвной ратификации. Но говорить так - значит оскорблять народ с неслыханной наглостью. Молчание может приниматься за знак согласия, т.е. безмолвное утверждение может быть допустимо лишь тогда, когда тот, кто молчит, имеет возможность высказаться с известным успехом. Здесь же очевидно, что если ваш приговор будет приведен в исполнение, то народу останется только испускать бесплодные и чисто-призрачные протесты.



“Вас хотят приравнять к обыкновенным трибуналам; и из того факта, что приговоры последних не подвергаются санкции народа, выводят заключение, что она излишня и для ваших приговоров. Но какая тут огромная разница! И можно ли искренно выставлять подобное возражение? Судьи трибуналов, правда, являются уполномоченными народа; но их полномочия отнюдь не носят характера представительства. Им не приходится выражать личной воли. Они представляют собой лишь органы общественной воли, уже выраженной в законе. Их функция состоит исключительно в применении этого закона.

“Вы же, граждане, одновременно и уполномоченные народа, и его представители. Ваше личное мнение всегда считается выражением общего мнения, хотя еще и не высказанного; это именно предположение, на котором зиждется вся его сила, делает необходимым формальное или молчаливое утверждение. Только в качестве народных представителей вы могли объявить себя судьями Людовика, только в качестве таковых вы могли соединить в своем лице функции обвинительного жюри, судебного жюри, законодателей, определяющих порядок судопроизводства, и судей, выносящих приговор. Это соединение функций законно, скажут мне, ибо полномочия, полученные вами от народа, неограниченны. Я замечу по этому поводу, что, как бы обширны ни были ваши полномочия, они по своей природе кончаются там, где начинается деспотизм. Народ, избирая вас своими представителями, вовсе не намеревался дать себе деспотов. Это соединение властей законно: пусть так! И тем не менее, оно ужасно, и, тем не менее, это такое чудовищное явление в политической сфере, что если бы оно когда-либо возобновилось (а допуская в принципе неограниченность полномочий, почему бы ему не возобновиться?), то, скажу смело, оно скоро привело бы нас к тирании. Ни один из ваших актов, за всю вашу сессию, не будет так нуждаться в ратификации народа, как именно приговор над Людовиком.

“Если необходимы доводы для доказательства столь очевидных истин, то я могу привести один из них, весьма убедительный. Когда Людовик принял конституцию, народ сказал ему: “За твои действия будут ответственны министры, но ты сам останешься неприкосновенным”. Я вовсе не намерен унижать себя, выступая защитником нелепого догмата неприкосновенности. Неприкосновенность, которая могла бы обеспечить безнаказанность Людовику, неприкосновенность полная и абсолютная, которая покрывала бы все преступления монарха, - такая неприкосновенность являлась бы, с одной стороны, устранением личности, именуемой королем, из-под верховной власти народа, а с другой стороны, отречением народа от своего суверенитета в пользу той же личности. Подобное устранение, подобное отречение, противное природе вещей, не могут быть оправданы никаким декретом, никаким законом. Этот принцип, долгое время погребенный под тяжестью наших предрассудков, теперь признан всеми; оспаривать его было бы равносильно отрицанию света. Однако, если справедливо, что Людовик не может сослаться на обещанную ему неприкосновенность перед народом, которому он изменил, то не менее достоверно и то, что только один народ вправе наказать Людовика, вопреки им же установленной неприкосновенности. Поясняю свою мысль. Неприкосновенность была обещана Людовику не только собранием народных представителей, она была обещана ему самим народом; ибо каждый гражданин в отдельности, присягая лично на верность конституции, подтверждал это обещание. Вы можете провозглашать хоть сейчас, как вечную истину, что обещание неприкосновенности, данное народом Людовику, не обязательно для народа; но народ один вправе решить, намерен ли он или нет исполнить свое обещание. Вы можете объявить во всеуслышание, что народ в действительности никогда не может отречься от права наказывать тирана; но народ один в состоянии решить, захочет ли он воспользоваться этим ужасным правом, от которого раньше отказался. Это не простая гипотеза. Именно в данном случае общая воля уже высказалась - она была за неприкосновенность. Вы, конечно, можете выразить обратное мнение, если оно кажется вам более соответствующим общественному благу. Но не помышляйте о том, чтобы самовольно подменить этим частным мнением уже известную общую волю; тогда вы явились бы узурпаторами верховной власти и совершили бы сами одно из преступлений, за которое хотите наказать Людовика.

“Иные утверждали, что обсуждение в первичных собраниях сопряжено с непреодолимыми трудностями, что это значило бы оторвать земледельцев от плуга, рабочих от станка, что такое обсуждение тяготило бы граждан, утомляло бы их бесконечными спорами о всевозможных юридических тонкостях. При этом присовокуплялось, что, пока мы будем заниматься вздорными препирательствами, иностранные державы, пользуясь истощением наших сил, вторгнутся в страну, и что истинные друзья свободы, которые полетят на защиту родины, должны будут опасаться возрождения для нее тирании. В этой декламации - чрезвычайно трогательной - правда, видна немалая претензия на чувствительность; но я ищу в ней, сверх того, убедительных доводов. В самом деле, где же эти великие трудности, о которых говорят нам? Разве кто-нибудь предлагает отослать на рассмотрение первичных собраний защитительную речь в пользу Людовика, предъявленные ему документы и решение Конвента, подобно тому, как раньше передавали приговоры сенешала на рассмотрение парламента? О! это было бы, действительно, политическим абсурдом! Определим точнее свою мысль и постараемся придти к соглашению. Мы должны исполнить две обязанности: во-первых, дать возможность народу высказать свое мнение по поводу важного акта национального представительства, во-вторых, указать ему для этого простой способ, не сопряженный нет с какими неудобствами. Итак, дело сводится вот к чему. Одно из двух: мы принимаем за исходную точку либо проект Салля, либо другой проект, предлагающий подвергнуть ратификации уже вынесенный приговор.

“В первом случае вы высказываетесь только по поводу фактической стороны, т.е. виновен Людовик или невиновен; вынесение же приговора предоставляется первичным собраниям. Во втором случае фактическая сторона дела тоже предполагается решенной, равно как и вопрос о наказании. В чем же тогда заключается задача первичных собраний? В утверждении или изменении вашего приговора. В обоих случаях на их обязанности лежит лишь выбор наказания для Людовика. Как же будет сделан этот выбор первичными

собраниями? Нет ничего проще. Вы назначите день, когда они должны собраться, и укажете способ голосования. Каждый гражданин напишет свое мнение, опустит бюллетень в урну, и затем каждое первичное собрание сделает подсчет своих голосов. Быть может, на это возразят, что если граждане будут голосовать посредством бюллетеней, без предварительного обсуждения дела, то от них нельзя будет ждать выбора такого наказания, которое предписывается политическими соображениями. Я отвечу на это, что какие бы то ни было политические соображения в процессе Людовика поддерживаются единственно сомнениями насчет общей воли. Только лишь неуверенность в совпадении воли Конвента с народной волей может благоприятствовать агитаторам, а также доставить повод иностранным державам напасть на Конвент и подготовить гибель свободы уничтожением национального представительства. Пусть эта неуверенность рассеется, пусть громко раздастся голос всей нации, каков бы он ни был, - и опасения исчезнут вместе с предлогом для волнений.

“Далее, нам возражали, что мы не имеем права ограничивать проявление народного самодержавия в первичных собраниях; что раз созванные для решения вопроса о наказании Людовика, они смогут, при желании, углубиться во все подробности процесса. Но если бы такова была воля народа, то он не стал бы ждать вашего декрета, чтобы привести ее в исполнение. Ваша власть зависит от него; его же самодержавие независимо от вас. Первичные собрания будут обсуждать только этот вопрос, который вы им предложите. Непреодолимая сила будет удерживать их в границах, очерченных вами. Это та самая сила, которая после декрета Законодательного Собрания о созыве Национального Конвента заставила их строго следовать всем его предписаниям, как о порядке выборов, так и о числе депутатов; та же сила окажет свое действие, когда на очереди будет вопрос об утверждении новой конституции. Эта сила - сила разума; это - внутреннее сознание необходимости единодушного образа действий во всей республике; это внутренне убеждение в невозможности предаваться спорам, которые, принимая бесконечно разнообразные формы в шести тысячах первичных собраний, повергли бы республику в хаотическое состояние. Это убеждение, как я упоминал выше, восторжествовало уже в эпоху созыва Национального Конвента. Вы льстите себя надеждой, что оно восторжествует и в момент предъявления народу новой конституции. На каком же основании думаете вы, что оно окажется бессильным при решении участи Людовика?

“Нам говорили о раздорах, об интригах, о гражданской войне; нам рисовали душераздирающие картины.

“Раздоры! Вы, стало быть, думаете, что и в департаментах агитаторы пользуются таким же влиянием, какое, благодаря постыдной небрежности, им удалось приобрести в Париже? Но это огромная ошибка. Эти зловерные люди, правда, размножились по всей республике; верные своей миссии, они старались изо всех сил поднять смуты. Но их повсюду отталкивали с презрением; повсюду население давало блестящие доказательства уважения к закону, щадя нечистую кровь, текущую в их жилах. Департаменты всегда повинуются общей воле; они знают, что на этом повиновании зиждется политическая и личная свобода! Каждое первичное собрание пошлет результат своего голосования в округ; каждый округ, сделав подсчет голосов своих первичных собраний, пошлет результат в департамент; наконец, каждый департамент, по подсчете голосов своих округов, пошлет итог в Национальный Конвент. Национальный Конвент провозгласит общий результат голосования; и клянусь любовью к отечеству всех французов, клянусь их преданностью делу свободы, их непоколебимой верностью закону, - не найдется ни одного из них, кто позволил бы себе роптать против объявленного результата? “Но интрига! интрига спасет короля! Нас старались уверить в том, что большинство нации состоит из интриганов, аристократов, фейльянов, умеренных, из тех “порядочных людей” - контр-революционеров, о которых говорил Лафайет у этого барьера; и чтобы оклеветать большинство народа, перед которым так гнусно лебезят при других обстоятельствах, некоторые не постеснялись даже позорить весь род человеческий. Они восклицали, что добродетель была всегда в меньшинстве на земле. Но Катилина тоже был в меньшинстве в римском сенате; и если бы это наглое меньшинство одержало верх, то пришел бы конец Риму, сенату и свободе. Но и в Учредительном Собрании - по крайней мере, до пересмотра конституции - Казалес<sup>7</sup> и Мори<sup>8</sup> были также в меньшинстве; и если бы этому меньшинству, вышедшему наполовину из дворянского, наполовину из духовного сословия, удалось своими благородными и елейными порывами заглушить пыл большинства, то настал бы конец революции, и вы до сих пор пресмыкались бы у ног того же Людовика, которому теперь от всего бывшего величия осталось только раскаяние в злоупотреблении им. Да, наконец, и короли в меньшинстве на земле, и для порабощения народов они также утверждают, что добродетель всегда в меньшинстве; они также говорят, что большинство народов состоит из интриганов, которых надо принудить к молчанию террором, для предохранения государств от полного разрушения.

“Итак, большинство нации состоит из интриганов, аристократов, фейльянов и т.п.! Очевидно, по мнению людей, высказывающих столь лестный для их родины взгляд, во всей республике поистине не подкупны, поистине добродетельны, поистине преданы свободе и народному делу только они одни, да, пожалуй, какая-нибудь сотня их приятелей, которых они великодушно пожелают приобщить к своей славе. Чтобы дать возможность этим господам основать правительство, достойное их заветных убеждений, не мешало бы, я думаю, изгнать из страны все семьи, столь глубоко погрязшие в разврате, превратить Францию в обширную пустыню и для скорейшего ее возрождения и наивысшей славы отдать её в жертву их выспренным идеям!

“Раздоры, интриги, гражданская война! Но ведь вы сами голосовали за декрет, гласящий, что новая республиканская конституция будет предложена на утверждение народа. Вы не боялись тогда ни интриг, ни гражданской войны. Отчего же столько уверенности в одном случае и столько страхов в другом? Если вы серьезно опасаетесь, что передача приговора на утверждение народа приведет к гражданской войне, то почему не пугает вас эта ужасная перспектива при ратификации республиканских институтов? Если же,

наоборот, вы не боитесь ее там, то зачем же тут измышлять всевозможные ужасы? Или будьте последовательны в своих опасениях, или откажитесь от надежды убедить нас в их искренности.

“Наши противники чувствовали, как легко рассеять все эти призраки, которыми хотели нас пугнуть. Желая заранее ослабить значение ответов, которые уже предвиделись, они прибегли к самому подлому, самому низменному средству - клевете. Они представили всех, кто разделяет взгляд Салля, в виде заговорщиков против свободы и друзей монархии. Нас отождествили с Ламетами и Лафайетами, со всеми прислужниками трона, в низвержении которого мы принимали” участие. На нас возводят всевозможные обвинения. Меня, разумеется, это не удивляет: есть люди, которым свойственно с каждым дыханием изрыгать клевету, подобно тому как свойственно змее выделять яд.

“Нас обвиняют! А если бы мы обладали бесстыдной надменностью или лицемерным тщеславием наших обвинителей; если бы, подобно им, мы любили кичиться сделанной нами долей добра, - то мы рассказали бы, с каким мужеством боролись мы против тирании королей и еще более опасной тирании разбойников, задумавших в сентябре основать свое могущество на развалинах трона. Мы рассказали бы, как мы содействовали, по крайней мере, подачей голосов, изданию декрета, уничтожавшего аристократическое различие между активными и пассивными гражданами и призывавшего всех членов общества к равному пользованию верховной властью. Мы рассказали бы далее, как 10 августа мы покинули президентское кресло только для того, чтобы предложить с трибуны декрет об отрешении от власти Людовика, между тем как эти храбрые Бруты, всегда готовые избивать безоружных тиранов, прятались в подпольях, выжидая там исхода борьбы между свободой и деспотизмом.

“Нас обвиняют, нас хотят предать, как 2 сентября, кинжалам убийц! Но мы знаем, что Тиберий Гракх погиб от руки обманутого народа, которому он посвятил всю свою жизнь. Его участь нас нисколько не страшит! Вся наша кровь принадлежит народу; и, отдавая ее за него, мы будем сожалеть лишь об одном, что не можем предложить ему еще больше.

“Нас обвиняют в том, что мы стремимся, если не разжечь гражданскую войну в департаментах, то по меньшей мере вызвать волнения в Париже, пропагандируя неугодные “истинным друзьям свободы” взгляды. Но почему, спрашивается, тот или другой взгляд должен вызвать беспорядки? Потому, что эти “истинные друзья свободы” угрожают смертью гражданам, рассуждающим не так, как они. Не таким ли путем думают доказать нам независимость Национального Конвента! В Париже будут волнения, и эти волнения предсказываете вы; поражаюсь прозорливости таких пророков! В самом деле, не находите ли вы, граждане, чрезвычайно трудным предсказать пожар какого-нибудь здания, поджигая его собственноручно? “Да, гражданской войны хотят они, люди, проповедующие убийства, преступления, тиранию и в то же время называющие сторонниками тирании будущие жертвы своей ненависти! Гражданской войны хотят они, люди, призывающие кинжалы против представителей нации и восстание против законов! Гражданской войны хотят они, люди, требующие распущения правительства, уничтожения Конвента! А что они стремятся именно к этому, видно из того, что они возводят в принцип не то бесспорное положение, что в многочисленном собрании меньшинство может иногда оказаться правым, а большинство - впасть в ошибку; нет, они возводят в принцип тот взгляд, будто меньшинство вправе судить ошибки большинства и санкционировать восстания против его воли, будто какой-нибудь Катилина вправе требовать от сената, чтобы место общей воли заняла личная и место свободы - тирания. Гражданской войны хотят они, люди, проповедующие с трибуны, на площадях, в народных собраниях, подобные взгляды, разрушительные для всякого общественного порядка; люди, обвиняющие разум в предательском фельянтизме, справедливость - в позорном малодушии и человеколюбии, святое человеколюбие, - во всевозможных комплотах; люди, объявляющие изменником всякого, кто не стоит на высоте убийства и разбоя; люди, извращающие, наконец, всякую нравственную идею и не перестающие коварными речами и лицемерной лестью толкать народ к самым плачевным крайностям!

“Гражданская война - только потому, что мы предлагаем воздать уважение народному суверенитету! По вашему, стало быть, самодержавие народов - бедствие для человечества? Понимаю вас: вы хотите царствовать! Ваше честолюбие не заходило так далеко в день событий на Марсовом поле. Тогда вы редактировали и собирали подписи под петицией, предметом которой было обращение к народу для решения участи Людовика, привезенного из Варенна. Вы не терзались тогда страхом раздоров; вам не стоило никакого труда признать верховную власть народа. Или, быть может, дело все в том, что в тот момент она благоприятствовала вашим тайным целям, тогда как теперь противоречит им? Или для вас не существует другого суверенитета, кроме суверенитета ваших страстей? Безумцы! Неужели вы воображали, что Франция разбила скипетр королей только для того, чтобы склонить голову под новым позорным ярмом?

“Здесь говорилось о мужестве, о величии души; было бы слабостью, уверяли нас, не приводить в исполнение приговора над Людовиком без утверждения его народом. Я не знаю большего достоинства для законодателя, чем непоколебимая стойкость в убеждениях. Я знаю, что в революционные эпохи приходится набрасывать покрывало на стацию закона. Однако, мне кажется, тут странно злоупотреблять этим положением. Если вы хотите совершить революцию против тирании, вы должны набросить покрывало на стацию закона, освящающего или охраняющего тиранию. Но если вы окутаете покровом стацию закона, санкционирующего народное самодержавие, то этим лишь сделаете первый шаг к восстановлению деспотизма. 10 августа, действительно, нужно было мужество, чтобы напасть на Людовика во всем блеске его могущества. Но много ли храбрости надо теперь, чтобы послать на казнь Людовика, побежденного и обезоруженного? Кимврский солдат входит в тюрьму Мария, чтобы убить его; но, ужаснувшись при виде своей жертвы, он убегает, не смея поднять на нее руку. Если бы этот солдат был членом сената, то неужели, по вашему, он поколебался бы подать голос за смерть тирана? Какую же заслугу вы видите в поступке, на который способен всякий трус?

“Нас думают сразить тем доводом, что, представив приговор на утверждение народа, мы окажем этим Людовику особую привилегию, а следовательно, нарушим принципы равенства. Но разве вы уже не выделили Людовика из общего уровня, издав декрет о том, что судить его будет сам Конвент? Разве уважались принципы равенства, когда вас убеждали устранить его от трибуналов, суду которых подлежат все граждане, и судить без соблюдения обычных формальностей? Людовик - не обыкновенный обвиняемый; это всем известно. Нам не перестают твердить, что его существование послужит источником постоянных смут. Почему же не подумать о том, не приведет ли его смерть к еще большим беспорядкам?”

“Мне слишком дорога слава моей родины, чтобы предлагать Конвенту руководиться в столь важном случае соображениями о том, что сделают или чего не сделает иностранные державы. Однако, беспрестанно слыша, что в настоящем процессе мы выступаем, как политическая власть, я полагаю, что ни достоинство ваше, ни разум не воспрепятствуют поговорить о политике.

“По всей вероятности, один из мотивов, побуждающих Англию пока еще не нарушать открыто нейтралитета, а Испанию - обещать его, является боязнь ускорить гибель Людовика присоединением к европейской коалиции. Будет ли жить Людовик, или он умрет, - возможно, что в обоих случаях эти державы объявят нам войну. Но, как бы там ни было, его казнь увеличивает шансы за открытие ими враждебных действий: она наверное послужит к нему поводом.

“Вы, несомненно, победите этих новых врагов; мне ручается за это мужество наших солдат и правота нашего дела. Однако, постарайтесь отрезвиться от опьянения нашими первыми успехами. Наши расходы значительно увеличатся; для армий понадобится новый рекрутский набор; нам придется создать военную силу на море; наша торговля, и без того сильно пострадавшая от неурядиц в колониях, подвергнется новым испытаниям; новые опасности встанут пред нашими солдатами, которые, пока мы здесь спокойно решаем их участь, встречают грудью всякие невзгоды, суровость климата, труды, болезни и самую смерть.

“А что если заключение мира станет более затруднительным; если война, затянувшись роковым образом, приведет наши финансы в такое состояние, о котором нельзя без содрогания и подумать; если она принудит вас к новому выпуску ассигнатов, который страшно повысит цены на предметы первой необходимости; если она усилит народную нищету, нанеся новый ущерб нашей торговле; если она разольется потоками крови по суше и по морю, - то какую услугу окажут человечеству ваши политические расчеты? Какой благодарности можете вы ждать от народа, совершив от его имени, вопреки его непризнанному суверенитету, акт мщения, который послужит причиной, или хотя бы предлогом, столь ужасных бедствий? Осмелитесь ли вы тогда хвалиться перед ним своими победами? Не говорю уже о неудачах и поражениях, я отгоняю мысль о всяких зловещих предзнаменованиях; но сам естественный ход событий, даже наиболее благоприятный, приведет нашу родину к постепенному истощению, вследствие крайнего напряжения сил. Ее население поредеет, благодаря огромному числу жертв, выхваченных войной. В сельском хозяйстве скоро станет ощущаться недостаток рабочих рук. Огромные издержки потребуют новых налогов. Общественный организм, изнуренный ударами извне, со стороны сильных врагов, и конвульсивными толчками изнутри, со стороны крамольников, впадет в смертельную прострацию. Берегитесь, как бы среди всех своих триумфов Франция не походила на те знаменитые египетские памятники, которые одержали победу над веками. Путешественник поражается их величием. Но, проникнув внутрь, что он находит? Бездушный прах и безмолвие могилы...”

“Граждане, всякий из нас, кто уступил бы личному страху, был бы трусом, недостойным заседать во французском сенате. Но страх за судьбу отечества, если даже он обуславливается узостью умственного кругозора, во всяком случае, делает честь сердцу. Я изложил вам часть своих опасений. Но это еще не все.

“Когда Кромвель, на которого вам уже ссылались, задумал погубить партию, при помощи которой он опрокинул трон и возвел на эшафот Карла I, он сделал ей коварные предложения, прекрасно понимая, что они возмутят нацию; при этом он позаботился поддержать свои предложения на эльм и рукопесканиями и шумными возгласами. Та же участь постигла и его. Восстание охватило всю страну, и Кромвель без труда разбил орудие, которым он воспользовался для достижения высшей власти.

“Вы, конечно, слышали, как в этой зале, и повсюду вне ее, раздаются бешеные крики: “Если хлеб дорог - причина этому в Тампле; если денег мало, если наши армии терпят недостаток в провианте, - причина этому в Тампле; если нас ежедневно терзает зрелище нищеты - причина опять-таки в Тампле!”

“Однако, люди, испускающие подобные возгласы, знают, что дороговизна хлеба, недостаток в продовольствии, плохая организация армий и нищета, удручающая наши взоры, - что все эти бедствия зависят от причин, не имеющих отношения к Тамплю. Какую же цель они преследуют? Кто может поручиться, что те же личности, которые постоянно стремятся очернить Конвент и, верно, успели бы в этом, если бы воплощенное в нем величие народа зависело от их козней: что те же личности, которые повсюду кричат, что необходима новая резолюция, которые то-и-дело объявляют какую-нибудь секцию в непрерывном восстании, которые заявляют в Коммуне, что после замещения Людовика Конвентом произошла лишь перемена тирана, что нужно повторить 10 августа; что те же личности, которые проповедуют на собраниях секций и в своих органах необходимость избрания защитника для республики, необходимость одного вождя, который будто бы спасет ее, - кто может поручиться, спрашиваю я, что те же самые личности, после смерти Людовика, не будут кричать еще неистовее: “Если хлеб дорог - причина этому в Конвенте; если у нас мало денег, если наши армии страдают от недостатка провианта - причина этому в Конвенте; если правительственная машина еле-еле поворачивается - причина этому в Конвенте; если бич войны усилился открытием военных действий со стороны Англии и Испании, то причину опять-таки Конвент, который вызвал этот взрыв слишком поспешным осуждением Людовика!..”

“Кто поручится мне зато, что к этим буйным крикам мятежной анархии не присоединят свой голос мстительная аристократия, жадная к переменам нищета и даже сострадание, вызванное закоренелыми предрассудками? Кто поручится мне, что во время этой новой бури, когда выйдут на свет из своих логовищ убийцы 2 сентября, вам не укажут среди них обгащенного кровью защитника, того пресловутого вождя, который будто бы стал для нас так необходим? Вождя! А если их дерзость действительно дойдет до такой степени, то он появится только для того, чтобы быть мгновенно растерзанным на мельчайшие клочки! Но какие ужасы, тем не менее, ждут Париж, - тот самый Париж, который своим героизмом приведет в восторг будущие поколения! Они не дойдут, как мог он поддаться позорному игу горсти разбойников, подонков человечества, которые копошатся в его недрах и раздирают его на части судорожными порывами честолюбия и ярости. Кто будет населять город, который станет царством отчаяния и смерти? А вы, трудолюбивые граждане, живущие трудом рук своих, вы, принесшие столько великих жертв на алтарь революции, вы, которые по своим добродетелям, своему пламенному патриотизму и прямоте так легко становитесь добычей обманщиков, - что будет с вами, когда у вас отнимут орудия труда и лишат вас последних средств к существованию? На что сможете вы тогда надеяться? Кто утрет ваши слезы и протянет руку помощи вашим семьям, в их безысходном отчаянии?”

“Или, может быть, вы обратитесь к вашим мнимым друзьям, к этим вероломным льстецам, которые повергнут вас в пучину горя? О, нет! Лучше бегите подальше от них! Страхитесь их ответа: я скажу вам его заранее. Когда вы попросите у них хлеба, они скажут вам: “Пойдите в подземелья, выройте там окровавленные останки наших жертв! Или вы хотите крови? Вот она, пейте. У нас нет для вас другой пищи, кроме крови и трупов!” Вы содрогаетесь, граждане? О, родина! Не забудь же и моих усилий для спасения тебя из этого ужасного кризиса!

“Но, нет, никогда не наступят для нас эти мрачные дни! Слишком трусливы они, эти убийцы, слишком трусливы наши маленькие Марины, вскормленные грязью того болота, где некогда скрывался этот тиран, знаменитый хоть своими великими талантами. Они знают, что посмей они сделать попытку к осуществлению своего комплота против Конвента, - и сам Париж выйдет, наконец, из своего оцепенения; что к нему присоединятся все департаменты, чтобы раздавить их и заставить их искупить заслуженной казнью все злодеяния, которыми запятнали они величайшую из всех революций. Они знают это - и их трусость спасет республику от их злобы. Я, по крайней мере, убежден в том, что они не властны над свободой, что, забрызганная кровью, она все же победоносно воспрянет и найдет непобедимых защитников в департаментах. Но неужели разрушение Парижа и распадение Франции - столь же возможные и, пожалуй, более вероятные, чем гражданская война, которой нам угрожают, - не достаточно важны для того, чтобы попасть на чашку весов, на которых взвешивается жизнь Людовика?”

“Один из предыдущих ораторов выражал опасение, что здесь пройдет предложение об апелляции к народу. Меня же, наоборот, терзает предчувствие, что восторжествует именно противоположный взгляд. Кто хоть сколько-нибудь знаком с человеческим сердцем, тот знает, как влияют на людей ожесточенные нападки и страх прослыть слабохарактерным. Впрочем, мне неизвестно, что критикуемого мною взгляда придерживаются и многие патриоты, внушающие мне глубокое уважение своим мужеством, просвещенностью и честностью.

“Во всяком случае, я заявляю, что каково бы ни было постановление Конвента, я буду смотреть, как на изменника, на всякого, кто не подчинится ему. Мнения свободны до тех пор, пока не выяснилась воля большинства; они свободны и после того, но тогда уже повиновение является долгом.

“В самом деле, допустим, что одержало верх мнение депутатов, стоящих за апелляцию к народу, и что мятежники поднимают знамя восстания против этого торжества национального суверенитета. Тогда вот ваш пост, вот лагерь, где вы должны, не бледнея, ждать своих врагов. Что такое смерть для того, кто исполнил свой долг? Он умирает со славой. К чему жизнь тому, кто изменил своему долгу? Удел его - вечный позор и угрызения совести.

“Резюмирую все сказанное. Всякий акт, исходящий от народных представителей, является посягательством на верховную власть народа, если он не предложен на его формальное или молчаливое утверждение. Только один народ, обещавший неприкосновенность Людовику, вправе объявить, что он желает воспользоваться правом наказания, от которого раньше отказался. Многие важные соображения должны побудить вас действовать согласно этим принципам. Оставшись им верными, вы не навлечете на себя никаких упреков; и если народ захочет смерти Людовика, он прикажет казнить его. Если же вы, напротив того, измените принципам, то вас обвинят, по меньшей мере, в нарушении долга. Подумайте, какой страшной ответственностью грозит вам это нарушение!”

1 Партия умеренных конституционалистов.

2 Иронический намек по адресу Лафайета, После демонстрации 20 июня 1792 г. “герой Старого и Нового Света”, решившись воспользоваться этим предложением для уничтожения ненавистных ему якобинцев, явился в Законодательное Собрание и потребовал от имени “всех порядочных людей Франции” строгого наказания зачинщиков 20 июня в закрытия якобинского клуба. С тех пор термин “порядочные люди” стал означать, в устах революционеров, консервативную часть буржуазии.

3 Английский политический деятель XVII в. Сперва вождь легальной парламентской оппозиции против Карла I, Гемпден с началом гражданской войны открыто стал на сторону восстания и был убит в стычке инсургентов с королевскими войсками в 1643 г.

4 Современник Гемпдена, горячий республиканец, сражавшийся против монархии в рядах парламентской армии и бывший впоследствии одним из судей Карла I. После реставрации Сидней был обвинен в государственной измене правительством Карла II и казнен в 1683 г.

5 Критий - один из тридцати афинских тиранов (V в. до Р.Х.), известный своей жестокостью.

6 Клодий - римский демагог, живший в I в. до Р.Х.

7 и 8 Вожди крайней правой в Учредительном Собрании.

**К. Н. БЕРКОВА**

## **ПРОЦЕСС ЛЮДОВИКА XVI**

Государственное издательство, Петербург, 1920

Орфография оригинала частично сохранена.

Веб-публикация: редакторы сайтов *Vive Liberta* и *Век Просвещения* ©

Начало: [http://vive-liberta.narod.ru/biblio/berk\\_1.htm](http://vive-liberta.narod.ru/biblio/berk_1.htm)

### ГЛАВА VII

#### **Продолжение прений об апелляции к народу. Речь Барера**

Помимо страстных филиппик против Горы, Верньо дал самое полное и красноречивое выражение теории прямого народного самодержавия. После него жирондистские ораторы могли лишь повторять или развивать уже сказанное, не прибавляя никаких существенных доводов. Так, Бриссо резюмировал следующим образом смысл своей речи, произнесенной 1 января:

- "Вы должны принять предложение об апелляции к первичным собраниям: 1) потому что эта апелляция докажет иностранным державам, что Конвент действует не в силу каких-либо частных побуждений, а руководится принципами справедливости и величия; 2) потому что Конвент не будет подвергаться обвинениям в продажности, если он поступит снисходительно, в жестокости, если он окажется строгим, и, пожалуй, даже, в возбуждении опустошительной войны; 3) потому что суд нации не может не быть справедливым, беспристрастным и чуждым всякого постороннего влияния; 4) потому что ее приговор, каков бы он ни был, будет признан всеми партиями и внушит уважение иностранным державам; 5) потому что в случае смертного приговора война менее вероятна, если он будет исходить от нации, чем если б его вынес только Конвент; 6) потому что этой казнью мы можем навлечь на нацию новую войну, а, следовательно, должны справиться об ее мнении; 7) потому что апелляция к народу есть дань уважения народному суверенитету и единственное средство раздавить все партии, и, наконец, 8) потому что приговор народного суда может быть выяснен легко и быстро".

Жансонне, подобно Верньо, требовал апелляции к народу прежде всего во имя народного суверенитета. Но главным содержанием его речи было обличение враждебной фракции<sup>1</sup>; она походила на блестящий памфлет, направленный против его политических противников. Стремясь доказать, что обращение к народу необходимо для обуздания партийных интриг, Жансонне обрушился на Гору, и особенно Робеспьера, целым градом резких упреков:

- "Да, я не стану скрывать, существует крамольная партия, которая явно посягает на державную власть народа и хочет стать вершительницей его судеб; партия, которая лелеет преступную надежду господствовать посредством террора над Национальным Конвентом, а посредством Национального Конвента - над всей республикой, которая, быть может, простирает свои честолюбивые замыслы еще дальше... Эта-то партия и восстает с такой яростью против апелляции к народу. Она говорит нам, устами Робеспьера, что обращение к нации вызовет гражданскую войну. Гражданская война!.. Но если бы действительно так боитесь ее, то зачем вы с таким упорством сеете в своих речах семя раздора и самых ужасных предубеждений? Зачем изображаете вы всегда народ разделенным на классы, враждующие друг с другом? Зачем беспрестанно противопоставляете вы бедняка богатому, а ту часть ваших братьев, которая живет трудом рук своих, тон ее части, которая пользуется наемным трудом?"

"Не подлежит сомнению, что любовь к свободе также имеет свой культ, своих ханжей, фарисеев и лицемеров. Есть шарлатаны политической экономии, как и шарлатаны медицины. Их можно узнать по ненависти к философии и просвещению, по манере льстить предрассудкам и страстям народа, чтобы тем лучше обманывать его; они нагло хвастают своим рвением, своим бескорыстием, своими редкими достоинствами; они бесстыдно лгут, стараясь обратить на себя внимание громкими титулами и эффектными названиями. Один провозглашает себя другом народа; другой - неподкупным защитником его прав; третий изобретает бальзам всемирной республики... Пора указать эту факцию всему народу! Она господствует в якобинском клубе, а главные вожак ее заседают среди нас. Если эти люди не преследуют вредных целей, то пусть они скажут мне, что заставляя их мешать народу пользоваться его державными правами? Почему не перестают они агитировать против Национального Конвента и призывать к восстанию? Чего они добиваются? Какой странный деспотизм угрожает нам, и какого рода правительство намерены они дать Франции?"

"Если бы даже строгие принципы не требовали апелляции к народу, то и тогда нас вынудило бы к этой мере существование вышеупомянутой факции, ее стремление повлиять на нас, ее неистовства и угрозы. Суд над Людовиком не должен прослыть в глазах Европы и потомства делом этой факции; пусть национальная воля положит конец этим скандальным спорам!"...

Разоблачения, сделанные на следующий день одним из депутатов Горы, были ответом на желчные нападки Жансонне.

Монтаньяр Гаспарен сообщил Конвенту о письме Верньо, Гаде и Жансонне, адресованном ими в конце июля 1792 г. к придворному живописцу Бозу и предназначенном для передачи Людовику XVI. Оказывалось, что, незадолго до 10 августа, три виднейших члена Законодательного Собрания вели переговоры с королем, требуя возвращения отставленных жирондистских министров. Обвиняемым депутатам было нетрудно оправдаться при своем блестящем красноречии и сочувствии большинства Конвента, тем более, что переписка не содержала, конечно, прямой измены. Тем не менее, сообщение Распарена имело для них роковое значение. Оно показало, что накануне свержения монархии жирондисты были не прочь вступить в сделку с королем, чтобы удержать власть в своих руках<sup>2</sup>. Это обстоятельство не только еще более вооружило против них крайнюю левую, но и сильно повлияло на их популярность извне. Чтобы не утратить ее окончательно и заглушить возникшие подозрения, жирондисты должны были прекратить свою парламентскую кампанию в пользу короля, они должны были пожертвовать им в интересах самосохранения. С тех пор в Конвенте почти смолкает голос Жиронды, и процесс Людовика XVI быстро близится к своей развязке.

Следующее заседание, 4 января, было целиком занято знаменитой речью Барера:

- "Все, что общественный порядок заключает в себе наиболее важного, законодательство - трудного, политика - утонченного, свобода - необходимого и нация - Священного, - все это представлено на ваше обсуждение. Спокойствие, господствующее здесь уже несколько дней, свидетельствует о том, что разум и справедливость скажут свое слово. От истории не ускользнет контраст между королями, которые нередко подписывали проскрипции или смертные приговоры сотен граждан среди придворных развлечений, и народными представителями, которые совещаются о наказании деспота с разумной медлительностью.

"Здесь происходит последний бой между тиранией и свободой. Под шум ваших долгих дебатов уже разгораются все страсти, враждебные свободе. Снова подымает голову аристократия, и фанатическое духовенство уже готовится выступить в первичных собраниях с коварными инсинуациями. Даже театры содействуют упадку общественного настроения<sup>3</sup>. Королям, по-видимому, суждено всегда быть причиной бедствий народа - сидят ли они на троне или низвергнуты с него. Так, на площадях Рима статуи деспотов, разрушенные временем, порою убивали при падении лучших граждан.

"Лживые инсинуации, жестокие обвинения, слишком долго служили предметом наших занятий. Взаимная ненависть сообщила слишком изменчивое и опасное направление общественному мнению. Пусть же те, которые беспрестанно нападают и обвиняют, насытятся, наконец, своей ужасной известностью и печальными лаврами клеветы. Ведь не вспышки подозрительности и личной мести осветят нам путь среди революционных бурь!

"Мы расходимся во мнениях, каким образом приобщить всю нацию к той мере общественного спасения, которую мы должны предпринять по поводу процесса Людовика Капета.

"Замечу, прежде всего, что нация уже присоединилась к вашему постановлению по собственной инициативе и собственному желанию; присоединилась потому, что она избрала вас своими представителями уже после того, как Людовик Капет был отрешен от власти, заключен в тюрьму и обвинен в заговоре против государства; потому, что она облекла вас неограниченными полномочиями и беспредельным доверием; потому, наконец, что вы являетесь Национальным Конвентом представительной республики.

Мы слышим со всех сторон об апелляции к народу, об утверждении народа, о народном самодержавии. Я чувствую, как легко под такими благовидными предложениями свалить ответственность на плечи всех сограждан. Но точно ли необходима эта апелляция, если вы можете закончить процесс сами, руководясь лишь своим собственным правосудием, которое равносильно национальному? Полезна ли она, если может привести к раздроблению нации на враждебные партии? Не будет ли она скорее актом слабости и измены, чем данью уважения народному суверенитету? Люди, стоящие во главе правления и вырабатывающие конституцию, могут укреплять революции и государства лишь твердыми и справедливыми решениями.

"Я коснусь лишь вкратце предложения отменить декрет о том, что Людовика Капета будет судить сам Конвент. Этот декрет, который уже приведен в исполнение низложением короля и вашими прениями, не может быть отменен. В революционное время пути, по которым идут события, обрывисты; назад вернуться нельзя. Человек, носивший титул короля, бывший первым должностным лицом в государстве и обладавший относительной неприкосновенностью, воплощал известные национальные интересы, о которых могут судить лишь представители самодержавного народа. В каком трибунале, перед какими присяжными, могли обсуждаться политические интересы, с которыми, очевидно, связана жизнь этого обвиняемого? Ибо вы, конечно, не сомневаетесь в том, что настоящий процесс уже оказал огромное влияние на укрепление республики.

"Приговор над Людовиком Капетом должен был явиться естественным результатом знакомства с фактической стороной дела и с защитительной речью. Вы готовились уже вынести его, как вдруг, под давлением некоторых ораторов, арена расширилась. Апелляция к народу, из оружия обвиняемого, сделалась оружием в руках многих судей. Вашим мандатам были поставлены границы, в ваши умы - заброшено зерно сомнения. Речь зашла об утверждении или отмене постановления, которое пока еще не сделано. Судьи стали обсуждать, какие возражения могут быть выдвинуты против их приговора, - прежде чем этот приговор вынесен в действительности. Они заговорили об апелляции к народу. Я покажу, какое значение имеет эта мера и как злоупотребляют здесь понятием народного самодержавия; я рассмотрю также политическую сторону вопроса. Начну с фактов, на которых должен основываться ваш приговор.



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### § 1. Фактическая сторона

“Я напомним вам раздоры, искусственно возбужденные с целью привести в раздражение богатых граждан; роялизм, расколовший национальную гвардию; фанатизм, вносящий расстройство в семьи, охватывавший целые деревни; охлаждение или подкуп конституционных властей; обесценивание и подделку ассигнатов; удаление войск с границ, оставленных без всякой защиты; малочисленность и раздробленность армий и т. под. Вот факты, несомненно, составляющие преступление против национальной безопасности. Но где же виновные? Можно ли считать виновными дезертировавших генералов, - эти безрассудные орудия коварного двора? Или тупоумных священников, - этих фанатических агентов неверующего двора, соблазнившего их обещанием возратить им потерянные имущества? Или надменных эмигрантов, льстивших себя надеждой вернуть свои пенсии и титулы?”

“Нет, контрреволюция делалась королями и для королей! Их рабы из духовного или дворянского сословия могли бы подобрать лишь крохи, упавшие со стола алчного деспотизма. Могушество тирании - вот единственное достояние, к захвату которого стремилась коалиция дворян и духовных. Таким образом, единственным виновником всех смут является тот, кто был наиболее в них заинтересован. - Защитники Людовика разделили факты на две категории: факты, предшествовавшие принятию конституции, и последующие факты, до 10 августа. По их мнению, принятие конституции покрыло амнистией все предыдущие факты. Они хотят доказать, что великодушная нация, восстанавливая на троне Людовика после бегства в Варенн, загладила все. Но это заблуждение, которое нетрудно рассеять. Я согласен, что если бы был период в несколько лет, характеризующийся постоянным и искренним соблюдением конституции, если бы Людовик, ставши конституционным государем, чистосердечно исполнял законы и упрочил конституцию, какой бы бессвязной, какой бы роялистской она ни была, - тогда, бесспорно, последний комплот против свободы, при помощи которого он стремился вернуть нас ко временам деспотизма, являлся бы изолированным и независимым от его первых измен. Тогда, конечно, мы выделили бы факты, предшествовавшие принятию конституции, и обсуждали бы их независимо от последующих.

“Но в данном случае все перипетии заговора находятся, наоборот, в тесной связи. Одной и той же системой объясняется и восстание 14 июля 1789 г., и проект бегства в Мец 5 октября того же года, и бегство в Варенн, и 20 июня, и 10 августа; едва и та же система тяготела над Учредительным Собранием и позорила Законодательное; одна и та же система расхищала национальное достояние и вносила разлад среди народных представителей. Итак, я вижу одну возмутительную сеть заговоров, окутывающую саваном французскую свободу, начиная с конституирования коммун в Национальное Собрание до осады Тюльери. Я вижу одну непрерывную нить, переходящую поочередно из рук короля и его свиты в руки маршала Брольи в июле 1789 г., в руки придворных в октябре 1789 г.; переброшенную снова, чтобы лучше обмануть нас, из рук Людовика к национальной федерации 14 июля 1790 г.; возвращающуюся в руки Булье, в Нанси; в руки рыцарей кинжала в Тюльери, 28 февраля; в руки Лафайета, на Марсовом поле; в руки сторонников пересмотра конституции, в июле и августе 1791 г.<sup>4</sup>; переходящую затем, в продолжение всей революции, от одного министра к другому. Та же самая нить, перекинувшись через кобленцкий притон, из рук Геймана<sup>5</sup> проскользнула в Венский кабинет; та же нить вызвала возмущение<sup>6</sup> в Сардинии и Швейцарии, Швеции и России, нейтрализовала английское правительство и заставила передать неприятелю наши крепости. Вся эта цепь фактов настолько неразрывна, что ее невозможно расчленишь при вынесении приговора.

### § 2. Судебные формальности

“Некоторые ораторы протестовали против несоблюдения судебных формальностей в этом важном процессе. Но они упускали из виду, что Людовик Капет самим характером своих преступлений вынуждает нас к отступлению от обычных форм судопроизводства. И притом, можно ли судить с большей торжественностью и с большей гласностью, чем судим мы Людовика Капета? Закон предоставляет обвиняемому право иметь защитника: у Людовика их было трое, избранных им самим и выслушанных нами во всех подробностях. Присяжные не судят на основании законных улик, опасных, неполных и гадательных по своей природе, они выносят приговор по внутреннему убеждению; и Людовик будет судиться, согласно тем же принципам. В уголовных процессах принято молчаливое и тайное голосование; но открытое голосование, которое донесется до самых отдаленных окраин республики, будет более торжественным и внушительным, чем тайное. Оно, следовательно, наиболее местно в процессе Людовика Капета.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### О неприкосновенности

“Начнем с установления некоторых принципов. Народ никогда не должен быть судьей своих собственных оскорбителей: это представляет слишком много неудобств и опасностей. Недаром афинские и римские законодатели неоднократно стремились предупредить злоупотребления властью, которые мог бы совершить народ в процессе, касающемся оскорбления нации.

“Апелляция к народу была возможна в республике, состоявшей из одного города; в такой республике легко было созвать самодержавный народ и дать высказаться его защитникам. То ли дело в такой республике, как наша? У римлян апелляция к народу была необходима при разбирательстве всякого важного процесса, ибо у них были лишь должностные лица, но не было представителей. Народ беспрестанно собирался для пользования своей верховной властью. Возможность немедленно апеллировать к народу на несправедливость какого-нибудь консула, или *Aggia*, была весьма полезна, ибо последние, без этой узды, стали бы тиранами. Но у нас, где народная власть вверена Национальному Конвенту, где в основе политического строя лежит народное представительство, апелляция к народу совершенно не имеет места.

“Однако, скажут мне, речь идет о том, чтобы лишить Людовика Капета конституционной неприкосновенности. А, между тем, только один народ может отнять у него то, что он даровал ему. Допустим на минуту нелепость: допустим, что неприкосновенность существует. Но даже и тогда для лишения Людовика этого конституционного щита нет надобности обращаться к народу. Я настаиваю на этом по следующим соображениям:

“Во-первых, парижский народ, поднявши святое восстание против Людовика 10 августа, тем самым уже лишил его неприкосновенности. Население других департаментов одобрило это восстание и признало его результаты; следовательно, в уничтожении королевской власти принимал участие весь народ. Во-вторых, Законодательное Собрание отрешило Людовика от власти, взяло под стражу и возбудило против него обвинение. Когда нация была созвана, она подтвердила эти действия; таким образом, нация вторично одобрила отмену королевской неприкосновенности. В-третьих, если действительно лишить короля неприкосновенности может лишь тот, от кого он получил ее, то я утверждаю, что этого не вправе сделать первичные собрания, ибо Людовик не от них получил неприкосновенность. Народ даровал: ему эту привилегию молчаливым согласием; стало быть, он может молчаливо же и отнять ее.

“Будучи на троне или отрекаясь от него, король может требовать неприкосновенности за возложенные на него функции и, вообще, за действия, предполагающие ответственность министров. Он может требовать ее, когда другие установленные власти нападают на него или хотят узурпировать его права. Так, Людовик мог бы сослаться на свою неприкосновенность перед Законодательным Собранием, если бы последнее пожелало судить его. Но неприкосновенность не может быть абсолютной; она имеет свои границы, ибо служит лишь для обеспечения независимости конституционных властей. Поддерживая политическую фикцию неограниченной неприкосновенности, вы тем самым уничтожили бы неприкосновенность наций, установленную природой. Защитники Людовика указывали на VI статью монархической конституции в доказательство того, что король, даже совершив величайшее преступление - именно, став во главе враждебной армии для вторжения в свою страну и порабощения ее - заслуживает только одну кару - низложение. Не стану спорить против этого. Но если и так, то это совершенно не относится к данному случаю, который гораздо серьезнее предусмотренных монархической конституцией. В самом деле, если король покидает трон, чтобы стать во главе враждебной армии, этот факт вызывает законную самозащиту народа, на глазах которого он происходит; дезертирство монарха, опустевший трон, все это заставляет нацию усилить свою бдительность и обороняться всеми зависящими от нее средствами. Но если король остается на троне, на который возвела его нация; если он притворно стоит на почве конституции; если он, строя тайные козни против страны, делает вид, что защищает ее; если он окутывает свою родину темной сетью заговоров, один конец которой привязан к французскому трону, а другой прочно прикреплен ко всем европейским тронам; если он, пользуясь нашим доверием, готовит нашу гибель, - то при таких обстоятельствах отечество в опасности пробуждается, чтобы низвергнуть и наказать тирана во имя естественного права, во имя общечеловеческих законов, во имя спасения всех граждан. Итак, монархическая конституция не предусматривает наказания за тайное отречение от трона, а значит, на нее нельзя сослаться в данном случае. Людовика Капета должно судить или по законам естественного права, охраняющего жизнь народов, или по законам положительного права и уголовного кодекса, карающего всех лиц, виновных в нарушении внутренней или внешней безопасности государства. Это заключение да послужит ответом тем, которые утверждают, что не существует закона, предусматривающего данное преступление.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### Апелляция к народу

“Взгляд, который так красноречиво развивал Верньо, имеет естественное преимущество над противоположным взглядом, и это преимущество коренится в душе наших слушателей. В пользу мнения Верньо говорит все, что есть благородного и привлекательного в человеческом сердце: великодушие, милосердие - этот прекраснейший атрибут высшей власти - и уважение к народному суверенитету. За Верньо говорит все, что нас влечет и трогает; я же могу привести в свою защиту лишь строгие и непреклонные законы. На мою долю выпала республиканская суровость, строгость принципов, верность мандату и ужасная необходимость уничтожить тирана, чтобы отнять всякую надежду у тирании.

“Народ самодержавен, народ есть источник всякой законной власти - вот политический догмат наций. В Афинах и Риме народ непосредственно пользовался своими правами. Но самонадеянно проявляя свою власть, он более походил на мятежное скопище, чем на собрание державных властителей; в этом-то и состоял политический недуг, гнездившийся в недрах наций и приведший их к гибели. Представительная система просветила и обуздала это шумное самодержавие. Отсюда ведет начало принцип истинной демократии: сфера непосредственной деятельности державной нации ограничивается тем, что она в состоянии выполнить сама; все же остальное она совершает через посредство своих уполномоченных или представителей. Французская нация, рассеянная на огромной территории, не могла сама решать судьбу короля, разбирать вопрос о его неприкосновенности, расследовать заговоры, собирать доказательства, следить за соблюдением судебных формальностей, обсуждать политические интересы. Она созвала, по собственному почину, своих представителей и придала этому событию грандиозный и торжественный характер учреждением Национального Конвента в самом разгаре революции - среди грохота неприятельских пушек, перед тюрьмой тирана.

“Передать народу решение известного процесса, это значит нарушить принципы представительного правления и отослать на усмотрение самодержца то, что он поручил исполнить вам. Насколько основательно это возражение, вытекающее из сущности Национальных Конвентов, видно уже из того, что мотивировка предложения об апелляции к народу постепенно изменялась. Так, Салль ждет от народа определения меры

наказания; Бюзо требует ратификации вашего приговора народом, видя в ней неотъемлемое право нации; Верньо смотрит на обращение к народу, как на нашу обязанность; Бриссо указывает, что это обращение вовсе не является ни правом, ни обязанностью, а лишь данью уважения народному суверенитету, которая будет угодна народу; наконец, Жансонне находит, что контроль народа над всеми действиями его представителей есть один из существенных элементов республиканской конституции, который вскоре будет санкционирован законом. Различия в аргументации защитников одного и того же предложения, очевидно, доказывают, что при существовании конституционного корпуса, облеченного неограниченными полномочиями, апелляция к народу отнюдь не является необходимостью, вытекающей из строгих принципов и неоспоримых прав.

“По поводу мнения Салля я ограничусь указанием на те взгляды, которые он высказывал в 1791 г. - правда, в эпоху монархии - в своем “Исследовании различия между Национальными Конвентами и Законодательными Собраниями, а также форм, наиболее благоприятных для сохранения их основных черт и обеспечения свободы:

“При таких условиях, обыкновенное Законодательное Собрание не имеет ничего общего с Национальным Конвентом. Последний является верховной властью или ее представителем, облеченным всеми полномочиями. Его могущество ужасно, так как оно беспредельно; никакая человеческая сила не в состоянии его ограничить, ибо малейшее ограничение суверенитета есть его полное уничтожение. Его границы определяются лишь самой природой вещей; и в самом деле, суверенитет существует и проявляется в действительности только для организации порядка, согласно естественным соотношениям вещей.

“Итак, Законодательное Собрание отличается от Национального Конвента тем, что последний представляет самодержавный народ, тогда как обыкновенное Законодательное Собрание есть лишь нечто вроде наблюдательного института, ограничивающего правительственную власть.

“В августе прошлого года Законодательное Собрание действовало согласно этим принципам, и его благоразумие спасло Фракцию. Так, в своей мотивировке созыва Национального Конвента это Собрание говорит: Мы видим только одно средство спасти Францию: оно состоит в обращении к державному народу, с целью призвать его немедленно воспользоваться тем неотъемлемым правом суверенитета, которое признается за ним конституцией. Интересы всего общества требуют, чтобы народ выразил свою волю через посредство Национального Конвента, образованного из его представителей, снабженных неограниченными полномочиями.

“Отсюда видно, что народ высказывает свою волю через посредство Конвента, а Конвент, со своей стороны, выражает верховную волю, которая должна быть приведена в исполнение. Следовательно, то мнение, будто Конвент сам по себе не выражает общей воли, принципиально неверно. Вообще, словом суверенитет, употребляемым без политического определения, можно ввести в заблуждение немало умов.

“И у меня лично, когда было внесено предложение об апелляции к народу, первым движением души было чувство уважения к народному суверенитету. Я далек от намерения оскорблять нацию, не признавая ее прав. Она одна верховная владычица; я существую только благодаря ей и для нее одной. Но в то же время чувство долга велит мне не вваливать снова на нацию то, что она возложила на мои плечи, не возвращать в ее руки функцию, которую она сочла нужным, для своего спокойствия, поручить своим уполномоченным. Мой долг - не передавать ей орудий, которые я считаю для нее губительными. Из таких же соображений американские конституции, а также французская, существовавшая до 10 августа, ограничивали, в интересах нации, вторичную избираемость представителей, несмотря на возражения людей, полагавших, что этим ставятся пределы суверенитету и свободе народов. Вспомните, как вы сами отменили уже изданный декрет о том, что первичные собрания могут отзывать своих депутатов из Конвента. Поступая таким образом, вы, однако, не боялись нанести ущерб народному самодержавию. Вы сделали это потому, что не считали нужным доставлять повод для гражданской войны и оружие для дезорганизации республики посредством Конвента и Конвента посредством республики. Точно так же, когда при обсуждении декрета о смертной казни для всякого, кто предложит восстановление монархии, Мерлен из Тионвилля внес следующую поправку: За исключением тех случаев, когда это произойдет в первичных собраниях, - вы отвергли поправку и выразили порицание оратору, хотя его оговорка, по-видимому, исходила из понятия о народном самодержавии.

“Взгляд Бюзо, менее требовательный, чем взгляд Салля, опровергается принципом полномочий Национальных Конвентов. Петион, в свою очередь, ссылается на необходимость специального вотума нации для подтверждения мандатов. Но однажды данный мандат не нуждается в ратификации; такая ратификация необходима лишь тогда, когда истекает срок для мандата условного или ограниченного. Наконец, по мнению Верньо, всякий акт, исходящий от народных представителей, является актом тирании и узурпацией верховной власти, если он не подвергнут формальной или молчаливой ратификации народа; следовательно, заключение, приговор над Людовиком Капетом должен быть предложен на утверждение народа. Если Национальный Конвент не есть представитель самодержавного народа, снабженный неограниченными полномочиями, - как думает Верньо, - то его декреты, действительно, являются узурпацией власти. И, однако, они ежедневно исполняются; и, однако, все меры общественного спасения принимаются и приводятся в исполнение; и, однако, до сих пор еще не раздалось ни одного протеста против того употребления, которое делает Конвент из вверенной ему власти.

“Разве вы предлагали на утверждение нации ужасный, но справедливый закон, осуждавший эмигрантов на основании простого протокола? Разве Законодательное Собрание, после отрешения одной из конституционных властей, спрашивало совета у нации, когда оно ссылало, в интересах общественного спокойствия, целые тысячи крамольных священников?

Если Национальный Конвент не вправе судить Людовика, то он, стало быть, имеет императивные, т.е. ограниченные мандаты, - другими словами, он не является Конвентом. Конституция - это общественный договор; она должна быть положительно признана всей нацией. Но меры общественной безопасности вовсе не носят такого торжественного характера; и когда речь идет о них, то нет никакой надобности беспрестанно обращаться к самому державному народу, раз он по собственному желанию избрал неограниченного представителя своей власти.

Что касается Жансонне, он предложил нам систему контроля народных представителей самим пародом, которая, по его мнению, должна войти в конституцию. Но этим он сам же и опроверг свою систему, ибо организация этого контроля и выработка салоп конституции предоставляются именно Конвенту. Только умышленно игнорируя теорию учредительных корпусов (*corps constituants*), можно беспрестанно применять к ним теорию корпусов установленных (*corps constitués*). Законодательные учреждения, пользующиеся, согласно Декларации прав и конституции, правом подавать обычные законы, должны подчиняться директивам, регулирующим ту предполагаемую общую волю, которую они выражают. Тут, действительно, уместно говорить о контроле народа над своими представителями. Но все сказанное Жансонне по этому поводу совершенно не относится к учредительным корпусам вплоть до того момента, когда конституция должна быть представлена народу: только тогда Конвент прекращает свое существование, и верховная власть возвращается к своему первоисточнику.

“Да, исходя из сущности Национального Конвента, я утверждаю, что апелляция к народу есть рискованный шаг, что это малодушная провокация, коварное умаление ваших задач. Вы-уполномоченные нации; она поручила вам принять все меры общественного спасения для; основания и упрочения своей свободы и для искоренения тирании, против которой она подняла святое восстание. Этого никогда не следует терять из виду. Нация всецело доверилась вашей преданности, вашей просвещенности, вашему мужеству. Тут не может быть и речи ни об ограниченности ваших мандатов вообще, ни об исключении для процесса Людовика Капета.

“Как бесполезна была бы представительная система, если бы она была не в силах избавить многочисленную нацию от неудобств, сопряженных с долгими, бурными и неопределенными прениями! Как несовершенна была бы представительная форма правления, если бы при каждой крупной мере общественного спокойствия, при каждом важном посягательстве на свободу, приходилось обращаться к нации в ее первичных собраниях! Что сказали бы вы министрам, заговорщикам, обвиняемым в государственной измене, если бы они, прежде чем подчиниться приговору высшего национального трибунала, стали требовать обращения к нации? Что бы вы ответили апологетам монархии или диктатуры, осужденным на смерть в силу одного из ваших законов, если бы они сказали вам: Отмена королевской власти не санкционирована первичными собраниями, а, следовательно, вы не имеете права нас осудить? Да вы не обратили бы на них никакого внимания! Так что же? Стало быть, народное представительство, созданное с неограниченными полномочиями в такой момент, когда стране грозила величайшая опасность, стало быть Национальный Конвент, взявший на себя особым декретом решение дела Людовика Капета, пользуется меньшими правами, чем какой-нибудь трибунал! Этого невозможно допустить, не унижая национального представительства, не ослабляя его значения.

“Подобное соединение властей, - восклицает Верньо, - одна из характерных черт деспотизма! Да, это, действительно, деспотизм, если соединение властей в руках одного правительства есть обычное и постоянное явление. Но временная концентрация всей власти разве не вытекает из самой сущности учредительных корпусов? Разве не должен Национальный Конвент представлять мгновенное изображение нации и соединять в своих руках все роды власти, чтобы обратить их против врагов свободы, а затем распределить их в новом общественном договоре - новой конституции?

“Какими средствами будете вы бороться с всеобщей дезорганизацией и деградацией Конвента, о которой усердно хлопочут несколько наглых демагогов? Каким образом сумеете вы поднять общественное настроение, которое стараются ослабить ваши противники, чтобы добиться вашей гибели? По какому праву, наконец, сразите вы мечом закона головы анархистов, крамольников, эмигрантов и врагов свободы, если вы колеблетесь наказать вождя всех мятежников? Правда, апелляция к народу может быть продиктована гражданскими чувствами; правда, она подносится вам под благовидным предлогом - под предлогом уважения к национальному суверенитету. Но сколько опасностей таит она в себе, если чуть не каждый оратор предостерегает нас от гражданской войны! Одному кажется особенно опасной медлительность в процессе Людовика, другому - неизбежные разногласия в первичных собраниях. Вопрос, который так долго обсуждается нами, поистине подобен грозовой туче, готовой разразиться молнией над нашими головами!

“Вообще, причиной гражданской войны всегда является слабость правительства. Когда; кормило правления попадает в ненадежные руки, то все ослабляется; тогда возвышают голос партии, и честолюбцы срывают маску.

“Здесь говорили о разделении властей. Это - предосторожность, принимаемая нацией в виде гарантии от деспотизма установленных властей. Но когда нация образует учредительный корпус, на который возлагается разделение властей, то она добровольно передает их полностью в его руки.

“Как! - красноречиво восклицал Верньо, - вы угрожаете нам гражданской войной, если приговор будет подвергнут ратификации народа! Неужели национальный суверенитет стал общественным бедствием? Подобные же речи мы слышали из уст католических священников, когда вводилась свобода культа. Вы организуете гражданскую войну, - кричали они, - неужели религия сделалась общественным бедствием? Но гражданская война все-таки началась, и Ним и Монтобан неоднократно были опустошены.

“Неужели вас не страшит перспектива тех междоусобиц, которые вызовет обсуждение участи короля в семьях, в кантонах, от округа к округу, от департамента к департаменту? Разве вам приятно было, когда население департаментов, городов, деревень, домов расколосось на партии, за или против монархической конституции? Разве мало огорчений причинили вам раздоры, посеянные присягнувшими или неприсягнувшими священниками? Порою целые города охватывались пламенем из-за какого-нибудь мятежного священника; ибо люди враждуют и борются гораздо больше из-за личностей, чем из-за вещей. Какой же пожар загорится из-за человека, к которому суеверие и привычка, а главное его участь, внушают особенный интерес! Мы сами - наглядный тому пример. Разве наши дебаты по делу короля не были более жаркими и продолжительными, чем будут наши прения по поводу конституции? Кто поручится нам за то, что обсуждение дела на первичных собраниях не будет доминироваться и тормозиться упорной борьбой между двумя политическими или религиозными партиями, которые могут там возникнуть? Как только вы декретируете апелляцию к народу, из всех подвалов и притонов Парижа выползут на свет наемные агитаторы, разжигающие презрение к законам и ненависть к свободе; повсюду появятся эти предатели, поставившие себе целью придать республиканскому государству такие отвратительные формы, которые способны вызвать стремление к рабству и сожаление о королевской власти.

“День, в который вы декретируете апелляцию к народу, для определения ли меры наказания или для ратификации приговора, будет днем разгула монархического суеверия, сострадания, боязни, ненависти, энтузиазма, невежества и интриги; в этот день вы расширите область анархии.

“Какого большинства потребуете вы для установления господствующего среди нации мнения, если все первичные собрания не выскажутся по одному и тому же поводу, если все они не вынесут положительного и одинакового решения по определенному вопросу? Петион сказал, что наше будущее постановление может быть или приговором, или законом. А если, действительно, некоторые первичные собрания будут рассматривать его как приговор и выскажутся по существу вопроса, на основании права апелляции, другие же, наоборот, увидят в нем закон и ограничатся его утверждением? Что тогда получится у нас в результате?

“Посмотрите на Учредительное Собрание, которое, несмотря на позорный пересмотр конституции, все-таки заложило фундамент вашей свободы. Без всякой поддержки, руководимое лишь своим революционным гением, оно разбило оковы и определило свои права, сообразно нуждам народа и потребностям свободы; своими собственными силами, опираясь лишь на им же созданное общественное мнение, оно искоренило все злоупотребления и разрушило все предрассудки; оно отменило все привилегии и уничтожило все парламенты; оно изменило форму собственности и ввело новую денежную систему; оно заключило под стражу короля-клятвпреступника; чтобы обессмертить себя, ему недоставало лишь избавить Францию от болезненного нароста королей, а вас - от обязанности судить последнего из них. А вы, удостоенные с самого начала пути широкого доверия сограждан, - вы колеблетесь уже с первых шагов; вы еще сомневаетесь, в то время как все граждане ждут лишь вашего голоса!

“Или передо мной уж не тот Национальный Конвент, почетной миссией которого было уничтожение монархов и монархии? Тот самый законодательный корпус, который в Бельгии действует как революционное правительство, не считаясь с мнением чужого державного народа, не смеет сделать того же по отношению к своим собственным согражданам, добровольно вверившим ему революционную власть? Как! гордые и смелые в стране бельгийцев, вы становитесь смиренными и раболепными среди французов! На берегах Шельды вы уничтожаете все сословия, все корпорации, вы изгоняете оттуда тех граждан, которые расходятся с вами в политических взглядах; а на берегах Сены вы боитесь вынести приговор человеку, строившему комплоты против свободы! Неужели вы хотите привить Конвенту постоянную нерешительность и колебания, которые поведут к вечным спорам о пределах временных и постоянных законов, о различии между декретами общественной безопасности и декретами, подлежащими санкции народа? Неужели вы не боитесь разрушить связь между различными частями нации, перенести прения в другую плоскость и ослабить единственный залог единства республики? Итак, в виду всех этих соображений, я прихожу к заключению, что апелляция к первичным собраниям противоречит принципу представительной системы, полномочиям Конвента и характеру его мандатов.

“Здесь указывали на возможность молчаливого или отрицательного согласия со стороны народа, если в течение определенного срока не последует никакого протеста против вашего декрета. Это, на мой взгляд, не более как паллиатив, нечто вроде признания суверенитета, но столь слабого и незначительного, что оно было бы оскорбительно для народа. Если вы считаете нужным обратиться к нации, надо сделать это прямо, надо спросить мнения верховного владыки там, где он пребывает, т.е. в первичных собраниях. Раз вы допускаете такой прием, то должны обратиться к народу во всеуслышание.

“На этом я закончу обсуждение принципов суверенитета, чтобы перейти к дипломатической стороне дела. Я изложу вам мои политические соображения, которые заслуживают вашего внимания, ибо нельзя пренебрегать ничем, что затрагивает интересы народа.

#### ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

##### Политические соображения

“Мне слишком дорога слава моего отечества, - сказал Верньо, - чтобы предлагать Национальному Конвенту принимать в расчет то, что сделают или чего не сделают иностранные державы. Однако, другие ораторы, как, например, Бриссо, развили политические соображения, которые могут повлиять на ваши мнения. Я, со своей стороны, далек от намерения отбросить в сторону соображения этого рода. Уже более века Австрия руководит нашим правительством; уже полвека лондонский кабинет дает направление нашему.

На народных представителей, конечно, нельзя оказывать давление, как на министров какого-нибудь короля; известно, что дворы ищут лишь предлогов, а мы - справедливости. Но политические соображения слишком тесно связаны с расточением общественного достояния и жизни моих сограждан, которые рискуют ею в армии и во флоте, чтобы я мог их игнорировать.

“Нам говорят, что если Людовика не станет, то иностранные державы пойдут на нас войной.

“Я искренно желал бы, чтобы две нации, родственные по принципам, были соединены узами дружбы; я хотел бы, чтобы свободное течение реки не мешало свободе людей, и чтобы моя родина не сделалась театром военных действий.

“Нам говорят о нейтралитете, который будто бы может прекратиться. Но где же этот хваленый нейтралитет, если Испания укрепляет свои границы, а Англия исподтишка снаряжает флот? Что это за нейтралитет, если с 10 августа ни в Лондоне, ни в Мадриде не признаются наши посланники? Где вы видите нейтралитет со стороны английского министерства, которое предпочитает разорять вас, нежели сражаться с вами, и охотнее выигрывает ассигнации, чем битвы? Какие меры приняты испанским и английским министерствами для поддержания мира с нацией, которая, отнюдь не стремясь к завоеваниям, хочет лишь давать хорошие законы? Разве мы так поступали по отношению к Испании, когда отправляли ей на помощь сорок пять кораблей, при первых же признаках наступления со стороны Англии? Иностранным дворам нужно оказывать поддержку; но где же их благодарность? Нет, нет, каково бы ни было наше решение, иностранные дворы все равно сделают все возможное, чтобы погубить нас! Они всегда руководятся в своих планах ненавистью к свободным народам. Их нейтралитет - не более как выжидательное положение; их вмешательство - не что иное как ловушка. Нам говорят, что требования Испании вытекают из родственных связей, и что удовлетворение их может обеспечить мир. Как будто голос крови слышен на ступенях трона, как будто у королей есть родственники, как будто родство венценосцев избавило нации хотя бы от одной войны! Нас стараются очернить в Лондоне, чтобы восстановить против нас друзей наших - патриотов. Нет, нельзя очернить нацию, защищающую свою независимость победами и справедливыми законами! Нет, нельзя приписывать приемы правительства ни народу, ни патриотам! Оскорбления Борка так же не властны над духом и правами наций, как интриги Питта.

“Говорят, что ратификация приговора сделает честь народу и его революции. Но гораздо больше чести для нации в победе над врагами, изгнании деспотов составлении хорошей конституции и внушении уважения к правам человека и гражданина!

“Осуждая Людовика, вы усиливаете анти-республиканскую партию, которая объединится вокруг ребенка, и подготавливаете распад Франции. - Это возражение в значительной мере основано на принципе наследственности трона уже ставшем нам чуждым. Но я утверждаю, что роялисты связывают гораздо больше надежд с Людовиком, чем с его сыном. Претенденты всегда представляю собой не более как политические призраки, служившие лишь для фабрикации в дипломатических канцеляриях лживых сообщений и манифестов. Если бы вы останавливались на этом возражении, то доказали бы лишь то, что угнетенные нации должны, из политических соображений, низвергать только бездетных тиранов. Если Людовик погибнет, корона перейдет в Кобленц. Где же она, эта наследственная корона, которая, мнится вам, должна перейти в руки ребенка или в то убежище, где Станислав-Ксавье и Карл-Филипп скрывают свои позорные замыслы? Где та нация, которая, как вотчина, должна переходить в руки все? этих мнимых господ? Где та рыцарская партия, которая сумеет вернуть к рабству народ, обладающий Декларацией Прав? Предоставим аристократам предаваться этим мечтаньям, совершенно незаслуживающим нашего внимания!

“Несколько лиц, управляющих Англией, но не английским народом притворно выказывают некоторый интерес к тому, что они называют несчастьями Людовика. Но для кого не ясно, что это лишь министерская игра, прикрывающая приготовления, маскирующая личное честолюбие и партийную вражду! Как пристало английскому правительству порицать нас за акт национального правосудия, в то время как история Англии забрызгана кровью Карла I, пролитой одной из партии в пользу гнусного узурпатора! Как благородно игнорировать свою собственную историю, чтобы интересовать нашей!

“Национальный Конвент показал себя не в пример беспристрастнее, не заявив никакого протеста по поводу процесса, возбужденного в Англии против одного из его членов за опубликование бессмертного произведения “Права Человека”<sup>8</sup>.

История отметит этот контраст между английским парламентом, проявляющим интерес к судьбе короля-клятвпреступника, и Национальным Конвентом, спокойно ожидающим от английских трибуналов правосудия по отношению к знаменитому писателю-патриоту.

“Вас хотели напугать непостоянством народа, Я не стану отвечать на подобное возражение. Я отвергаю его целиком, как оскорбление французскому народу, не допуская и мысли, чтобы честная и великодушная нация послала своих представителей на штурм тирании, а потом сама же их преследовала. Нет, французы никогда не будут ни столь несправедливы, ни столь жестоки! От римского народа надо было скрыть вид Капитолия, чтобы он решился наказать Манлия, - а между тем Манлий был виновен. Но вы, спасители французского Капитолия, не должны бояться, что нация забудет об этом.

“Нас могут утратить только два несчастья. Во-первых, возврат к деспотизму путем анархии и клеветы; но в таком случае, если народ окажется недостойным своей свободы, умрем сейчас же: нам незачем больше жить. Во-вторых, благоприятный для европейских тиранов исход войны. Но и тогда, повторяю еще раз, лучше умереть сегодня же свободными людьми, чем стать рабами завтра. Ах, как неосторожны ораторы, переносящие в будущее свои нынешние опасения и преувеличивающие их для подкрепления своих доводов! Нет, не забудет французская нация, что коалиция европейских трапов образовалась еще до 10 августа. Она не упустит из виду, что союзные монархи не ждали суда над Людовиком, чтобы начать войну, ибо они открыли нападение тогда, когда Людовик еще не содержался под стражей.

“История соседней страны говорит нам о покушениях на судей Стюарта; но то были судьи, потерявшие всякое достоинство под шпагой Кромвеля. Им продиктовали приговор над королем, чтобы заменить его протектором. Здесь же речь идет о декрете, который должен упрочить народное самодержавие, - а вы говорите о неблагодарности нации! Нет, граждане, я не хочу оскорблять свободных французов, отвечая на подобное возражение. Настоящее положение дел не имеет ничего общего с событиями в Англии. В Париже народ сам низложил короля, заключил его под стражу и возбудил против него обвинение. В Лондоне это было сделано партией Кромвеля; там с трудом удержали народ от восстания против этой партии, к противникам которой принадлежала значительная часть английской нации. У нас приговор будет вынесен великим парламентом. В Англии это сделала жалкая пародия на народное представительство, или, вернее, комиссия, назначенная гнусным и честолюбивым протектором. А! если бы вы могли проникнуть в кабинеты европейских правительств, вы увидели бы, что надежда на апелляцию к народу озаряет улыбку лица политиков. Вот когда они будут разъединять нас, вместо того, что бы воевать с нами! Вот когда они будут действовать подкупом, чтобы разжечь междоусобицы по всей республике и только потом, когда вся нация будет охвачена гражданской войной, напасть на нас с суши и с моря! А если им не удастся разъединить вас в первичных собраниях, если они увидят, что приговор утвержден, - тогда они снова пустят в ход подкуп для возбуждения мятежа и подвольства; тогда они окружают вас, под всевозможными предлогами, сетью отвратительной агитации и не постоют за преступлением, чтобы потом свалить его наг вас в своих манифестах.

“Неужели вы настолько наивны, чтобы полагать, что утверждение или неутверждение приговора первичными собраниями может повлиять на отношение к нам иностранных держав? Ведь на их взгляд все, что вы делаете, - незаконно!

“С глубоким прискорбием вижу я, что в этом национальном процессе, где мы должны быть твердыми, а не буйными, свободными, а не увлекающимися, строгими, а не подозрительными, - среди вас бросили яблоко раздора, назвав одну часть этого собрания, в отличие от другой, Фермопилами. Фермопилы в Национальном Конвенте! Да разве мы в сенате или в лагере? Благородные защитники отечества, борцы за свободу, вашу славу узурпируют, чтобы внести среди нас раскол! Вы одни можете сказать нам, существуют ли во Франции Фермопилы! Они были, 20-го сентября, в ущельях Аргонн, они были, 6 ноября, на редутах Жемаппа<sup>9</sup>... Но здесь, в храме законов, где все мы братья, все-равны, где всем нам дана общая задача французским народом, выбравшим нас из своей среды, удостоившим нас одинаковым доверием, - найдется ли здесь человек, настолько злобный, настолько несправедливый, чтобы сказать: здесь Фермопилы, там - лагерь Ксеркса?.. Нет, лагерь Ксеркса был в той части Учредительного Собрания, где заседали сторонники злоупотреблений, предрассудков и привилегий. Лагерь Ксеркса был и в Законодательном Собрании, где слабость и цивилизменный лист еще склоняли умы к рабству перед тронем. Но все раздоры должны были прекратиться с того момента, когда собрался Национальный Конвент; им надо положить конец теперь, когда республике угрожают факции внутри и неприятель извне. Сотрем же эти позорные демаркационные линии; они должны исчезнуть, вместе с теорией большинства и меньшинства, оскорбительной для народа - ибо он всюду составляет большинство - и весьма опасной по отношению к политическим правам народных собраний.

“Я уже доказал, что народ не должен быть судьей в тех случаях, когда разбираются его собственные обиды, и что он явился бы судьей, если бы вы обратились к нему за ратификацией вашего решения. Я доказал, что апелляция к народу существовала в Риме только потому, что там были лишь должностные лица, но не было народного представительства, и народ всегда пользовался своей верховной властью непосредственно. Я доказал, что ваш декрет относительно Людовика не есть приговор, так как вы не являетесь судебной инстанцией и не соблюдали строго всех судебных формальностей. Я доказал, с другой стороны, что ваш декрет не есть закон, ибо закон устанавливается для всех граждан, а в данном случае дело касается только одного лица. Я доказал, что неприкосновенность не может послужить мотивом для обращения к нации, что с точки зрения неограниченного народного представительства и общественной безопасности ратификация народа тут совершенно неуместна. Я доказал, что трудность постановки вопроса в первичных собраниях может привести к усилению анархии. Но значит ли это не признавать народного самодержавия? Отнюдь нет, ибо его прекраснейший атрибут - это право помилования, которого мы за ним несколько не отрицаем. Но здесь никто, конечно, не требует помилования для тирана, никто не ссылается на это великое право верховной власти. Ваше дело вынести приговор: тут кончаются ваши обязанности.

“Граждане, высказывая свой взгляд, я был верен моему мандату и не боялся личной ответственности. Какое бы мнение ни одержало верх, я, во всяком случае, преклонюсь перед решением большинства. Здесь говорили о восстаниях. Восстания! Но против кого же? Теперь осталась одна нация со своим могуществом. После республиканской революции всякое восстание есть бунт и разбой. Подняться и наказать убийц и разбойников - дело департаментов. Среди всевозможных страстей, которые бушуют и сталкиваются в этом великом процессе, одна только страсть заслуживает нашего внимания - это страсть к общественному благу, страсть к защите национальных интересов, страсть к свободе. Сойдемся же на одном решении и спасем республику! Вы произнесете свой суд перед статуей Брута, перед вашим отечеством, перед всем миром; и Национальный Конвент вступит в область истории с приговором над последним королем французов!”



## ГЛАВА VIII

### Поименное голосование. Приговор Национального Конвента.

#### Последние минуты Людовика XVI. Казнь его

Речь Барера окончательно разбила аргументацию жирондистов; подобно речи Робеспьера 3-го декабря, она сыграла решающую роль. Если первая, по выражению Гара, «склонила весы национального правосудия в сторону казни», то вторая, взвесив все доводы, привела их в равновесие. Вопрос об апелляции к народу был разрешен в отрицательном смысле; лист ораторов по этому вопросу был закрыт.

Между тем в Конвент продолжали прибывать петиции с жалобами на медленность процесса. Комиссары Конвента при армиях, Мерлен из Тионвилля, Гаусман и Рёвболь, писали с граници: «Мы окружены ранеными и убитыми; во имя Людовика Кадета тираны убивают наших братьев, а нам говорят, что Людовик все еще жив!» Наконец, 14-го января Конвент решил приступить к поименной подаче голосов. Но вопрос о порядке голосования вызвал бурные прения. Было предложено множество различных проектов, из которых некоторые явно имели целью затянуть дело, требуя отмены декрета 3-го декабря, вторичной постановки вопроса о том, берет ли на себя Конвент роль судебной палаты, и т. под. Дебаты продолжались несколько часов среди общего шума; все попытки президента восстановить спокойствие были безуспешны. Вмешательство Кутона положило конец этой неурядице.

«Как прискорбно, вскричал он, видеть беспорядок, царящий в собрании! Вот уж целых три часа, как мы теряем время из-за короля. Какие мы республиканцы! Мы - жалкие рабы! Ведь все мы, без исключения, убеждены в виновности Людовика: следовательно, ничто не мешает нам прежде всего поставить вопрос о виновности Людовика, а затем вынести приговор поименным голосованием!»

Крики одобрения покрыли голос Кутона. По предложению Буайе-Фонфреда, Конвент немедленно решил произвести поименную подачу голосов по следующим трем вопросам: 1) Виновен ли Людовик? 2) Будет ли приговор Конвента предложен на утверждение народа? 3) Какому наказанию будет подвергнут Людовик?

15-го января были поставлены на голосование первые два вопроса. По первому из 715 голосовавших депутатов<sup>10</sup> 32 ответили утвердительно с различными оговорками и комментариями, остальные 683 признали виновность Людовика безусловно. По второму вопросу 423 человека ответили отрицательно, 281 - утвердительно, и 11 депутатов прибавили к своему мнению различные оговорки. Таким образом, жирондисты потерпели полную неудачу. Оставалось решить последний вопрос: о мере наказания. Вся Франция с трепетом и напряжением ждала следующего дня, 16-го января.

Дантон, до сих пор отсутствовавший, в качестве комиссара при бельгийской армии, теперь возвысил свой могучий голос. Заседание началось дебатами по поводу распоряжения исполнительного совета закрыть театры, ставившие контрреволюционные пьесы. «Признаюсь вам, граждане, - сказал Дантон, - я думал, что нас должны занимать другие предметы, кроме комедий! - Речь идет о свободе! - возразили несколько депутатов. - Да, речь идет о свободе! - повторил Дантон: - речь идет о трагедии, которую вам предстоит разыграть перед всеми нациями. Речь идет о том, чтобы под мечом закона пала голова тирана, а не о жалких комедиях! Предлагаю Конвенту безотлагательно высказаться об участии Людовика!»

Это предложение было принято единогласно. Затем Ланжюине предложил, чтобы вопрос о наказании решался не простым большинством голосов, как обыкновенно, а двумя третями. Дантон энергично восстал против новой уловки жирондистов:

«Спрашивается, почему в то время как судьба целой нации была решена простым большинством голосов, в то время как при отмене королевской власти никому даже в голову не приходило возбуждать этого вопроса, почему решение участи отдельного лица - заговорщика хотят обставить особой торжественностью? Мы постановляем приговор, как представители верховной власти. Спрашиваю вас, апеллируете ли вы к народу, когда кто-нибудь подпадает под уголовный закон, колеблетесь ли вы привести его в исполнение? Спрашиваю вас, не простым ли большинством голосов учредили вы республику, объявили войну? Спрашиваю, наконец, разве не безапелляционно проливается кровь в сражениях? Разве сообщники Людовика не понесли наказание без всякого обращения к народу, на основании лишь приговора экстраординарного трибунала? Неужели исключения заслуживает только тот, кто был душою всех этих заговоров?»

Конвент согласился с Дантоном и решил голосовать простым большинством. Заседание было объявлено непрерывным до вынесения приговора. Началась поименная подача голосов.

361 депутат высказались категорически за смертную казнь. В числе их была почти вся партия Горы, жирондисты Дюко, Фонфред, Карра, Иснар, Ребекки, Барбару и часть Болота. 26 видных представителей Жиронды также подали голос за казнь, но при этом, по примеру Меля, потребовали предварительного обсуждения вопроса об отсрочке ее выполнения. Однако, они объявили свой вотум независимым от этого требования. Наконец, 334 депутата высказались за тюремное заключение, изгнание или работы на галерах.

Не лишена интереса мотивировка, которой некоторые депутаты сопровождали свое мнение. «Я неумолим по отношению к угнетателям, - сказал Робеспьер, - так как чувствую сострадание к угнетенным; мне чужда гуманность, которая свирепствует над народами и прощает деспотам. То же самое чувство, которое в Учредительном Собрании побуждало меня требовать, хотя и безуспешно, отмены смертной казни, заставляет меня теперь требовать ее применения к тирану моей родины и к самой королевской власти, в его лице. Я не умею предсказывать или выдумывать будущих, пока неизвестных тиранов, чтобы избавиться от

необходимости поразить того, который уже изобличен для меня, как и для всего почти собрания, и которого я обязан судить, по поручению народа. Не могут побудить меня к пощаде и действительные или воображаемые факции, ибо я убежден, что для уничтожения факции надо не размножать их, а разрушить все разом подавляющей силой разума и национальных интересов. Я советую вам не беречь королевскую партию, в противовес тем, которые могут явиться впоследствии, а начать с ее низвержения, чтобы затем основать общее счастье на развалинах всех анти-народных партий. Не ищущий также, как иные, предлогов для спасения бывшего короля в угрозах и усилиях европейских деспотов, ибо я презираю их всех и вовсе не намерен склонять народных представителей к переговорам с ними.

Я знаю, что единственный способ победить их состоит в том, чтобы поднять национальный характер на высоту республиканских принципов и действовать на королей и королевских прислужников так, как действуют на высокомерные и рабские душонки свободные и гордые души. Еще менее я склонен думать, что эти деспоты щедро сыплют золотом, чтобы привести на эшафот своего собрата, - как полагают некоторые; если уж быть подозрительным, то я считал бы более вероятной противоположную гипотезу. Я не хочу жертвовать логикой, чтобы уклониться от исполнения своего долга; и особенно далек я от того, чтобы оскорблять великодушный народ, беспрестанно повторяя, что мы не свободны в решении дела, что мы окружены врагами, ибо я отнюдь не желаю ни заранее протестовать против осуждения Людовика Капета, ни апеллировать к иностранным дворам. Мне было бы слишком неприятно, если бы моя аргументация походила на манифесты Вильгельма или Питта. Словом, я не умею выдвигать бессмысленные слова и пустые измышления против твердо-установленных принципов и очевидных требований долга. Я подаю голос за смертную казнь”.

Для Марата и Сен-Жюста достаточно нескольких слов, чтобы мотивировать свои суровый приговор. “Глубоко убежденный, что Людовик является главным виновником преступлений, вызвавших кровопролитие 10-го августа, и всех зверских избиений, осквернивших почву Франции с начала революции, я вотирую за казнь тирана в 24 часа, - сказал “Друг народа”. - “В виду того, что Людовик XVI был врагом народа, его свободы и счастья, я подаю голос за смертную казнь”, - лаконически заявил Сен-Жюст.

Мнение Анахарсиса Клотца отражало космополитические взгляды этого философа: “Людовик виновен в оскорблении человечества. Какого наказания он заслуживает за свои преступления? От имени человеческого рода, я отвечаю смертной казни”.

Хитрый и осторожный Филипп Эгалите, заботясь прежде всего об упрочении своего двусмысленного положения, также вотировал за смерть, хотя его родственные связи с Людовиком давали ему полное право на воздержание. “Всецело преданный своему долгу, убежденный в том, что всякий, кто посягал или посягнет впоследствии на самодержавие народа, заслуживает смерти, я высказываюсь за смертную казнь”. Эти слова вызвали в собрании глухой ропот.

Дантон, подавая свой голос, не удержался от иронического кивка в сторону жирондистов. «Я не принадлежу к числу тех государственных людей, которые не понимают, что с тиранами не вступают в сделку, не понимают, что королей надо поражать только в голову, не понимают, что европейских деспотов можно покорить только силой оружия. Я высказываюсь за смерть тирана”.

Неукротимый Жансонне поднял перчатку, брошенную Дантоном. Он потребовал, чтобы Конвент, после вынесения смертного приговора Людовику, предал суду “убийц и разбойников 2-3 сентября”, - в доказательство того, что он не допускает никаких привилегий.

Красноречивый Иснар не упустил случая блеснуть своим ораторским искусством. “Я уже объявил на этой трибуне в Законодательном Собрании, - воскликнул он, - что если бы в моих руках были громы и молнии, я поразил бы ими всякого, кто дерзнет посягнуть на самодержавие народа! Верный своим принципам, я подаю голос за казнь”.

Бриссо, вотируя за смертную казнь с отсрочкой до утверждения народом конституции, раскрывал смысл этой меры следующими словами: “Эта отсрочка ставит ваш приговор под охрану нации, она придает ему оттенок бескорыстия и великодушия, который желательно ему сообщить; наконец, она приобщает к вашему приговору всю нацию”. Последняя фраза свидетельствовала о том, что жирондисты еще не отказались от намерения провести апелляцию к народу в той или иной форме. Действительно, они возлагали большие надежды на отсрочку казни, предложенную Мелем и поддержанную его единомышленниками.

То обстоятельство, что из 721 голосовавших депутатов за смертную казнь безотлагательно высказались 361, подало повод к невольному или умышленному искажению фактов. В Париже разнесся слух, что смерть короля решена большинством одного голоса, - слух, под влиянием которого больной, умирающий Дюшатель велел принести себя на носилках в Конвент, чтобы подать свой голос против казни. Но в действительности, как мы видели выше, приговор был вынесен большинством 53 голосов, так как 26 жирондистов, поддержавших предложение Меля, также безусловно голосовали за казнь. Грешащие субъективизмом историки, вроде Ламартина, охотно замалчивают этот факт, желая показать, что шансы за и против смертного приговора были равны и что последний являлся исключительно результатом партийных интриг.

Те же историки, или, вернее, фальсификаторы истории, пустили в ход другую, не менее вздорную басню. Во втором томе своей “Histoire des Girondins”, набросив яркими красками картину сумрачной зимней ночи, зловещей внутренности залы Конвента, кроважидных шаек, сторожащих все входы и выходы, бесчисленной толпы народа, с ревом напирающей со всех сторон, - Ламартин в заключение говорит:

“Костюмы, физиономии, красные шапки, карманьола, искаженные лица хриплые голоса, свирепые и многозначительные телодвижения, - все, по-видимому было так рассчитано, чтобы внести всеми путями в душу судей неумолимый приговор, уже заранее произнесенный народом. “Его смерть или твоя!” - только эти слова и шептались тихо, но повелительно на ухо каждому депутату, который проходил через группы народа, отправляясь на свое место”<sup>11</sup>.

Уже а priori трудно допустить, чтобы Национальный Конвент, решивший вести процесс с соблюдением судебных формальностей, давший защитников Людовику XVI, не побоявшийся действия ни публичных дебатов, ни защитительной речи в пользу низверженного короля, в глазах многих уже окруженного ореолом мученика, - чтобы этот Конвент в великий, решительный момент не оказался на высоте и малодушно вынес приговор под кинжалами убийц. Протоколы заседания 16-го января окончательно убеждают нас в фантастичности этой легенды. Правда, перед началом голосования депутат Лефран заявил, от имени Шарля Биллета, что последнему угрожали смертью, если он не подаст голос за казнь Людовика. Но это единичное заявление было заглушено громкими протестами не только с левых скамей, но и с правых. Лучшие люди Конвента возмущались при мысли, что их приговор может быть поставлен в зависимость от внешнего давления. К чести Жиронды, один из ее представителей, Буайе-Фонфред, горячо восстал против предложения удвоить стражу Конвента. “Граждане, - воскликнул он, - не набрасывайте тени на свой приговор, предоставьте это вашим врагам! Берегитесь, чтобы эта чрезвычайная мера не сыграла в руку крамольникам, взволновав весь город; он останется спокойным, если сохраните спокойствие вы сами. Взоры Европы обращены на вас... Я знаю, что люди, подобные вам, всегда свободны; но не забывайте, что вы должны не только быть, но и казаться свободными”. - “Они уверяют вас, что голосуют под кинжалами, - насмешливо прибавил Марат, - но ни один из них не получил даже ничтожной царапины”. Эти слова были встречены недружелюбным рогом: крайней правдой. “Прошу не прерывать меня, - с гневом крикнул “Друг народа”, - призываю собрание к стыду! И я тоже слышал угрозы, но считаю ниже своего достоинства жаловаться на них”.

История показала, насколько праведнее было саркастическое замечание Марата. Ни один из “умеренных” членов Конвента, голосовавших против казни, не подвергся ни малейшему насилию со стороны революционного народа. Напротив того, двое из самых неустрашимых депутатов Горы - сперва Лепеллетье Сен-Фаржо, а за ним Марат - скоро пали от руки контрреволюционеров.

Неосновательность басни о давлении извне, которая будто бы объясняется приговором Национального Конвента, подтверждается и периодической печатью того времени. “Никогда не наблюдалось меньше групп и мнений, не употреблялось меньше средств для их подавления и сдерживания, - говорит официальный “Moniteur universel” в номере от 20 января 1793 г. - Когда прения были так спокойны и так продолжительны, как прения в процессе Людовика XVI? А между тем какой вопрос более непосредственно затрагивал противоположные взгляды и страсти, антагонистические интересы и Склонности, словом, всевозможные естественные причины волнений? Несмотря на то, что войска почти отсутствуют, можно безопасно ходить днем и ночью по всем закоулкам огромного города”... Те же явления отмечает и газета Бриссо “Patriote Fran?ais”: “Какое величественное зрелище, едва ли имевшее себе равное, представлял вид семисот слишком граждан, избранных 25-миллионным народом, для проявления его верховной власти, когда они поочередно всходили на трибуну и высказывались по поводу участи человека, еще так недавно управлявшего судьбами великой нации! Патриотизм и благородство весьма многих из них, просвещенность других, таланты третьих усиливали торжественность момента. О, почему вся нация не могла слышать своих представителей, обсуждать их мнения, взвешивать их доводы и проникать в их намерения!” Это свидетельство тем более ценно для нас, что орган жирондистов, конечно, нельзя заподозрить в стремлении скрыть ужасы анархии.

В 8 часов вечера 17-го января, после 36-часового заседания, президент Национального Конвента - по иронии судьбы это был Верньо - со скорбью объявил, что народные представители приговорили Людовика XVI к смертной казни.

Испанский двор сделал последнюю попытку спасти осужденного короля. Он снова обратился к Конвенту через посредство своего посла. Но собрание единогласно постановило перейти к очередному порядку, даже не прочтя ноты мадридского кабинета, чтобы устранить всякое подозрение в возможности иностранного влияния. После этого в залу Конвента были введены три защитника Людовика, Десез, Тронше и Мальзерб. Глубоко потрясенные, голосом, прерывающимся от волнения, они ходатайствовали о передаче приговора на утверждение народа и об отмене изданного накануне декрета, в силу которого он был вынесен простым большинством голосов. В подтверждение последнего требования, Тронше ссылаясь на некоторые статьи закона. Конвент отнесся к защитникам с полным вниманием и отдал должное мужеству этих людей, не покидавших до последней минуты своего опасного поста. Но об апелляции к народу, отвергнутой после столь долгой и упорной борьбы между двумя партиями, разумеется, не могло быть и речи. Что касается возражения Тронше, то депутат Мерлен, юрист из Дуе, совершенно разбил его, доказав, что закон требует большинства двух третей только по вопросу о виновности, между тем, как по вопросу о мере наказания достаточно простого большинства голосов. Таким образом, требование Тронше пало само собою.

Победа Горы, невидимому, была полная. Но жирондисты все еще не считали своего дела окончательно проигранным. Возбуждая предложение об отсрочке казни, они надеялись снова затянуть процесс и косвенным путем добиться апелляции к народу. Эта тактика не обманула монтаньяров. Предложение Меля, как и следовало ожидать, встретило с их стороны горячий отпор. Борьба длилась еще два дня. На заседаниях 18 и 19 января, Бюзо, Бриссо, Кондорсе, Казенав, сменяя друг друга на трибуне, с жаром доказывали, что поспешность в выполнении приговора вооружит против Франции всю Европу и навлечет на голову французов неслыханные бедствия; что эта поспешность восстановит против них не только королей, но и нации, которые

припишут ее жажде мести и давлению кучки интриганов: что она выгодна лишь одной “орлеанской факции”, которая, подобно партии Кромвеля, хочет смерти одного тирана только для того, чтобы возвести на трон другого. Исходя из таких соображений, жирондисты требовали отсрочки казни, одни - до изгнания всех Бурбонов, другие - до утверждений народом конституции в первичных собраниях. Против этих требований с обычной своей энергией восстал Робеспьер:

- “Приговор выносится не для того, чтобы остаться мертвой буквой; не для того осуждают тирана, врага нации, чтобы произнести пустую формулу, бесплодную для общества и тяжелую для индивидуума. Цель всякого осуждения есть исполнение; этой цели должны служить и строгость закона, и верность судьи; ее же преследует и ваш декрет. Как нелепы, как тщетны те уловки, при помощи которых пытаются отдалить момент осуждения от момента выполнения приговора! Поддавшись на эту удочку, вы собственными руками задушили бы свободу; вы оживили бы чувство малодушной жалости и разбудили бы столь же преступные, как и гибельные надежды.

Если интересы народа действительно требуют отсрочки казни, то почему вы так торопились с судом? Почему вы посвящали свои заседания исключительно прениям по делу Людовика? Или, может быть, нам станут приводить политические соображения? Но их нет, как по отношению к внешнему положению, так и по отношению к внутреннему. Внутри страны будет тем больше поводов к волнениям, чем дольше мы будем откладывать исполнение приговора. Что же касается внешней политики, тут надо безусловно отбросить всякие соображения, которыми хотят заставить нас отложить казнь: подобного рода мотивы так же нечисты, как и кабинетская политика. Неужели мы должны сохранить жизнь Людовика XVI для сделок с тиранией, чтобы в его лице иметь залог против неприятельского вторжения? Неужели таким путем думают добиться более выгодного мира? Какой истинный француз не содрогнется при мысли, что этот план может быть осуществлен? Уже одно намерение пойти на компромисс с тиранией было бы для нас поражением; наша свобода была бы поколеблена или разрушена таким позорным проявлением рабства и малодушия. Если же Людовик не предназначается для этой роли, то какое отношение имеет его казнь к иностранным державам? Разве письмо испанского посла не показывает, что его кабинет хотел бы вмешаться и наши дебаты? Разве не свидетельствует оно о том, какой огромный интерес принимают тираны в судьбе своих братьев? Сохраните Людовика в качестве заложника - и это будет принято за уступку перед их угрозами, и вы подадите им самые преступные, но вполне правдоподобные надежды на ваше порабощение”.

Речь Барера, как и в прениях по поводу апелляции к народу, скрепила аргументацию Робеспьера. Выслушав обоих ораторов, Конвент решил приступить к поименному голосованию. Из 690 голосовавших депутатов 310 высказались за отсрочку, 380 - против. В 3 часа ночи 20-го января процесс Людовика XVI был закончен. Исполнительному совету было поручено сообщить Людовику декрет Национального Конвента и привести его в исполнение в 24 часа.

В два часа дня министр юстиции Гара, мер Шамбон и прокурор Коммуны Шометт явились в Тампль для объявления приговора Людовику XVI. Последний выслушал его спокойно: он знал уже о своей участи от Мальзерб. По прочтении приговора, Людовик передал Гара письмо к Конвенту, в котором просил дать ему трехдневную отсрочку, ослабить надзор, разрешить свидание с семьей без свидетелей и призвать священника, по его выбору. Конвент решительно отказал в отсрочке, но удовлетворил остальные просьбы Людовика; по его желанию, был немедленно разыскан и привезен в Тампль один из отвергавших гражданскую присягу священников, Эджеворт де-Фермон.

Вечером Людовик простился с женой, сестрой и детьми; в этом долгом и трогательном свидании он обнаружил всю глубину своих семейных привязанностей. После тяжелой сцены прощания осужденный король остался наедине со своим духовником. До двух часов ночи время прошло в молитве и размышлениях. Людовик, казалось, покорился неизбежному. В эти минуты самоуглубления он очищался душой и готовился встретить смерть с тем мужеством, которого не отрицает за ним ни один из историков. От двух до пяти часов Людовик спокойно проспал. Около пяти он был разбужен своим преданным камердинером Клери. Набожный до конца, Людовик пожелал выслушать обедню, исповедаться и причаститься. Затем он простился с верным Клери и передал ему серебряную печать с государственным гербом для своего сына, венчальное кольцо и связку волос жены и детей для Марии-Антуанетты. - “Скажите ей, - прибавил он, - что мне больно расставаться с нею; пусть она простит мне, что я не посылаю за ней, как обещал вчера: я хочу избавить ее от жестокой минуты разлуки”.

В девять часов утра Сантерр с двумя комиссарами Коммуны явился за осужденным. Людовик подал одному из муниципалов, бывшему священнику Жаку Ру, сложенную бумагу, прося передать ее в совет Коммуны; это было его завещание. “Это не мое дело, - сказал тот, отступая: - я пришел сюда, чтобы отвезти вас на эшафот!” Этот варварский ответ был справедливо заклеен всей современной прессой. Передачу завещания взял на себя другой муниципальный чиновник. Внизу Людовика ждала та самая карета, в которой он ехал на допрос в Конвент. Он поместился туда с духовником и двумя жандармами. Карета медленно двинулась вперед среди длинных шпалер национальной гвардии, размещенной от Тампля до места казни. Людовик читал молитвы на отход души. Глубокое молчание царило вокруг; все магазины были закрыты; город был запружен войсками. Накануне носились слухи, что роялисты готовятся освободить короля на пути к эшафоту, да циркулировал памфлет какого-то полоумного каноника, призывавшего парижских женщин “вырвать из плена своего монарха”. “Один Бог знает, - простодушно прибавлял автор, - сколько расходов и трудов потратил этот добрый государь, чтобы задержать и остановить развитие республиканского духа”. Однако, во время следования Людовика к эшафоту не было сделано никакой серьезной попытки освободить его, если не считать безуспешных усилий горсти роялистов собрать народ. Но народ оставался совершенно спокойным. В десять с четвертью Людовик прибыл на площадь Революции, где должна была совершиться

казнь. Эшафот был воздвигнут у самого подножия пьедестала, на котором некогда возвышалась статуя Людовика XV. Вокруг эшафота были расставлены войска, а кругом необозримое пространство было покрыто толпами народа. Людовик мужественно взошел на эшафот и сам снял с себя воротник и сюртук. По справедливому замечанию "Patriote Fran?ais", он на эшафоте обнаружил гораздо больше твердости, чем на троне. Хладнокровие изменило ему лишь в ту минуту, когда палач хотел остричь ему волосы и связать руки. "Я не позволю этого!" раздраженно воскликнул Людовик, покраснев от гнева. Но нескольких слов Эджеворта было достаточно, чтобы успокоить его. Подойдя затем к краю эшафота, осужденный громким голосом произнес - по одной версии: "Я прощаю своим врагам", - по другой: "Я умираю невинным; я прощаю своим врагам и желаю, чтобы моя кровь спаяла счастье французов и усмирила гнев Божий". В 10 часов 20 минут Людовика XVI не стало. Палач высоко поднял его голову и показал ее народу. Единодушный крик: "Да здравствует республика! Да здравствует нация!" огласил огромную площадь. Момент казни предполагалось ознаменовать пушечным выстрелом: но этого не было сделано, ибо, по замечанию "Revolutions de Paris", "голова короля не должна при падении делать больше шума, чем голова всякого другого преступника". Это образное выражение характеризует эпоху.

Масса солдат и граждан из различных классов общества спешили омочить платки или оружие в крови казненного. Этот акт часто изображается, как проявление невежества или суеверия. Чтобы показать истинные побуждения людей, совершивших его, мы приведем свидетельство очевидца:

"Один гражданин взошел на эшафот и, погрузив свою обнаженную руку в кровь Кадета, которая накопилась целыми лужами, он зачерпнул ее в горсть и оросил ею толпу людей, теснившихся внизу и старавшихся, чтобы капля крови брызнула им на лоб. "Братья, - говорил этот гражданин, - братья, нам угрожали, что кровь Людовика Капета падет на наши головы. Пусть же исполнится это пророчество; ведь Людовик Капет столько раз обгаграл руки в нашей крови!.. Республиканцы, кровь короля приносит счастье!"

"Другой гражданин, бывший свидетелем этой сцены, достойной кисти Тацита, воскликнул: "Друзья мои, что мы делаем? Все это будет разглашено; нас расславят за границей, как дикую и кровожадную чернь!" Он услышал в ответ: "Да, мы жаждем крови деспота; пусть об этом расскажут хоть всему миру! Французский народ слишком долго терпел. Терпение - слабость нации, придающая смелость тиранам; мы не дошли бы до такого положения, если бы на этой самой площади, вместо статуи, мы воздвигли эшафот Людовику XV. Скольких преступлений не успели бы тогда совершить Бурбоны! Настал, наконец, день воздаяния: оно должно быть так же грозно, как ужасны были злодеяния, оно должно глубоко запечатлеться в умах. Пусть соседние народы, устремляющие на нас свои взоры, видят, как нужно карать короля-клятвopреступника; пусть узнают они, что кровь тирана - наилучшая жертва, какую можно принести на алтарь божества свободных людей!"<sup>12</sup>

Останки Людовика были погребены на кладбище Магдалины. Это место было связано с печальными событиями, ознаменовавшими его бракосочетание. 23 года тому назад, во время пышных празднеств, происходивших по этому случаю, более тысячи граждан, благодаря небрежности администрации, были раздавлены в толпе или растоптаны под копытами лошадей; они были похоронены на кладбище Магдалины. В глазах современников, это несчастье было своего рода предзнаменованием. Зловещая тень, казалось, легла на союз Людовика с Марией-Антуанеттой... Теперь предзнаменование сбылось. Костям казненного короля суждено было покоиться рядом с костями людей, погибших жертвами его бывшего величия.

Во время перевозки тела казненного, народ попрежнему хранил спокойствие. На приглашение властей не нарушать порядка, из толпы послышался голос: "Пусть его везут, куда угодно! Что нам до этого? Мы всегда были не прочь - от него, он постоянно норовил прочь от нас" ("Nous avons toujours voulu de lui, il n'a jamais voulu de nous").

Это меткое замечание простолюдина была наилучшей народной санкцией приговора Национального Конвента над Людовиком XVI.

1 Faction - партия, заговор, крамола, бунт.

2 Опубликованное впоследствии письмо Людовика XVI к его брату - будущему Людовику XVIII - раскрывает двуличную политику жирондистов в ту эпоху. В этом письме, носящем дату 27 июля 1792г., король пишет: "У меня был Верньо с предложением, которое он называет честным и открытым... Он уверял меня, что вся депутация Жиронды проникнута тем же духом, теми же намерениями, как и он, но что она принуждена выжидать и лавировать; что враждебная ей партия очень сильна; что он притворно показывает ненависть к королям, но на самом деле гораздо больше ненавидит конституцию, которая удаляет его от власти, и против которой он высказывался еще во время ее обсуждения. Он говорил мне о широких планах разных злонамеренных лиц. Так, он утверждал, что якобинцы, не довольствуясь агитацией за низложение в своих брошюрах и клубах, решили требовать его, через своих вожakov, на трибуне Законодательного Собрания. Он советовал мне высказывать сочувствие Жиронде и соседствовать ее объединению с правой теми средствами, которые он мне укажет".

3 В то время наделала много шуму контр-революционная пьеса "Ami des lois" ("Друг законов)". В ней выводился, с одной стороны, добродетельный аристократ, друг законов, с другой - плебеи. Nomophage, т.е. пожиратель законов, желающий разделить Францию между своими друзьями. В конце-концов добродетель торжествует, а порок в лице Nomophageа изобличен и наказан народом. - Под грубо-карикатурными чертами Пожирателя законов нетрудно было узнать искаженный портрет вождей Горы, на что намекал в своем посвящении и сам автор, говоря, что он "искал вдохновения среди представителей нации". Реакционеры так ловко сумели использовать пьесу для своих манифестаций, что Парижская Коммуна даже принуждена была на время закрыть некоторые театры.

4 Во время пересмотра конституции 1791 г. правая Учредительного Собрания употребляла все усилия, чтобы изменить ее в реакционном смысле; ей удалось добиться постановления, что конституция должна оставаться неизменной в течение 30 лет.

5 Дипломатический агент Людовика XVI, перешедшей потом на службу к прусскому королю.

6 Против Франции. Ред.

7 Как известно, Питт в своей борьбе с революционной Францией не брезговал такими средствами, как распространение поддельных ассигнаций.

8 Речь идет о Томасе Пене, знаменитом английском публицисте и члене Конвента. Имя Пена приобрело широкую известность еще в 70-х годах XVIII столетия благодаря его участию в войне за независимость американских колоний и блестящему памфлету “Здравый смысл”, проникнутому республиканским духом. Но особенно возросла его популярность после появления в Лондоне в 1791 г. его книги “Права Человека”, представлявшей нечто вроде комментария к французской “Декларации прав человека и гражданина”. При жгучем интересе прогрессивной печати и демократических слоев населения к событиям, происходившим по ту сторону Ламанша, громадный успех книги не мог не вызвать тревоги в английском правительстве. Пен был предан суду под предлогом возбуждения народа к восстанию против монархии и приговорен к пожизненному изгнанию из Англии. Переплыв канал, он был восторженно принят французами, удостоен звания французского гражданина и избран членом Национального Конвента от департамента Pas-de-Calais. В процессе Людовика XVI Пен высказался за тюремное заключение до конца войны, а затем за изгнание Людовика из пределов Франции.

9 20 сентября 1792 г. французы одержали решительную победу над пруссаками в Аргоновых, проходах, а 6 ноября - над австрийцами, в битве при Жемаппе.

10 Общее число депутатов было 749; из них 28 отсутствовали по болезни или по поручению Конвента, а 6 воздержались.

11 “История жирондистов” Ламартина, Петербург, 1872 г., том 2-й, стр.600.

12 “Revolutions de Paris”, № CLXXXV.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### I. Документы, найденные в железном шкафу

#### а) Письмо Лапорта королю от 21 марта 1791 г.

“Я уже отдал отчет вашему величеству в моей беседе с г. де-Люше; я не ожидал, чтобы дело кончилось так быстро. Требования вполне ясны. Мирабо хочет иметь верное обеспечение на будущее время, либо в виде пожизненной пенсии от казны, либо в виде недвижимой собственности; он не определяет размера обеспечения. Угодно ли вашему величеству, чтобы я увиделся с Мирабо и позондировал его насчет его убеждений и намерений. Я думаю, что с ним нужно больше откровенности и прямоты, чем хитрости. Мирабо уже был обманут; два года тому назад он сказал, что Неккер дважды обманул его. Это единственный человек, способный служить вашему величеству при нынешних критических обстоятельствах. Он очень резок: он называет триумvirат<sup>1</sup> триумгезатом<sup>2</sup>. Я думаю, что его надо склонить к таким шагам, которые отрежут ему путь к соединению с этой партией”<sup>3</sup>.

#### б) Письмо короля Лафайету от 23 июня 1790 г.

Мы питаем к вам полное доверие; но вы так поглощены обязанностями, связанными с вашим постом, столь важным для нас, что не можете поспеть повсюду. Поэтому нам приходится прибегнуть к услугам человека, который обладал бы талантом и энергией и мог бы заменить вас там, где недостаток времени не позволяет действовать вам лично. Мы убеждены, что Мирабо является лицом, вполне пригодным для этой цели, по своей силе, талантам и привычке вести дела в Собрании. Мы требуем от г. Лафайета, чтобы он вступил в соглашение с Мирабо для блага государства и в наших собственных интересах.

#### в) Письмо Лапорта королю от 19 апреля 1791 г.

“Государь, несколько дней тому назад был у меня Ривароль<sup>1</sup>). Целью его посещения было ходатайство о должности для его отца в королевских поместьях. Он говорил битых полтора часа об общественных делах; я хранил молчание по этому поводу и интересовался лишь его отцом. Третьего дня он снова пришел, оставался у меня в течение двух часов и говорил о своем отце только при уходе. Этот человек отличается редкой болтливостью, - слушать его крайне утомительно. Вот что, в конце-концов, он мне сказал: “Король теряет свою популярность. Вернуть ее можно через посредство тех же лиц, которые ее у него отняли; это вожаки секций - Дантон и другие. Этих людей нетрудно привлечь: для этого достаточно немного денег и несколько обедов... Заметьте, что эти господа не умеют говорить; им легко дать понять, что смелость Собрания объясняется лишь тем, что король смотрит на нее сквозь пальцы”. - Вот что, государь, - сказал мне Ривароль. Он желал бы побеседовать с вашим величеством. Я соблюдал с ним величайшую осторожность. Заведая лишь содержанием штата вашего величества, я воздержусь от всяких советов по поводу вашей политической тактики. Все, что я могу сказать вам-это то, что миллионы, израсходованные вами по советам других были брошены на ветер: дела идут еще хуже прежнего”.



#### **d) Письмо Лапорта королю от 22 апреля 1791 г.**

“Государь, посылаю вам письмо, написанное третьего дня и полученное мною только вчера после обеда. Это письмо епископа Отенского, который, по-видимому, хочет служить вашему величеству. Он пишет, что ваше величество может испытать его преданность и влияние, и просит указать, куда вы пожелаете его послать. - Организуется новая партия, стремящаяся к восстановлению армии, поддержанию монархии, уничтожению демократических секций и к охране особы вашего величества; но мне кажется, она хочет над вами господствовать. Законодательные Собрания исчезнут, но король останется. Сохраните свою корону, и вы вернете себе прежнюю власть. Упомянутая партия знает, что ваше величество израсходовало много денег, которые были разделены между Мирабо и некоторыми другими лицами. В надежде получить свою долю вознаграждения эта партия будет бороться с проектом сокращения гражданского листа, который должен был обсуждаться сегодня. Лучше всего тайно готовить общественное мнение, и, как видно, в этом отношении, дело налаживается. Но я узнал, что сегодня не будет речи ни о гражданском листе, ни о государственных имуществях. Комитет финансов назначил комитету имуществ общее заседание на сегодняшний вечер. Президент комитета передал мне утром свой доклад, прося вернуть его до полудня. Г. де-Дрюкур<sup>5</sup> только что ушел от меня; все, что он говорил, кажется мне загадочным; я понял только то, что он связался с д'Эспремением<sup>6</sup> и де-Бонне<sup>7</sup>. Эти люди - преданные слуги вашего величества; но не опрометчивы ли они в своем усердии? Де-Дрюкур просит 70.000 ливров с обязательством вернуть их через месяц, если ваше величество не одобрит того употребления, которое он сделает из них. Расставаясь с ним, я обещал довести его просьбу до сведения вашего величества. Я узнал от него, что он был у г. де-Септейля; этот человек под спокойной внешностью скрывает редкую горячность; это один из таких слуг вашего величества, которые отдадут за вас всю свою кровь”.

#### **К. Н. БЕРКОВА** **е) Записка, помеченная рукою короля**

“Шестнадцать виднейших членов Законодательного Собрания вполне обеспечены. Эти депутаты будут приобретены с первого на три месяца, а затем на всю сессию. Законодательное Собрание не обойдется дорого. Впрочем, эта сумма составляет лишь половину дохода, который будет сбережен гражданским листом<sup>3</sup>). Достаточно двух миллионов; из них полтора миллиона должны быть выданы в виде векселей, подлежащих уплате 31 марта. Дело не терпит отлагательств; вопрос разбирается в комитете уже пять дней. Для окончательного решения в принципе надо только ответить да или нет. Королью никогда еще не было оказано большей услуги. Дело решится весьма просто между интендантом гражданского листа и интендантом, заведующим ликвидацией”.

#### **f) Письмо Лапорта королю от 23 февраля 1791 г.**

“Честь имею представить вашему величеству разработанный план, первый набросок которого я представил вам два дня тому назад. Проект, на первый взгляд, кажется романтическим; но я не считаю его невыполнимым, его успех даже кажется мне вероятным. Во всяком случае, лицо, тайну которого я нарушил, назвав его вашему величеству, - человек умный и решительный. За двадцать лет я много с ним сталкивался; весь последний год я не покидал его как в Бареже, так и в Байонне. Могу уверить ваше величество, что у вас нет более верного подданного... Беру смелость заметить вашему величеству, что к какому бы решению вы ни пришли по поводу проекта г. М., было бы благоразумнее умолчать о нем перед теми, кто занят разработкой другого проекта выезда из Парижа.

Дело в том, чтобы согласовать безопасность, достоинство и популярность монарха со спокойствием монархии и народа. В этом отношении, по нашему мнению, всякий проект, предполагающий похищение короля силою, был бы преждевременным. Мы не станем распространяться о том, в чем будет заключаться наша деятельность в народе; так или иначе, мы постараемся пробудить в нем любовь к монарху, подготовить его к возвращению порядка и внушить ему, что только декларация 23 июня вполне удовлетворяет как интересам нации, так и интересам короля. Мы отвечаем за успех предприятия в предместьях в течение двух недель, если в наше распоряжение будет немедленно предоставлено 200.000 ливров. Мы заручимся от предместий обещанием не начинать никакого движения без ведома и наущения наших агентов. Когда мы добьемся этого, то король отправится верхом в намеченные предместья. Вокруг него будут кричать: Да здравствует король! Его величество, пользуясь своей популярностью, будет обращаться ко всему народу. И если какой-нибудь простолюдин (а такой простолюдин непременно найдется) заговорит с ним о нынешних бедствиях, о нужде рабочих, его величество ответит: “Я сделал все, чего хотел мой народ; я всегда желал его счастья”. Во время этого разговора лошадь будет идти шагом. Король бросит десятка два луидоров со словами: “Я хотел бы сделать больше”, - и ускачет галопом. Когда подобные сцены повторяются раза два-три, нам нетрудно будет наставить народ заговорить энергичнее. Тогда король прекратит свои прогулки под предлогом расстроенного здоровья. Нам только этого и нужно; затем мы начнем действовать решительно.

Одно общество может оказать нам большую поддержку. Это общество примет петицию от предместий, которая будет затрагивать злободневные вопросы, не упоминая, однако, имени монарха. На следующий день после этого заседания, так как здоровье короля не улучшится, его величество сообщит парижскому меру о своем желании подышать несколько дней другим воздухом. Это письменное сообщение должно быть зрело обдуманно, так как наши эмиссары позаботятся о комментариях. Тут можно указать, что поездка предполагается не больше как на неделю. Условленный ответ мера, несомненно, ограничится разрешением



нескольких прогулок в Сен-Клу; тогда мы пустим в ход все свои средства. Мы видели не раз, что когда интересы господствующей клики вступают в конфликт с интересами Собрания или справедливости, то собираются секции и клубы, умы разгораются, и народное восстание доставляет легкую победу врагам Франции и его величества.

Все помнят, что приказ мера войскам 5 октября<sup>9</sup> мотивировался ясно выраженной волей народа. Можно будет опереться на эту волю и в данном случае (этот пункт самый важный). Таким образом, на следующий день после того, как ответ мера будет расклеен в Париже, в шесть часов утра наш народ устремится толпой к дворцу и потребует допущения к королю. Депутация, более почтительная, чем депутация 5 октября, станет убеждать короля не откладывать отъезд, необходимый для его здоровья. Его величество, - скажет она, - по-видимому, опасается внушить новые подозрения злонамеренным лицам. Версаль напоминает королю слишком тяжелое время; там его безопасность не будет обеспечена. Сен-Клу и Рамбулье находятся вблизи Версаля. Якобинцы (о них будет упомянуто впервые) имеют там многочисленных приверженцев. Только Компьень и Фонтенебло соединяют все преимущества<sup>10</sup>. Королю предложат на выбор один из этих двух городов. Он ответит, что уступает настояниям своего народа. Народ, который не знает удержу своим желанием и очень быстро переходит к делу, скажет, что ничто не мешает королю исполнить свое обещание немедленно: он может сесть на лошадь или в карету, народ будет сопровождать его, а семья следовать за ним вблизи.

До сих пор король ничем не скомпрометирован. Он показался всего два-три раза; его желание подышать свежим воздухом не представляет ничего особенного. Что касается депутации от народа, то ему приходится принимать столько различных депутатий, что он не имеет права отказать именно этой. Никто не сможет заподозрить возложенной на нее миссии, ибо ей не предшествовало никакое движение в народе. Когда король будет за заставой, надобно позаботиться о двух вещах: о быстроте путешествия и о безопасности короля. Недоверие к служащим заставляет нас предпочитать почтовых лошадей королевским. Нам придется посоветоваться с каким-либо военным, насчет ума и преданности которого не было бы ни малейшего сомнения. Мы имеем в виду одного такого военного, хотя и чуждого нашим проектам, но все же подходящего для нашего предприятия.

Несомненно одно, что чем скорее его величество покинет Париж, тем скорее корона будет покоиться на его голове. Целью неослабных усилий монарха и друзей монархии должна служить декларация 23 июня<sup>11</sup>. Предлагаю на обсуждение настоящий план, мы рассчитываем на многих писателей, на некоторые корпорации, как, например, коллегия судебных писцов, и, наконец, на одно большое общество Сент-Антуанского предместья, которое последует за нами по данному сигналу”.

### **г) Письмо Людовика XVI епископу Клермонскому**

“Обращаюсь к вам, господин епископ, как к одному из духовных лиц, постоянно выказывавших просвещенную преданность религии. Я желал бы посоветоваться с вами, могу ли я причащаться на страстной неделе; мне хотелось бы сделать это недели через две. Вам известно мое печальное положение, благодаря утверждению декретов о духовенстве. Я всегда смотрел на это утверждение, как на вынужденное, ибо твердо решил восстановить католический культ, если мне удастся вернуть свою власть. Священники, которых я видел, думают, что я могу причащаться. Прошу вас поговорить с другими епископами, по вашему выбору, и отослать мне это письмо вместе с ответом”.

### **h) Ответ епископа Клермонского королю**

“Чтобы ответить на этот важный вопрос, мне нужно призвать всю мудрость и милосердие Всевышнего, Я советовался с самыми выдающимися епископами. Все они того мнения, что ваше величество должны воздержаться от приближения к алтарю; ибо, в конце-концов, только многочисленными благими деяниями вы сможете искупить в глазах Бога свое участие в этой революции. Правда, вы были вынуждены к этому непреодолимой силой обстоятельств; но верноподданные вашего величества долго еще будут упрекать вас в санкционировании декретов, гибельных для религии”.

## **II. Речь Марата по поводу суда над Людовиком XVI<sup>12</sup>**

“Преступления Людовика Капета, к несчастью, слишком реальны, они установлены, они общеизвестны.

Сомневаться в том, имеет ли нация право судить и наказать смертью своего высшего чиновника, если он прикрылся маской лицемерия, чтобы успешнее интриговать против нее, если он воспользовался для угнетения своих соотечественников властью, которая была дана ему для их охраны, если он сделал законы орудием злобы, направленным против революции, если он употребил деньги, взятые с граждан, на жалованье их же врагам, если он лишил их средств к существованию, чтобы содержать варварские орды, призванные для их убийства, если он организовал шайки кулаков и скупщиков, чтобы истребить население голодом и нищетой, если он стал во главе изменников и заговорщиков, если он обратил против нации оружие, врученное ему для ее защиты, если он замыслил перебить борцов за свободу, чтобы снова заковать народ в старые цепи, - сомневаться в этом при таких условиях, значит оскорблять разум, идти в разрез с природой и справедливостью. Всякое сомнение насчет того, можно ли судить и предать смертной казни деспота, запятнанного всевозможными преступлениями, чудовище, обагренное кровью друзей отечества, - подобное сомнение было бы насмешкой над человечеством и забвением всякого стыда!

Нет, граждане, я не стану оскорблять вас предположением, что среди вас найдется хоть один, который подверг бы сомнению эту истину, - разве только он окажется в том заинтересован. Если вы открыли прения в настоящем великом процессе именно этим вопросом, то это сделано не столько для выяснения спорного пункта, сколько для того, чтобы показать воочию нелепость тех софизмов, которые выставляют в свою защиту креатуры экс-монарха, приверженцы королевской власти и приспешники деспотизма.

Ваш Комитет Законодательства доказал, что Людовик Капет подлежит суду, при помощи ряда аргументов, взятых из области естественного права. Этот способ доказательства был необходим для народа, ибо надо привести к одному убеждению всех членов республики различными путями, соответствующими различию в складе ума. Что касается представителей самодержавного народа, они могут рассматривать вопрос только с политической стороны.

Некоторые из предыдущих ораторов, ставшие на эту именно точку зрения, исходили из понятия о первоначальном договоре, будто бы определявшем взаимные обязанности народов и государей; они приходили к заключению, что Людовик Капет, нарушив этот договор, был низложен и с этого момента вступил в класс простых граждан. Но это ложное заключение, искусственно выведенное из пустого софизма, ибо между народами и их служащими никогда не существовало никаких договоров, хотя между самодержавным народом и его отдельными представителями и была формальная связь. Нация,веряющая свои права уполномоченным, не входит с ними в соглашение. Она поручает им в интересах общества те или другие функции, от которых они, правда, иногда могут отказаться, но всегда несут за них ответственность и могут быть лишены их против своего желания, по воле нации. Поэтому, каким бы блеском ни была окружена их должность, она всегда является лишь почетной повинностью. Таковы действительные отношения между самодержавным народом и его служащими. Так-называемый первоначальный договор - в полном смысле слова продукт воображения. Если подобный договор и возможен, то это только в случае завоевания, когда военный предводитель, сделавшись главой государства, становится грозой народа, т.е. когда он заставляет нацию капитулировать. Но неужели мы будем основываться на преступных сделках узурпатора, чтобы установить прерогативы? Неужели мы способны принять результаты узурпации верховной власти первым слугою народа за священные и законные права? А между тем в этом-то и состоял возмутительный договор между французами и их королями; и когда безумная расточительность Людовика Капета вынудила его созвать Генеральные Штаты для заполнения образовавшейся брешки, а затем восстание нации, вызванное последними его посягательствами, заставило его униженно просить пощады, то народные представители возобновили этот несправедливый договор. Но подобный договор не действителен не только потому, что он противен насущнейшим интересам и священнейшим правам народа, но и потому, что он не был утвержден народом; ибо многочисленные адреса, которые так услужливо подносились королю изменниками - депутатами, как очевидные доказательства утверждения конституции народом, все были выпрошены самым низким образом; скажу больше, многие из них предательски посылались контрреволюционной администрацией.

Перейдем к фактам. После тринадцати веков рабства и тирании деспотизм был бы поражен раз навсегда, если бы нация, так долго согбенная под ярмом, могла бы сразу выпрямиться во весь рост и твердо отстаивать свои права. Он был бы поражен раз навсегда, если бы народные представители имели достаточно мужества, чтобы воспользоваться смятением деспота и его клики, низвергнуть его с трона и восстановить свободу. Но, о горе! Эти низкие представители, которые вначале, боясь потерять свои места, притворно противились приказаниям тирана, едва только добившись поддержки со стороны гражданского ополчения, вступили в сношения с двором и стали тратить свою энергию на то лишь, чтобы выгоднее продать себя; они открыли позорный торг неотъемлемыми правами народа. Иные даже простерли свою преступную смелость до того, что предложили дать тирану ужасную привилегию распоряжаться провинциями и торговать их населением, как стадом баранов.

Обхожу молчанием длинный ряд постыдных, несправедливых, репрессивных, тиранических декретов, которые вырывало у трусливого и безрассудного большинства бесчестное и подкупленное меньшинство, стремившееся к укреплению деспотизма, под предлогом возрождения страны. Я не буду касаться этих злополучных декретов, опозоривших Учредительное Собрание и запятнавших конституцию, - декретов, против которых я не раз восставал с такою горечью.

Кто не знает, с каким коварством плели сеть софизмов неверные представители народа, чтобы сделать короля священным и неприкосновенным, чтобы поставить его во главе исполнительной власти и дать ему право назначения на важнейшие должности, чтобы вознести его выше законов, чтобы вручить ему ключи от национальной казны, начальство над военными силами на суше и на море и самые судьбы государства? Это продолжалось до тех пор, пока они не сбросили маску и, не зная больше никакой узды, задумали направить против народа обманутую армию, с целью перебить его или толкнуть под новое ярмо. Тогда эти мнимые представители самодержавного народа, раболепствуя перед его простым слугою, объявили его врожденным представителем нации и предоставили ему верховную власть. Мало того: не установив для него другого наказания, кроме предполагаемого отречения от трона, они тем самым дали ему полную возможность безнаказанно готовить гибель народа, задушить свободу и, в случае надобности, стать по главе неприятельских войск. И эту-то уродливую конституцию, которая, правда, скоро исчезнет, как сон, но все же покроеет неизгладимым позором своих авторов, которая будет в глазах историка памятником тупости и безумия, если не продажности и злодейства, - эту конституцию хотят сделать оплотом Людовика Капета против предательски обманутой им и едва не погубленной нации!

Однако, допустим на минуту эти пресловутые конституционные законы и посмотрим, при каких условиях они избавляют тирана от заслуженного наказания.

Конституция объявляет особу короля священной и неприкосновенной. Но эта неприкосновенность, которую осторожный законодатель оставляет невыясненной и которая приводится теперь в пользу Людовика-клятвопреступника, как патент на безнаказанность, - относилась только к легальной деятельности короля; следовательно, она была лишь привилегией, обеспечивавшей ему свободу от всякой ответственности в сфере исполнительной власти. Единственной целью этого института было облегчить функционирование политического механизма, но позволяя связывать руки тому, кто должен был приводить его в движение.

Жалкие софисты, задумавшие прикрыть эгидой неприкосновенности предателя и изменника, бывшего короля, каково бы ни было ваше ослепление, оно, конечно, не дойдет до того, чтобы утверждать, что законодатели смотрели на неприкосновенность Людовика Капета, как на привилегию безнаказанно расхищать общественное достояние, подкупать хранителей власти, блюстителей закона, народных представителей; содержать на жалованьи орды шпионов, убийц и разбойников; передавать врагам государства провиант, золото, боевые припасы и оружие, предназначенные для защитников отечества, - словом, как на средство безнаказанно совершать преступления, чтобы затем мирно наслаждаться их плодами. Но если бы даже законодатель и преследовал такие цели, то имел ли он на то право? И, однако, именно это право, сами того не подозревая, приводите вы в защиту развенчанного деспота, желая избавить его от суда ссылками на неприкосновенность!

Не будем питать иллюзий: не подлежит сомнению, что Учредительное Собрание, путем ли умалчивания, путем ли двусмысленной формулировки законов, старалось - особенно во время пересмотра конституции - оставить королю полную возможность свести на нет общественную свободу. Но, благодаря своей трусости, законодатели, продавшиеся двору, не смели действовать открыто. Поэтому конституция, при всей своей уродливости, все-таки содержит довольно точные предписания для того, чтобы предать суду тирана и приговорить его к смертной казни. Те, кто прикрывается конституцией, ссылаются на Декларацию Прав, гласящую, что никто не может быть обвинен, арестован или заключен под стражу, за исключением тех случаев, которые определены законом и с соблюдением законом же установленных формальностей. Отсюда они выводят, что никто не может быть наказан, если нет соответствующего закона, изданного до совершения им преступного деяния. Пусть так. Но они идут дальше и цитируют некоторые статьи конституции, из которых будто бы следует, что Людовик XVI должен остаться безнаказанным или подвергнуться только низложению. Обратимся к самому тексту.

IV ст. Вступив на престол, король, тотчас по достижении совершеннолетия, должен в присутствии Законодательного Корпуса присягнуть в том, что он будет верен нации и закону и употребит всю вверенную ему власть на поддержку конституции, декретированной в 1789, 1790 и 1791 г.г. Если через месяц после приглашения, Законодательного Корпуса король не принесет присяги или, раз присягнув, возьмет ее обратно, то он считается сложившим с себя власть.

VI. Если король станет во главе какой-либо армии и направит ее против нации, или если он не окажет противодействия, посредством формального акта, подобному предприятию, ведущемуся от его имени, то он считается сложившим с себя власть.

VIII. После добровольного отречения или предписанного законом отрешения от власти, король вступает в класс граждан и, как таковой, может быть обвинен и предан суду за действия, совершенные им поем отречения.

Но во всех этих случаях речь идет лишь об отказе короля присягнуть на верность законам, об отрицании им своей присяга, о выступлении против нации во главе неприятельской армии, - и вовсе не говорится о ведении интриг в самой стране, с целью уничтожить свободу, снова поработить народ или перебить его. Здесь нет ни слова ни о захвате денег и скупке хлеба, ни о замыслах разорить нацию и вызвать голод во всей стране, ни о попытках затормозить правосудие, ни о подкупе общественных чиновников, ни об избиении и покушениях на жизнь множества граждан, друзей свободы, И так как по этому поводу конституция хранит глубокое молчание, то во всех этих случаях король находится на положении простого гражданина: ибо статья, непосредственно следующая за статьей о неприкосновенности, на которую ссылаются защитники Людовика-предателя, говорит, что во Франции нет власти выше закона, что король царствует только в силу закона, и что только во имя закона же он вправе требовать повиновения. А отсюда вытекает, что он сам подчиняется закону, как и всякий другой гражданин.

III статья Декларации Прав гласит, что одинаковые, преступления караются одними и теми же наказаниями, без всяких индивидуальных различий. Следовательно, законы, относящиеся к простым гражданам, вполне применимы и к Людовику Капету; другими словами, он должен понести наказание, установленное для предателей и заговорщиков.

Наконец, если даже согласиться с тем ложным положением, что Людовик Капет стоит выше конституции во всех вышеуказанных случаях, что ему принадлежит привилегия безнаказанно нарушать все законы, то и тогда несомненно, что статьи, на которые ссылаются в его пользу, содержат достаточно данных для его осуждения.

Конституция говорит, что король может быть обвинен и предан суду за действия, совершенные им после отречения. Но одна из статей ее положительно заявляет, что он считается сложившим с себя власть в том случае, если нарушит присягу быть верным нации и закону и употреблять на поддержку конституции вверенную ему власть. Это значит, что он перестал быть королем с тех пор, как задумал гибель своей страны и уничтожение принятой им конституции. А стало быть, он подлежит суду за все последовавшие затем измены.

Другая статья гласит, что он считается сложившим с себя власть, если не укажет, посредством формального акта, противодействия военным предприятиям, ведущимся против нации от его имени. Значит он, сверх того, отрекся от трона в тот момент, когда во Францию вторглись австрийцы, пруссаки и мятежные эмигранты; и так как бойня в Тюльери произошла уже после, то его надо судить, как изменника отечеству и убийцу нескольких миллионов французов, тем более, что разбойничьи шайки, опустошившие Францию, были призваны им самим.

Вот больше, чем нужно, чтобы зажать рты официальным защитникам Людовика Капета, которые явятся сюда с конституцией в руках требовать безнаказанности за его злодеяния. Они будут ссылаться при этом на принадлежащую ему привилегию строить заговоры против государства. Да, он, действительно, купил такую привилегию у неверных представителей народа; но эти низкие фабриканты декретов все же не посмели формулировать ее ни настолько ясно, ни настолько подробно, чтобы спасти его от меча правосудия.

Что касается вас, граждане, избранных нацией не только для того, чтобы отомстить ее насильникам, но и для выработки мудрых законов наместо той конституции, которая так долго составляла ее несчастье и едва не привела ее к гибели, - вы не обратите внимания ни на умышленные умолчания, ни на возмутительные декреты этого позорного памятника рабства; вы предадите суду деспота, низвергнутого с трона, и заставите его искупить бесславной смертью длинный ряд своих преступлений. Вы положите в основу суда над Людовиком Капетом неотъемлемые права наций и политическое законодательство всех стран. Не подлежит сомнению, что всякий народ имеет право наказывать своих провинившихся агентов. В какой же свободной стране законы не карают смертью правителей, стремившихся к разрушению государства? Повторяю еще раз, приводить законы в пользу бывшего короля - это значит нарушать их все разом, самым вопиющим образом, ибо все законы осуждают его, как расхитителя, клятвпреступника, предателя, заговорщика, как тирана, запятнанного всевозможными преступлениями, как чудовище, обогрившее кровью своих сограждан.

Он достаточно будет наказан, - говорят вам, - если останется жить среди свободной нации, для которой он был вождем и стал позором: пусть же он живет, вечно испытывая гнет стыда и раскаяния!

Если бы конституция была закончена, и свобода упрочена, если бы зажили раны страны, если бы среди нас царил мир, если бы животворные соки разливались по жилам нашей родины, если бы нация могла, наконец, отдохнуть под сенью мудрых законов и с надеждой смотреть в будущее, - тогда мы, действительно, могли бы вспоминать времена абсолютизма, как тяжкий сон; тогда мы, пожалуй, могли бы предоставить тирана поздним сожалениям, могли бы обречь его на долгую пытку жизни, в память тех бедствий, которые он нам причинил, или, вернее, той свободы, которая явилась их следствием. Но, граждане, вы не должны поддаваться софизмам тех, которые стараются сохранить ему жизнь, удерживая над головой его дамоклов меч закона. Одна уже забота об общественном благе должна заставить вас отвергнуть всякое другое наказание, кроме смертной казни, ибо пока бывший король сможет надеяться на какое-либо непредвиденное событие, которое вернет ему свободу, он будет служить связующим звеном для врагов отечества и центром всех заговоров.

Итак, нет ни свободы, ни безопасности, ни мира, ни отдыха, ни счастья для французов, нет надежды для других народов свергнуть иго, пока не падет голова тирана!

Граждане, Людовик Капет не один замыслил гибель отечества; будучи предан суду, он укажет своих сообщников, своих министров, своих агентов, неверных представителей народа, администраторов, судей и генералов, вместе с ним строивших козни против нации. Поэтому его процесс есть вернейшее средство избавить нацию от ее опаснейших врагов, навести страх на изменников, искоренить заговоры и обеспечить, наконец, мир, свободу и процветание страны; иначе все ваши стремления восстановить спокойствие и подготовить царство законов останутся тщетными.

Бывший король подлежит суду - это несомненно. Но кто должен судить его? Простой трибунал, составленный из непосредственных делегатов народа, - сказал бы я, - если бы можно было поручить простому трибуналу столь важное дело, если бы не было так важно для общественного блага его быстрое решение. Людовика Капета должен судить Национальный Конвент, который представляет всю нацию.

Пусть не указывают нам на некомпетентность нашей юрисдикции, ссылаясь на лживый титул народного представителя, который подарил трону низости, коварство и измену, чтобы вознести его выше законов. Король был лишь первым чиновником в государстве, и на этом основании он не мог требовать никакой прерогативы.

Остается рассмотреть последний вопрос. Как надо судить бывшего короля? Его надо судить торжественно, по всей строгости законов!

Прочь от нас ложные идеи милосердия и великодушия, которые и хотят вознести национальному тщеславию! Как могли бы мы поддаваться этим чувствам, не навлекая на свои головы порицание нации, а на родину - целые тучи бедствий? Неужели мы оставим бывшему королю возможность снова интриговать против свободы? Простить ему было бы с нашей стороны не только слабостью, но и предательством! От вашего решения, граждане, зависит спасение французов и укрепление республики.

Итак, я прихожу к заключению, что тиран должен быть судим Конвентом и приговорен к смертной казни”.

1 Так называли Ламета, Барнава и Дюпора, стоявших до 1791 г. во главе демократической левой Конституанты.

2 Triumgeusat - от слова gueux - нищий, бродяга.

3 Измена Мирабо, впервые обнаруженная благодаря открытию железного шкафа, вполне подтвердилась после опубликования мемуаров королевского интенданта Лапорта и маркиза де-Булье. Лапорт рассказывает, что в промежуток времени от мал 1790 г. до конца марта. 1791 г. король выплатил огромные долги Мирабо, выдавал ему ежемесячное жалованье в 6.000 фр. и сверх того положил на его имя 4 банковых билета по 250.000 фр. каждый. Что Мирабо не даром пользовался щедротами Людовика XVI, показывают такие факты из деятельности его в Конституанте в этот период, как борьба за королевское veto, предложение предоставить королю право объявления войны и мира, энергичная оппозиция против строгих мер по отношению к эмигрантам и т. под. По свидетельству Булье, в планы Мирабо входило распускание Национального Собрания, якобы по желанию самого народа. Предполагалось, путем усиленной агитации в департаментах; изменить общественное настроение, добиться многочисленных адресов и петиций против народного представительства и произвести таким образом coup d'etat. “Я написал королю, - замечает по этому поводу Булье, - что предпочитаю этот план удалению в Монмеди, и советовал ему осыпать золотом Мирабо, обещать и дать ему все, чего он захочет. Я старался убедить его в том, что теперь люди с незапятнанной репутацией не в состоянии спасти его и восстановить монархию, что им остается лишь выразить бесплодные пожелания, тогда как те, которые причинили все зло своей смелостью и ловкостью, найдут и средство поправить его”.

4 Известный роялистский писатель того времени.

5 Епископ Отенский (?v?que d'Autun) - известный Талейран, который год тому назад, в качестве президента Национального Собрания, играл видную роль на празднике федерации 14 июля 1790 г. Гибкость убеждений знаменитого дипломата позволяла ему служить с одинаковым усердием монархии Людовика XVI, Великой Революции. Директории, Консульству, Империи и, наконец, Реставрации.

6 Роялист, бывший депутат дворянского сословия в Учред. Собрании, казненный по приговору революционного трибунала в 1793 г. по обвинению в заговоре против республики.

7 Один из видных эмигрантов; после реставрации был министром Людовика XVIII и пером Франции.

8 Речь идет, по-видимому, о покупке того самого декрета, о котором упоминалось еще в документах, представленных Коммуной 1 октября: именно декрета, переносившего часть пенсии с гражданского листа на общественный счет.

9 Приказ двинуться в Версаль, чтобы вместе с народом привезти короля в Париж.

10 Курсив всюду принадлежит Лапорту.

11 Автор записки, по всей вероятности, имеет в виду декларацию 23 июня 1789 г.

12 Эта речь была письменно представлена Маратом в Конвент 3 декабря.